

Владимир Федорович Одоевский

Русские ночи

От редакции

"Русские ночи" В. Ф. Одоевского — один из самых сложных и драматических этапов в истории русской культуры и литературы.

Казалось бы, один из бывших организаторов кружка русских философов "любомудров", довольно далекого от политики и социальности, мог к сороковым годам XIX века оказаться удовлетворенным и жизнью, и философским развитием: наступил самый "тихий" в истории николаевского царствования (да и вообще в Европе) период, который можно бы выдать за воплощенную эпоху гармонии и шеллингианского "тождества"; в философском мире господствовала самая грандиозная и систематичнейшая из всех известных учений философия Гегеля: как будто реализовались мечты любомудров о философском счастье...

Но Одоевский в присмирившей Европе увидел угнетение человека и волчьи законы буржуазного эгоизма, в систематичности современных философских учений — казенную иерархию ценностей, разрушение целостного отношения к миру, опасный путь к бездуховным, безосновным позитивизму и вульгарному материализму (которые он ошибочно называл материализмом вообще). Одоевский прозорливо почувствовал всемирно-исторический характер обуржуазивания и политики, и науки, и быта и не мог не ужаснуться этому. Реакция его, рюриковича, русского дворянина, современника 1812 года, была в чем-то сходной со славянофильской: он тоже проникался романтически-феодальным утопизмом, представлением об особом пути России (хотя, как и славянофилы, отнюдь не идеализировал николаевскую эпоху). Но, в отличие от славянофилов, Одоевский не возвращался вспять, он, наоборот, бесстрашно бросался в самую гущу современной культуры, науки, искусства, стремясь найти у современного человечества опору и тенденцию такого движения, которое победило бы "Бентамию", меркантильный мир, распадающийся на эгоистические атомы.

Одоевский не чужд и опытным наукам (он неплохо знал математику, физику, химию, физиологию), внимательно изучает психологию, находится под явным воздействием идей французского христианского социализма (ср. интересную запись Одоевского: "Христианство должно было возбудить гонения и общее негодование; оно вошло в противоречие с основным элементом древнего мира: неравенством между людьми Безусловный гнет человека человеком, как всякое движение, есть явление неестественное, которое может быть поддерживаемо лишь материальной силою; этот гнет чуяли все народы до Р. Хр., но никто до Христа не выговорил слова об общей взаимной любви между всеми людьми без различия". — "Русский архив", 1874, № 2, стлб. 301).

Убежденный романтик, Одоевский главную роль в преображении мира отводил идеям и художественным образам, поэтому органичный для мыслителя синтетизм, энциклопедизм особенно ярко выделялся в соединении науки и искусства, ибо во всех своих произведениях и особенно — в "Русских ночах", Одоевский воплощает социальную или философскую мысль в художественных картинах, а поэтические образы его становятся идеологическими символами. Отсюда такой насыщенный интеллектуализм повестей и рассказов писателя, доходящий иногда до "метаязыка", т. е. до описания самого процесса творчества (обе эти черты в перспективе ведут к сложному искусству XX века, например, одновременно и к

"Доктору Фаустусу", и к "Роману одного романа" Томаса Манна). С другой стороны, Одоевский тревожно чувствовал трагедию любой крайности, в том числе интеллектуализма и творческой гениальности, лишаящей человека полноты, универсальности.

Боясь крайностей, боясь завершенных точек над "и", Одоевский принципиально диалогичен (что для романтика необычайно трудно!) и принципиально фрагментарен. Фрагмент Одоевского как бы воюет против деспотизма рамок, против лозунгов окончательных решений — и одновременно он доверчиво, демократично отдан читателю на досказывание, доосмысление. В то же время фрагментарность связана с глубинными представлениями Одоевского о всеобщей взаимосвязанности явлений и структур, о том, что небольшой отрезок бытия отображает для вдумчивого читателя целостные свойства мира.

Оригинальность мировоззрения и метода Одоевского не означает его автономной отрешенности от века: в его наследии, наоборот, поразительно много идей и жанрово-стилистических черт, роднящих его с произведениями таких выдающихся деятелей его эпохи, как Белинский и Герцен (поразительных именно при большом отличии от них). Особенно много общего у Одоевского с Герценом тридцатых-сороковых годов: универсальный энциклопедизм, "платоновская" диалогичность, фрагментарность, а главное — решительная борьба за целостность, синтетичность мира и знаний, что невольно сближало "шеллингианца" с "гегельянцем" (ср., например, совершенно "одоевские" фразы Герцена в цикле "Дилетантизм в науке", создававшемся в 1842–1843 годах, т. е. одновременно с "Русскими ночами": "Одностороннее понимание науки разрушает неразрывное — т. е. убивает живое ... специализм... всеобщего знать не хочет; он до него никогда не поднимается; он за самобытность принимает всякую дробность и частность". {Герцен А. И. Собр. соч. в 30 томах. Т. III. М., 1954, с. 59.} Недаром Герцен любил художественное творчество Одоевского (особенно новеллу "Себастьян Бах").

От "Русских ночей" многие нити протягиваются к исканиям русских утопических социалистов, петрашевцев, к повестям и романам Достоевского и далее, к мыслителям и писателям XX века.

"Русские ночи", которым невозможно дать точного жанрового определения и совокупность идей и форм которых невозможно описать в пределах даже академической монографии, предлагается современному читателю не только как памятник русской культуры середины XIX века, но и как произведение, чей идеологический и художественный потенциал имеет много точек соприкосновения с проблемами и перспективами нашего времени. Статьи и примечания, приложенные к текстам Одоевского, более обстоятельно разъяснят читателю и историческую ограниченность художественного творчества Одоевского, и его значение для наших дней.

Русские ночи

Nel mezzo del cammin di nostra vita

Mi ritrovai per una selva oscura

*Che la diritta via era smaritta.*¹

Dante. Inferno {*}

** Земную жизнь пройдя до половины,*

Я очутился в сумрачном лесу,

Утратив правый путь во тьме долины.

Данте. Ад (итал.; перевод М. Л. Лозинского).

Lassen sie mich nun zuvorderst

gleichnissweise reden! Bei schwer

¹ Этими стихами начинается "Божественная комедия" Данте.

*begreiflichen Dingen thut man wohl
sich auf diese Weise zu helfen.* ²
Goethes Wilhelm Meisters
Wanderjahre. {**}

*** Позвольте же мне сперва говорить притчей.
При трудно понимаемых вещах, пожалуй, только таким образом
и можно помочь делу.*

Гете. Годы странствий Вильгельма Мейстера (нем.).

Во все эпохи душа человека стремлением необоримой силы, невольно, как магнит к северу, обращается к задачам, коих разрешение скрывается во глубине таинственных стихий, образующих и связующих жизнь духовную и жизнь вещественную; ничто не останавливает сего стремления, ни житейские печали и радости, ни мятежная деятельность, ни смиренное созерцание; это стремление столь постоянно, что иногда, кажется, оно происходит независимо от воли человека, подобно физическим отправлениям; проходят столетия, все поглощается временем: понятия, нравы, привычки, направление, образ действия; вся прошедшая жизнь тонет в недостижимой глубине, а чудная задача всплывает над утопшим миром; после долгой борьбы, сомнений, насмешек — новое поколение, подобно прежнему, им осмеянному, испытует глубину тех же таинственных стихий; течение веков разнообразит имена их, изменяет и понятие об оных, но не изменяет ни их существа, ни их образа действия; вечно юные, вечно мощные, они постоянно пребывают в первозданной своей девственности, и их неразгаданная гармония внятно слышится посреди бурь, столь часто возмущающих сердце человека. Для объяснения великого смысла сих великих деятелей естествоиспытатель вопрошает произведения вещественного мира, эти символы вещественной жизни, историк — живые символы, внесенные в летописи народов, поэт — живые символы души своей.

Во всех случаях способы исследования, точка зрения, приемы могут быть разнообразны до бесконечности: в естествознании одни принимают всю природу, во всей ее общности, за предмет своих исследований, другие — гармоническое построение одного отдельного организма; так и в поэзии.

В истории встречаются лица вполне символические, которых жизнь есть внутренняя история данной эпохи всего человечества; встречаются происшествия, разгадка которых может означить, при известной точке зрения, путь, пройденный человечеством по тому или другому направлению; не все досказывается мертвою буквою летописца; не всякая мысль, не всякая жизнь достигает полного развития, как не всякое растение достигает до степени цвета и плода; но возможность сего развития тем не уничтожается; умирая в истории, оно воскресает в поэзии.

В глубине внутренней жизни поэту встречаются свои символические лица и происшествия; иногда сими символами, при магическом свете вдохновения, дополняются исторические символы, иногда первые совершенно совпадают со вторыми; тогда обыкновенно думают, что поэт возлагает на исторические лица, как на очистительную жертву, свои собственные прозрения, свои надежды, свои страдания; напрасно! поэт лишь покорялся законам и условиям своего мира; такая встреча есть случайность, могущая быть и не быть, ибо для души, в ее естественном, т. е. вдохновенном состоянии, находятся указания вернейшие, нежели в пыльных хартиях всего мира.

Таким образом, могут существовать отдельно и слитно исторические и поэтические символы; те и другие истекают из одного источника, но живут разною жизнью: одни —

² Слова из кн. I, гл. 10 романа Гете "Годы странствий Вильгельма Мейстера".

жизнию неполною, в тесном мире планеты, другие жизнью безграничною, в бесконечном царстве поэта; но — увы! и те и другие хранят внутри себя под несколькими покровами заветную тайну, может быть недостижимую для человека в сей жизни, но к которой ему позволено приближаться.

Не вините художника, если под одним покровом он находит еще другой покров, по той же причине, почему вы не обвините химика, зачем он с первого раза не открыл самых простых, но и самых отдаленных стихий вещества, им исследуемого. Древняя надпись на статуе Изиды: "никто еще не видал лица моего" — донныне не потеряла своего значения во всех отраслях человеческой деятельности.

Вот теория автора; ложная или истинная — это не его дело. Еще несколько слов о форме того сочинения, которое называется "Русскими ночами" и которое, вероятно, наиболее подвергнется критике: автор почитал возможным существование такой драмы, которой предметом была бы не участь одного человека, но участь общего всему человечеству ощущения, проявляющегося разнообразно в [историко]-символических лицах; словом, такой драмы, где бы не речь, подчиненная минутным впечатлениям, но целая жизнь одного лица служила бы вопросом или ответом на жизнь другого.

За сим, и без того уже слишком длинным теоретическим изложением, автору кажется излишним входить здесь в дальнейшие объяснения; сочинения, имеющие притязание на название эстетических, должны сами отвечать за себя, и преждевременно защищать их полным догматическим изложением теории, на которой они основаны, было бы напрасным оскорблением прав художника.

Автор не может и не должен окончить сего предисловия, не сказав "спасибо" лицам, которых советами он воспользовался, равно и тем, которые нашли его сочинения, до сих пор рассеянные по разным журналам, достойными перевода³, в особенности знаменитому берлинскому литератору Фарнгагену фон Энзе⁴, который посреди непрерывной благородной своей деятельности передал своим соотечественникам в изящном переводе, далеко превосходящем подлинник, некоторые из произведений автора сей книги.

На трудном и странном пути, который проходит человек, попавший в очарованный круг, называемый литературным, из которого нет выхода, отрадно слышать отголосок своим чувствам между людьми, нам незнакомыми, отдаленными от нас и пространством и обстоятельствами жизни,

НОЧЬ ПЕРВАЯ

³ В черновике введения после этих слов следовало примечание, где перечислены журналы и сборники, публиковавшие переводы произведений Одоевского: "См.: Der Freihafen, West und Ost, Russische Hundert und Eins, Magazin der ausländische Literatur, Zeitung für die elegante Welt, Petersburški Tugodnik, Russischer Merkur и мн. др." (ГПБ, ф. 539, он. 2, № 12).

Благодаря разысканиям Э. Рейсснера (Reissner E. Deutschland und die russische Literatur 1800–1848. Berlin, 1970, S. 367) некоторые из переводов обнаружены: последний квартет Бетховена — в петербургской газете А. Ольдекопа ("Der Russische Merkur" (1831, 16 X, № 42, S. 45–48; 23 X, № 43, S. 49–53); другой перевод той же новеллы — в штутгартской газете "Blätter zur Kunde der Literatur des Auslandes" (1838, 11, 14, VII); "Насмешка мертвеца", переведенная уже после выхода изд. 1844, - в сборнике, изданном Робертом Линнертом, "Nordisches Novellenbuch" (Bd. I. Leipzig, 1846, S. 249–266); из произведений, не входивших в "Русские ночи", переведены: "Княжна Мими" — в сборнике "Russisches Hundert und Bins" (Bd. 2. Berlin, 1836, S. 181–294); "Сильфида" — в журнале прогрессивного немецкого литератора Т. Мундта, издававшемся в Альтоне, "Der Freihafen" (1839, H. 1, S. 73–109), затем перепечатана в сборнике "Elegante Bibliothek moderner Novellen" (Berlin, 1844). О журнале Мундта и вообще о связях Одоевского с немецкими литераторами см. кн.: Данилевский Р. Ю. "Молодая Германия" и русская литература. Л., 1969 (по именному указателю).

⁴ Фарнгаген фон Энзе Карл Август (1785–1858) — немецкий писатель и критик; выучил русский язык, много сделал (как переводчик и литератор) для пропаганды русской литературы на Западе. Известно, что ему принадлежит перевод повести "Сильфида" (см. примеч. 3); видимо, он перевел и другие произведения Одоевского.

Мазурка кончилась. Ростислав уже насмотрелся на белые, роскошные плечи своей дамы и счел на них все фиолетовые жилки, надышался ее воздухом, наговорился с нею обо всем, о чем можно наговориться в мазурке, напр обо всех тех домах, где они должны были встречаться в продолжение недели, и, неблагодарный, чувствовал лишь жар и усталость; он подошел к окошку, с наслаждением впивал тот особенный запах, который производится трескучим морозом, и с чрезвычайным любопытством рассматривал свои часы; было два часа за полночь. Между тем на дворе все белело и кружилось в какой-то темной, бездонной пучине, выл северный ветер, хлопьями пушило окна и разрисовывало их своенравными узорами. Чудное зрелище! за окном пирует дикая природа, холодом, бурю, смертью грозит человеку, — здесь, через два вершка, блестящие люстры, хрупкие вазы, весенние цветы, все удобства, все прихоти восточного неба, климат Италии, полунагие женщины, равнодушная насмешка над угрозами природы, — и Ростислав невольно поблагодарил в глубине души того умного человека, который выдумал строить дома, вставлять рамы и топить печи. "Что было бы с нами, — рассуждал он, — если бы не случилось на свете этого умного человека? Каких усилий стоило человечеству достигнуть весьма простой вещи, на которую обыкновенно никто не обращает внимания, то есть жить в доме с рамами и печами?" — Эти вопросы нечувствительно напомнили Ростиславу сказку одного его приятеля⁵, которая начинается, кажется, со времен изобретения огня и оканчивается сценою в гостиной, где некоторые люди находят весьма похвальным, что в просвещенной Англии господа ремесленники ломают и жгут драгоценные машины своих хозяев. Общество первобытных обитателей земли, окутанных в звериные шкуры, сидит на голой земле вокруг огня; им горячо спереди, им холодно сзади, они проклинаят дождь и ветер и смеются над одним из чудачков, который пытается сделать себе крышку, потому что, разумеется, ее беспрестанно сносит ветер. Другая сцена: люди сидят уже в лачуге; посреди разложен костер, дым ест глаза, ветром разносит искры; надобно смотреть за огнем беспрестанно, иначе он разрушит едва сплоченное жилище человека; люди проклинаят ветер и холод, и опять смеются над одним из чудачков, который пытается обложить костер камнями, потому что, разумеется, от того огонь часто гаснет. Но вот гений, которому пришло в голову закрывать трубу в печке! Этот, несчастный должен выдержать батальный огонь насмешек, эпиграмм, упреков, ибо много людей угорело от первой закрытой на свете печки. — А чему не подвергался тот, кому первому пришло в мысль приготовить обед в глиняном горшке, выковать железо, обратить песок в прозрачную доску, выражать свои мысли с трудом остающимися в памяти знаками, наконец подчинить законному порядку сборище людей, привыкших к своеволию и полному разгулу страстей? Какие успехи должны были сделать физика, химия, механика и проч., чтоб обратить произведение пчелы в свечку, склеить этот стол, обтянуть эти стены штофом, расписать потолок, зажечь масло в лампах? Ум теряется в бесконечно многочисленных, разнообразных открытиях, без которых не было бы светлого дома с рамами и печами. — "Что ни говори, — подумал Ростислав, — а просвещение доброе дело!"

"Просвещение"... на этом слове он невольно остановился. Мысли его более и более распространялись, более и более становились важнее... "Просвещение! Наш XIX век называют просвещенным; но в самом ли деле мы счастливее того рыбака, который некогда, может быть, на этом самом месте, где теперь пестреет газовая толпа, расстилал свои сети? Что вокруг нас?"

Зачем мнутятся народы? Зачем, как снежную пыль, разносит их вихорь? Зачем плачет младенец, терзается юноша, унывает старец? Зачем общество враждует с обществом и, еще более, с каждым из своих собственных членов? Зачем железо рассекает связи любви и дружбы? Зачем преступление и несчастье считается необходимою буквою в математической

⁵ Судя по излагаемому далее содержанию сказки, Одоевский говорит здесь о собственном произведении, носящем название "Детская сказка для взрослых детей". Произведение это не было напечатано и сохранилось в рукописи в нескольких отрывках.

формуле общества?

Являются народы на поприще жизни, блещут славою, наполняют собою страницы истории и вдруг слабеют, приходят в какое-то беснование, как строители вавилонской башни, — и имя их с трудом отыскивает чужеземный археолог посреди пыльных хартий.

Здесь общество страждет, ибо нет среди его сильного духа, который бы смирил порочные страсти, а благородные направил ко благу.

Здесь общество изгоняет гения, явившегося ему на славу, — и вероломный друг, в угоду обществу, предаёт позору память великого человека. {[* Намек на Томаса Мура^б, по семейным не решившегося издать записки Байрона, ожидавшиеся с нетерпением.]}

Здесь движутся все силы духа и вещества; воображение, ум, воля напряжены, — время и пространство обращены в ничто, пирует воля человека, а общество страждет и грустно чувствует приближение своей кончины.

Здесь, в стоячем болоте, засыпают силы; как взнузданный конь, человек прилежно вертит все одно и то же колесо общественной махины, каждый день слепнет более и более, а махина полуразрушилась: одно движение молодого соседа — и исчезло стотысячелетнее царство.

Везде вражда, смешение языков, казни без преступлений и преступления без казни, а на конце поприща — смерть и ничтожество. Смерть народа... страшное слово!

Закон природы! — говорит один.

Форма правления! — говорит другой.

Недостаток просвещения! — говорит третий.

Излишество просвещения!

Отсутствие религиозного чувства!

Фанатизм!

Но кто вы, вы, гордые истолкователи таинства жизни? Я не верю вам и имею право не верить! Нечисты слова ваши, и под ними скрываются еще менее чистые мысли.

Ты говоришь мне о законе природы; но как угадал ты его? Пророк непризванный! где твое знамение?

Ты говоришь мне о пользе просвещения? Но твои руки окровавлены.

Ты говоришь мне о вреде просвещения? Но ты косноязычен, твои мысли не вяжутся одна с другою, — природа темна для тебя, — ты сам не понимаешь себя!

Ты говоришь мне о форме правления? Но где та форма, которою ты доволен?

Ты говоришь мне о религиозном чувстве? Но смотри — черное платье твое опалено костром, на котором терзался брат твой; его стенания невольно вырываются из твоей гортани вместе с твоею сладкою речью.

Ты говоришь мне о фанатизме? Но смотри — душа твоя обратилась в паровую машину. Я вижу в тебе винты и колеса, но жизни не вижу!

Прочь, оглашенные! нечисты слова ваши: в них дышат темные страсти! Не вам оторваться от житейского праха, не вам проникнуть в глубину жизни! В пустыне души вашей веют тлетворные ветры, ходит черная язва и ни одного чувства не оставляет незараженным!

Не вам, дряхлые сыны дряхлых отцов, просветить ум наш. Мы знаем вас, как вы нас не знаете; мы в тишине наблюдали ваше рождение, ваши болезни — и предвидим вашу кончину; мы плакали и смеялись над вами, мы знаем ваше прошедшее ... но знаем ли свое

^б Английского поэта и друга Байрона Томаса Мура (1779–1852) обвиняли в уничтожении мемуаров Байрона, которые были ему завещаны. Об этом, кстати, писал в России еще в 1825 г. П. А. Вяземский в предположи к статье "Нью-Стидское аббатство" (Московский телеграф, 1825, № 20 — подпись "В"). Однако вина Мура весьма проблематична. Будучи в тяжелом материальном положении, Мур, воспользовавшись содержащимся в завещании Байрона разрешением, продал мемуары постоянному издателю Байрона Маррею. Тот собирался их опубликовать, но этому воспротивились жена и сестра Байрона, и по их настоянию, несмотря на протесты Т. Мура, мемуары были уничтожены.

будущее?" Читатель, вероятно, уже догадался, что все эти прекрасные вещи успели пробежать в голове Ростислава в тысячу раз скорее, нежели во сколько я мог рассказать их, — и действительно, они продолжались не более того промежутка, который бывает между двумя танцами. Два приятеля подошли к Ростиславу.

— Что ты нашел в этом окошке?

— О чем ты задумался? — спросили они.

— О судьбе человечества! — отвечал Ростислав важным голосом.

— Подумай лучше о судьбе нашего ужина, — возразил Виктор, — здесь танцевальные мученики затевают еще контраданс до ужина.

— До ужина? Злодеи!.. Слуга покорный!

— Поедем к Фаусту.

Надобно предупредить благосклонного читателя, что Фаустом они называли одного из своих приятелей, который имел странное обыкновение держать у себя черную кошку, по нескольку дней сряду не брить бороды, рассматривать в микроскоп козявок, дуть в плавильную трубку, запира́ть дверь на крючок и по целым часам прилежно заниматься, кажется, обтачиванием ногтей, как говорят светские люди.

— К Фаусту? — отвечал Ростислав. — Прекрасно; он мне поможет разрешить задачу.

— Он нам даст ужинать.

— У него можно курить.

К ним присоединились еще несколько человек, и все вместе отправились к Фаусту.

Садясь в карету, Ростислав остановился на подножке.

— Послушайте, господа, — сказал он. — Ведь карета есть важное произведение просвещения?

— Какое тут просвещение! — закричали его нетерпеливые спутники. Двадцать градусов мороза: садись скорее!

Ростислав послушался, по продолжал: "Да! карета есть важное произведение искусства. Вы, укрываясь в ней от ветра, дождя и снега, верно никогда не думали, какие успехи в науках были необходимы для создания кареты!".

Сперва все захохотали, но потом, когда начали разбирать по частям это высокое произведение, то нашли, что для рессор надобно было взрывать рудники, для сукна — воспитать мериноров и изобрести ткацкий стан, для кожи — открыть свойства дубильного вещества, для красок — почти всю химию, для дерева — существовать мореплаванию, Колумбу открыть Америку, и проч. и проч. Словом, нашлось, что почти все науки и искусства и почти все великие люди были необходимы для того, чтобы мы могли спокойно сидеть в карете, а это дело, кажется, теперь так просто, так сподручно для каждого ремесленника... Между тем глубокомысленный предмет наших изысканий остановился у подъезда.

Фауст, по своему обыкновению, еще не спал, сидел в креслах невыбранный; перед ним черный кот, разного рода ножницы, ножички, подпилки, щеточки и пемза, которую он всем рекомендовал как самое лучшее средство для отделки ногтей, потому что после нее ногти не ломаются, не задираются и, словом, не производят ни одного из тех огорчений, которые могут нарушить спокойствие человека в этой жизни.

"Что есть просвещение?"

"Нельзя ли ужинать?"

"Что есть карета?"

"Нельзя ли сигару?"

"Отчего мы курим табак?" — прокричали вместе несколько голосов.

Фауст, нимало не смешавшись, поправил на голове колпак и отвечал: "Ужинать я вам не дам, потому что я сам не ужинаю; чай можете сделать сами в машине a pression froide, {холодного давления (франц.).} — прекрасная машина, жаль только, что чай в ней бывает очень дурен; на вопрос, отчего мы курим, я буду вам отвечать, когда вы добьетесь от животных, почему они не курят; карета есть механический снаряд для употребления людей,

приезжающих в четыре часа ночи; что же касается до просвещения, то к собираюсь ложиться спать — и гашу свечки".

НОЧЬ ВТОРАЯ

На другой день около полуночи толпа молодых людей снова вбежала в комнату Фауста. "Ты напрасно вчера прогнал нас, — сказал Ростислав, — у нас поднялся такой спор, какого еще никогда не было. Представь себе, я завозил Вечеслава домой; на подножке кареты он остановился, а мы все еще продолжали спорить, да так, что всполошили всю улицу".

— Что же вас так встревожило? — спросил Фауст, лениво потягиваясь в креслах.

— Безделица! Каждый день мы толкуем о немецкой философии, об английской промышленности, о европейском просвещении, об успехах ума, о движении человечества, и проч. и проч.; но до сих пор мы не спохватились спросить одного: что мы за колесо в этой чудной машине? что нам оставили на долю наши предшественники? словом: что такое мы?

— Я утверждаю, — сказал Виктор, — что этот вопрос не может существовать, или ответ на него самый простой: мы, во-первых, люди. Мы пришли позже других, — дорога проложена, и мы, волею или неволею, должны идти по ней...

Ростислав. Прекрасно! Это точно книга, над которою человек трудится в продолжение сорока лет и в которой, наконец, очень благоразумно объявляет читателю: "Мм! Гг! один сказал одно, другой — другое, третий — третье; что же касается до меня, то я ничего не говорю"...

— И это не дурно для справок, — заметил Фауст, — все в жизни нужно; но дело в том: точно ли ничего не осталось сказать?

— Да зачем и говорить? — возразил Вечеслав. — Все это вздор, господа. Чтоб говорить, надобно, чтоб слушали; век слушанья прошел: кто кого будет слушать? да и об чем хлопотать? — Мир без нас начался, без нас и кончится. Я объявляю вам, что мне наскучили все эти бесплодные философствования, все эти вопросы о начале вещей, о причине причин. Поверьте мне, все это пустошь в сравнении с хорошим бифштеком в бутылкой лафита; они мне напоминают лишь басню Хемницера "Метафизик"⁷.

— Хемницер, — заметил Ростислав, — несмотря на свой талант, был в этой басне рабским отголоском нахальной философии своего времени. Он, вероятно, сам не предвидел, до какой меры это прославление холодного эгоизма подействует на молодые головы; в этой басне лицо, — заслуживающее уважения, есть именно Метафизик, который не видал ямы под своими ногами и, сидя в ней по горло, забывая о себе, спрашивает о снаряде для спасения погибающих и о том, что такое время. Тот же, кто на эти вопросы отвечает грубою насмешкою, напоминает мне тех благоразумных людей, которые во время французской революции на просьбу несчастного и славного Лавуазье⁸ — окончить начатый им опыт — отвечали, что мудрая республика не нуждается в химических опытах. Что же касается до бифштекса и лафита, то ты совершенно прав — до тех пор, пока сидишь за столом; но, к сожалению, человеку так трудно все совершенное, что ему даже недостает способов совершенно оскотиться; кажется, он живьем предался чувственности, все забыто —

⁷ Имеется в виду текст басни в редакции В. Капниста (1799), по которому басня И. И. Хемницера (1745–1784) "Метафизический ученик" и была известна читателю первой половины XIX в. Подлинный текст басни Хемницера был опубликован в 1873 г. впрочем, и в подлинном тексте басни заключена мораль, неприемлемая ни для Ростислава, ни для самого Одоевского.

⁸ Лавуазье Антуан Лоран (1743–1794) — французский химик, исполнявший некоторое время должность "генерального откупщика" и за это приговоренный революционным правительством к смертной казни. Существует предание, что накануне своей казни он просил отсрочки на несколько дней для окончания важных химических опытов, но получил отказ. (См.: Морозов Н. В поисках философского камня СПб., 1909, с. 154).

опьянение полно, а грусть стучится к нему в сердце, грусть нежданная, непонятная; он силится отклонить, разгадать ее, и снова оживает душа в огрубелом теле, ум просит жизни, мысль — образа, и смущенный, стыдливый дух человека снова бьется о непостижимые двери райских селений.

— Оттого, что мы глупы! — возразил Вечеслав.

— Нет! — вскричал Фауст. — Оттого, что мы люди; как ни вертись, от души не отвертишься. Смотри-ка, на что натолкнулась химия, гордая химия, которая хотела верить только тому, что могла ощупать! Ее материальные приемы сокрушились пред этою странною силою природы, которая из смеси [угля,] воды и азота составила все виды растительного [и животного] царства. "Взвешивайте, определяйте состав веществ, и мы откроем всю природу!" говорили химики в своем материальном безумии и, наконец, открыли тела одинакого состава и различных свойств, одинаких свойств и различного состава... они натолкнулись на жизнь! — Какая насмешка над нашим осязанием! какой урок житейскому разуму! — Зачем мы живем? — спрашиваете вы. Трудный и легкий вопрос. Может быть, на него можно отвечать одним словом; но этого слова вы не поймете, если оно само не выговорится в душе вашей... Вы хотите, чтобы вас научили истине? — Знаете ли великую тайну: истина не передается! Исследуйте прежде: что такое значит говорить? Я, по крайней мере, убежден, что говорить есть не иное что, как возбуждать в слушателе его собственное внутреннее слово: если его слово не в гармонии с вашим — он не поймет вас; если его слово свято — ваши и худые речи обратятся ему в пользу; если его слово лживо — вы произведете ему вред с лучшим намерением. {*} Неоспоримо, что словом исправляется слово; но для того действующее слово должно быть чисто и откровенно, — а кто поручится за полную чистоту своего слова? — Вот вам побасенка в роде Хемницера: на улице стоял человек слепой, глухой и немой от рождения; лишь два чувства ему были оставлены природою: обоняние и осязание; что открывало ему чутье, то непременно ему хотелось ощупать, и когда это было невозможно, глухонемой слепец ужасно сердился и даже в досаде бил костылем прохожих. Однажды добрый человек подал ему милостыню; слепец почувял, что то была золотая монета, и обрадовался без ума, почел себя первым богачом в свете, от радости принялся прыгать... но радость его была непродолжительна: он уронил монету! В отчаянии тщетно он шарил и в углу стены и вокруг себя по земле, и рукою и костылем, тщетно роптал, тщетно жаловался; часто он чуял запах монеты, казалось, близко — тщетная надежда: монета была ненаходима! Как спросить о ней у прохожих? Как услышать, что они скажут? Тщетно телодвижениями он умолял окружающих помочь его горю: одни не понимали его, другие над ним смеялись, третьи говорили ему, но он не слышал их. Мальчишки со смехом дергали его за платье; он еще более принимался сердиться и, в гневе гоняясь за ними с костылем своим, забывал даже о своей монете. Так провел он целый день в непрестанном терзании; к вечеру усталый он возвратился домой и бросился на грудь камней, служивших ему постелью; вдруг он почувствовал, что монета покатила по нем и — укатилась под камни — на сей раз уже невозвратно: она была у него за пазухой!.. Кто мы, если не такие же глухие, немые и слепые от рождения? Кого мы спросим, где наша монета? Как пойдем, если кто нам и скажет, где она? Где наше слово? Где слух наш? Между тем усердно мы шарим вокруг себя на земле и забываем только одно: посмотреть у себя за пазухой... Ваш вопрос не новость. Многие ломали над ним голову. У меня были в молодости два приятеля, которые наткнулись на тот же вопрос; только им показалось, что отвечать: зачем живем мы? — можно тогда только, когда решим: зачем живут другие? Исследовать других во всех или по крайней мере в важнейших фазах земной жизни показалось им предметом любопытным. Это было давно, в самый разгар Шеллинговой философии. Вы не можете себе представить, какое действие она произвела в свое время, какой толчок она дала людям, заснувшим под монотонный напев Локковых рапсодий⁹.

⁹ Отрицательное отношение Одоевского к английскому философу Джону Локку (1632–1704) обусловлено больше всего материализмом и эмпиризмом последнего. "Эмпиризм и материализм, — писал Одоевский, —

{[* Мысль, почерпнутая Фаустом из сочинения Пордеча¹⁰ и "Philosophe inconnu"¹¹; Фауст часто, раза три или четыре, цитует этих сочинителей, не называя их — ибо боится упрека в мистицизме и в том, что он поддался влиянию не немецкого философа, что в эту эпоху казалось непростительным.

Эпоха, изображенная в "Русских ночах" — есть тот момент XIX века, когда Шеллингова философия перестала удовлетворять искателей истины¹² и они разбрелись в разные стороны.}}

В начале XIX века Шеллинг был тем же, чем Христофор Колумб в XV: он открыл человеку неизвестную часть его мира, о которой существовали только какие-то баснословные предания, — его душу! Как Христофор Колумб, он нашел не то, чего искал; как Христофор Колумб, он возбудил надежды неисполнимые. Но, как Христофор Колумб, он дал новое направление деятельности человека! Все бросились в эту чудную, роскошную страну, кто возбужденный примером отважного мореплавателя, кто ради науки, кто из любопытства, кто для поживы. Одни вынесли оттуда много сокровищ, другие лишь обезьян да попугаев, но многое и потонуло.

Мои молодые друзья также участвовали в общем движении, трудились в поте лица, и хотите ли знать, до чего дошли они? — их история любопытна: будете ли иметь терпение ее выслушать?

Все изъявили согласие. Виктор закурил сигару и важно уселся в креслах; Вечеслав насмешливо наклонился на стол и принялся рисовать карикатуры; Ростислав задумчиво прижался в уголок дивана.

— Видите, — сказал Фауст, — им так же, как вам, досталась по наследству от внуков Адамовых несчастная страсть, слабость, род болезни — смертная охота обо всем спрашивать. Еще в детстве их часто бранили и наказывали, когда они надоедали учителям с вопросами: зачем огонь горит вверх, а вода бежит вниз? зачем треугольник не круг, а круг не треугольник? зачем человек выходит из недр матери лицом к земле, а потом постоянно возводит глаза к небу? и прочее, тому подобное. Тщетно доказывали им, что на свете существуют два рода вопросов: одни, которых разрешение знать нужно и полезно, и другие, которые можно отложить в сторону. Такое разделение казалось им весьма рассудительным, весьма сподручным для жизни, даже весьма логическим; а между тем душа их не умолкала.

Странны им казались пошлые фразы старого и нового язычества¹³: "счастье человека

крайне недостаточные средства для достижения истины" (см.: Сакулин, ч. I, с. 483).

¹⁰ Пордеч Джон (1625?-1698) — английский врач, натуралист, мистик, ученик Якова Беме. Из сочинений Пордеча на русский язык еще в 1786 г. переведена книга "Божественная и истинная метафизика, или Дивное и опытом приобретенное ведение невидимых вечных вещей". Система Пордеча представляет собой главным образом мистическую гносеологию и космографию.

¹¹ Имеется в виду Луи-Клод де Сен-Мартен (1743–1603) французский мистик, прозванный "le philosophe inconnu" (неизвестный философ); автор книги "О заблуждениях и об истине", которую екатерининские полицейские разыскивали у русских масонов. О Сен-Мартене Одоевский, испытывавший интерес к его учению, вел в 1842 г. разговор с Шеллингом (см.: Ковалевский М. Шеллингианство и гегельянство в России. Вестник Европы, 1915, № 11, с. 166). Ср. примеч. 85 на с. 303.

¹² Имеются в виду 30-е годы XIX в., когда эволюция многих русских мыслителей характеризуется движением от Шеллинга к Гегелю. Сам Одоевский в это время остро ощущает противоречия и недостаточность той "философии тождества" Шеллинга, которой он увлекался в 20-е годы. Впрочем, Одоевский и в эти годы был далек от Гегеля. Его путь был иным. Как заметил Ю. Манн, Одоевский в "известной мере самостоятельно проделывал тот путь, которым шел Шеллинг от "философии тождества" к "философии откровения" (Философская энциклопедия, Т. 4., М., 1967, с. 133).

¹³ Под формулой "старого и нового язычества" Одоевский объединяет все роды философского агностицизма и скептицизма, столь чуждые его романтическому сознанию.

невозможно! истина не дана человеку! постигнуть начальную причину вещей невозможно! сомнение — удел человека! нет правила без исключений!"

В истертых листках одной старой забытой книги юношам встретилось наблюдение, сильно их поразившее. — С сим словом Фауст вынул из старого портфеля листок, на котором было написано следующее:

"Не напрасно человек ищет той точки опоры, где могли бы примириться все его желания, где все вопросы, его возмущающие, могли бы найти ответ, все способности получить стройное направление. Для его счастья необходимо одно: светлая, обширная аксиома, которая обняла бы все и спасла бы его от муки сомнения; ему нужен свет незаходимый в неугашаемый, живой центр для всех предметов, — словом, ему нужна истина, но истина полная, безусловная. Недаром также в устах человека сохранилось поверье, что можно желать только того, что знаешь; одно это желание не свидетельствует ли, что человек имеет понятие о такой истине, хотя не может себе отдать в ней отчета? иначе откуда бы этому желанию пробраться в его душу? Одно это предчувствие полной истины не свидетельствует ли, что есть какое-то основание для этого предчувствия, как бы ни было оно темно и сбивчиво, как бы ни было похоже на грезы или на тот обман чувств, когда шарик под скрещенными пальцами кажется нам раздвоенным, что, однако же, дает нам убеждение в том, что шарик действительно существует.

Равное объемлется равным; если существует влечение, то должен быть и предмет привлекающий, предмет одного сродства с человеком, к которому тянется душа человека, как предметы земной поверхности притягиваются к центру земли; потребность полного блаженства свидетельствует о существовании сего блаженства; потребность светлой истины свидетельствует о существовании сей истины, а равно и то, что темнота, заблуждения, сомнение противны природе человека; стремление человека постигнуть причину причин, проникнуть в средоточие всех существ, — потребность благоговения, — свидетельствуют, что есть предмет, в который доверчиво может погрузиться душа; словом, желание жизни полной свидетельствует о возможности такой жизни, свидетельствует, что лишь в ней душа человека может найти успокоение.

Грубое дерево, последняя былинка, каждый предмет грубой временной природы доказывают существование закона, который ведет их прямо к той степени совершенства, к которой они способны; с начала веков, несмотря на все пагубные влияния, их окружающие, естественные тела развивались в тысяче поколениях, стройно и однообразно, и всегда достигали до полного своего развития.

Неужели высшая сила лишь человеку дала одно безответное желание, неудовлетворимую потребность, беспредметное стремление?"

{[* В этих строках заключается почти вся теория du *Philosophe inconnu* — знаменитого St. Martin, — которого обыкновенно смешивают с португальцем Martinez de Pasqualis¹⁴, основателем секты мартинистов. St. Martin некоторое время был его учеником, но потом оставил его, и, может быть, именно потому, что знал все тайны секты, — был всегда противником всех возможных сект и не принадлежал ни к какой. Довольно замечательно, что это обстоятельство осталось незамеченным даже для людей такой учености каков был Шеллинг. Однажды в разговоре с ним мы коснулись этого предмета¹⁵, и он с обыкновенною своей откровенностью признался, что и он смешал St. Martin с Мартинедом].}

Эти вопросы, продолжал Фауст, привели моих искателей к другому, довольно странному: не ошиблись ли люди в истинном пути к влекущему их предмету? или они знали его, но забыли, — и тогда как вспомнить? Вопросы страшные, мучительные для мыслящего

¹⁴ Martinez de Pasqualis — испанский врач и философ (1776–1831), пропагандировал экспериментальный метод в науке, много работал в области анатомии.

¹⁵ См. примеч. 4.

духа!

Между тем однажды учитель объявил моим искателям, что они прошли и грамматику, и историю, и поэзию и что, наконец, они будут учиться такой науке, которая решит все возможные вопросы, и что эта наука называется философией.

Юноши были вне себя от изумления и готовы были спросить, что такое грамматика? что такое история? что такое поэзия? Но вторая половина учительского объявления так их утешила, что они на этот раз решились промолчать и исподтишка наготовить многое множество вопросов для своей новой науки.

И вот, один учитель принес им Баумейстера¹⁶, другой Локка, третий Дюгальда¹⁷, четвертый Канта, пятый Фихте, шестой Шеллинга, седьмой Гегеля. Какое раздолье! Спрашивай, о чем хочешь, — на все ответ. И еще какой! Одетый в силлогистическую форму, испещренный цитатами, с правами на древность происхождения, обделанный, обточенный.

В самом деле, на этом пути наши искатели имели минуты восхитительные, минуты небесные, которых сладости не может понять тот, кого не томила душевная жажда, кто не припадал горячими устами к источнику мыслей, не упивался его магическими струями, кто, еще не возмужавши, успел растлить ум сладострастием расчета, кто с ранних лет отдал сердце в куплю и на торжище ежедневной жизни опрокинул сокровищницу души своей.

Счастливые, небесные минуты! Тогда, для юноши, философ говорит с сердечным убеждением; тогда юноше в стройной системе представляется вся природа; тогда вы не хотите сомневаться, — все ясно! все понятно вам!

Счастливые мгновения, предвестницы рая! зачем так скоро вы улетаете?

Чтоб удобнее преследовать предмет своих изысканий, чтобы поверить его в его развитиях, чтобы достигнуть той цели, которая нарушала сон их и тяготила бдение, мои молодые друзья разделили свои труды: один предался паукам, и главнейшею из них избрал политическую экономию как науку, где теория требует самых осязаемых применений; другой искусствам, и главнейшим избрал себе музыку как искусство, которого язык выражает внутреннейшие ощущения человека, невыразимые словами. Они мнили с этих противоположных пределов деятельности человеческой проследить всю жизнь и встретиться в разрешении тех задач, которые провидение предоставило труду человека.

Изыскателям попадались книги и люди, из которых одни уверяли их, что человечество достигло последней степени своего совершенства, что все объяснено, все сделано и ничего более ни делать, ни объяснять не остается; другие — что человечество не сделало ни шагу со времен своего падения; что оно двигалось, но не подвигалось; третьи — что хотя человечество и не достигло до совершенства, однако в наше время решен по крайней мере вопрос, каким образом отличать истину от бредней, дельное от неделного, важное от неважного; что в наше время уже сделалось непростительным человеку, как говорят, образованному не уметь определить себе круга занятий и не знать цели, к которой он должен стремиться; что, наконец, если человечество может еще подвинуться к совершенству, то не иначе, как следуя тому пути, который оно себе теперь избрало.

Защитники настоящего времени, сверх того, утверждали, что, допуская все несовершенство, которое будто бы естественным образом связано со всеми делами человеческими, все нельзя не признать того, что разбросанные философические системы древних мыслителей ныне заменены стройными системами; что в медицине место недоконченных опытов и сказок заступили стройные теории, где всевозможные болезни человека подведены под разряды, где для каждой приискано приличное название, каждой

¹⁶ Баумейстер Фридрих Христиан (1708–1785) — немецкий философ и логик.

¹⁷ Дюгальд Жан Батист (1674–1743) — французский ученый. Его труд, составленный по мемуарам и сочинениям миссионеров, считался классическим и переведен был в 1774–1777 гг. на русский язык под названием "Географическое, хронологическое, политическое и физическое описание Китайской империи и Татари китайской".

определен способ лечения; что астрология у нас обратилась в астрономию, алхимия в химию, магическая восторженность в болезнь, излечимую хорошо рассчитанными микстурами; что в искусствах — поприще поэта освобождено от предрассудков, замедлявших полет его, и положены лишь необходимые границы его свободе; наконец, в устройстве общества разве безопасность не заменила прежних смут, и вообще права между народами и частными людьми не определены ли с большею точностью? В самых мелких явлениях общества, даже в одежде, разве просвещение не устранило всех прежних нелепых требований, которые столько же, как и тогдашние мнения, связывали всякое движение и делали сходбища людей тягостною работою? А книгопечатание? А паровые машины? А железные дороги? Разве не раздвинули они круга деятельности человека и не показывают славных побед, одержанных им над противоборствующей ему природой?

Так! — восклицали они: XIX век понял, в чем состоит задача, заданная ему провидением!

Все это заставило не раз задуматься моих молодых наблюдателей. Между тем время проходило, юноши становились мужчинами, а их вопросы... вопросы не находили ответа. Невольно снова заглянули они в истертые листки старой забытой книги — и вопросы их разрослись еще сильнее, как росток, попавший в плодоносную землю. Состояние души моих молодых искателей довольно хорошо выражается в оставшейся после них небольшой тетрадке с довольно странным эпиграфом:

Human! generis mater, nutrixque profecto dementia est. {}*
{* Безумие, конечно, мать рода человеческого и кормилица
(лат.).}

Я прочту вам из нее несколько отрывков:

Desiderata { Пожелания (лат.) }

"Как! Медицина на последней степени совершенства, но причина здравия, причина болезни, образ действия лекарства — все остается загадкою? Врач подает больному целебный фиал — и не знает, что совершается в этом самом фиале, колыми паче, что совершается во внутренности организма. Лекарство удалось или не удалось, человек не знает причины. Тщетно он вопрошает труп другого человека: труп молчит или дает ответы, которые лишь приводят в сомнение о действиях жизни; гордый своим знанием мертвого, врач подходит к живому страдальцу, с ужасом видит то, чего не предвидела его наука, и с отчаянием уверяется, что его наука лишь начинается в сию минуту; он вышел за двери — в глаза ему является губительная зараза, которая умерщвляет жителей тысячами, а изумленный сын Эскулапа провожает ее шествие остолбенелыми глазами, не зная даже, как назвать нового, страшного путника.

Математика на высшей степени совершенства! Длинными окольными путями она приводит нас к нескольким формулам, из которых одни вовсе неприменяемы, другие применяемы только приблизительно; другими словами, математика приводит нас к дверям истины, но самих дверей не отворяет. При всяком математическом процессе мы чувствуем, что к нашему существу присоединяется какое-то другое, чуждое, которое трудится, думает, вычисляет, а между тем наше истинное существо как бы перестает действовать и, не принимая никакого участия в этом процессе, как в деле постороннем, ждет своей собственной пищи, а именно связи, которая должна существовать между ним и этим процессом, — этой-то связи мы и не находим. Так математика держит нас на привязи; она позволяет нам считать, весить и мерить, но не пускает ни на шаг из своего искусственного, страдательного круга; тщетно мы просимся в мир действующий, в ту сферу, которая не обнимается, но обнимает; тщетно хотели бы мы поверить сферу страдательную сферою

действующею — там нет сродства для математики; ее точный, единственно верный язык остается для нее одной; тщетно другие науки выпрашивают несколько формул от роскошного стола ее выражений: она считает цифры, а внутреннее число предметов остается для нее недосягаемым.

Физика, это торжество XIX века, достигла высшей степени совершенства. С гордостью толкуем мы об открытой нами силе тяготения; но в сей силе мы открыли одну только мертвую сторону — падение; другая же действующая сторона сей силы, та, которая содействует к образованию тела, нами забыта, и мы для объяснения живого тяготения не хотим обратить внимания на то, что для мертвой массы нет никакой причины тяготеть к другой, также мертвой; что мертвые массы не ищут друг друга и соединяются без всякого желанья; что это знаменитое тяготение должно бы, в собственном смысле, произвести не стройную гармонию, которая, вопреки нашей логике, нас поражает в природе, но совершенный хаос. Сие живое тяготение укрылось от физиков, и нет явления, для которого бы не существовало тысячи противоположных объяснений. Как ремесленники, мы хватаемся то за то, то за другое орудие, а природа издевается над нами и при каждом шаге вперед отталкивает нас на два шага назад.

Химия на высшей степени совершенства. Мы пережгли все произведения природы, но которое из них мы восстановили? которое объяснили? Поняли ли мы внутреннюю связь между веществами? что такое их сродство, их таинственные соотношения, — и то еще на низшей степени природы, посреди грубых минералов? А что делается с химией при виде жизни органической? то, что открыли в природе неорганической, — лишь смешивается понятие о живой природе. Ни одна нить ее покрова не приподнята; мы населили природу собственными произведениями своей лаборатории, дали одно имя различным веществам, различные имена одному веществу, тщательно описали их, — и осмелились назвать это наукою! Астрономия на высшей степени совершенства. Верно исчислив движение звезд, она пытается приравнять их взаимное притяжение к притяжению магнита и не может постигнуть, отчего сила магнитного притяжения невычислима; а магнит, кажется, под руками! С большим успехом она сравнила природу с мертвыми часами, тщательно описала все их колеса, шестерни и пружины; одного недостает астрономии — найти ключ, которым эти часы заводятся; астрономы даже и не заботятся о нем; тщательно смотрят они на циферблат, но стрелка не вертится, и на вопрос: который час, в самом деле? астрономы принуждены отвечать, как некогда в мистических ложах, явною нелепостию.

А законы общества? Много бессонных ночей провели люди в размышлении об этом предмете! Много было споров, разрушивших согласие между владыками людских мнений! Много, много крови пролито для защиты идей, которых существование ограничивалось двумя днями! Сперва нашлись те, кому принадлежит честь изобретения фантома, который они осмелились назвать "человеческим обществом", — и все принесено было в жертву фантому, а привидение осталось привидением! Нашлись другие. "Нет! — сказали они. Счастье всех невозможно; возможно лишь счастье большого числа". И люди приняты за математические цифры; составлены уравнения, выкладки, все предвидено, все расчислено; забыто одно — забыта одна глубокая мысль, чудно уцелевшая только в выражении наших предков: счастье всех и каждого. И что же? вне общества беззаконные войны, самое безнравственное из преступлений, наполняют страницы человеческой истории; внутри общества — превращение всех законов провидения, холодный порок, холодное искусство, горячее, живое лицемерие и бесстыдное безверие во все, даже в совершенствование человечества.

Стране, погрязшей в нравственную бухгалтерию прошедшего столетия, суждено было произвести человека, который сосредоточил все преступления, все заблуждения своей эпохи и выжал из них законы для общества, строгие, одетые в математическую форму. Этот человек, которого имя должно сохранить для потомства, сделал важное открытие: он догадался, что природа ошиблась, разлив в человечестве способность размножаться, и что она никак не умела согласить бытие людей с их жилищем. Глубокомысленный муж решил,

что должно поправить ошибку природы и принести ее законы в жертву фантому общества. "Правители! — восклицал он в философском восторге. — Мои слова не пустая теория; моя система не следствие умозрений; я кладу ей в основание две аксиомы — первая: человек должен есть; вторая: люди множатся. Вы не спорите?.. Вы согласны со мною?.. Так слушайте же: вы думаете о благоденствии ваших подданных; вы думаете о соблюдении между ними законов провидения, об умножении сил вашего государства, о возвышении человеческой силы? Вы ошибаетесь, как ошиблась природа. Вы спокойны, вы не видите, какое бедствие она разлила вокруг вас. Смотрите, вот мои счеты: если ваше государство будет благоденствовать, если оно будет наслаждаться миром и счастьем, в двадцать пять лет число его жителей удвоится; через двадцать пять еще удвоится; потом еще, еще... Где же найдете вы в природе средства доставить им пропитание? Правда, при увеличивающемся народонаселении должно увеличиваться число работников, — с тем вместе, должны увеличиваться и произведения природы. Но как?.. Смотрите — я все предвидел, все рассчитал: народонаселение может увеличиваться в геометрической пропорции, как 1, 2, 4, 8; произведения же природы в арифметической, как 1, 2, 3, 4 и проч. Не обольщайтесь же мечтами о мудрости провидения, о добродетели, о любви к человечеству, о благотворительности; вникните в мои выкладки: кто опоздал родиться, для того нет места на пиру природы; его жизнь есть преступление. Спешите же препятствовать бракам; пусть разврат истребит целые поколения в их зародыше; не заботьтесь о счастье людей и о мире; пусть войны, мор, холод, мятежи уничтожат ошибочное распоряжение природы, — тогда только обе прогрессии могут слиться, и из преступлений и бедствий каждого члена общества составитя возможность существования для самого общества". И эти мысли никого не удивили; им возражали, как обыкновенному мнению... что я говорю? мысли Мальтуса¹⁸, основанные на грубом материализме Адама Смита¹⁹, на простой арифметической ошибке в расчете, — с высоты парламентских кафедр, как растопленный свинец, катятся в общество, пожигают его благороднейшие стихии и застывают в нижних слоях его.

{* См. речь лорда Брума²⁰ в заседании парламента 16 декабря 1819.}

Может быть, есть одно утешительное в этом явлении: Мальтус есть последняя нелепость в человечестве. По этому пути дальше идти невозможно.

В самом деле, что такое наука в наше время? В ней все решено — все, кроме самой науки. Все доказано, все — и та и другая сторона, и ложь и истина, и да и нет, и просвещение и невежество, и гармония мира и хаос создания. Одна мысль разрослась, захватила огромное пространство, а другая стоит против нее, ей противоположная, столь же сильная, столь же доказанная, как власть против власти!.. И нет борьбы — борьба кончилась. На поле битвы

¹⁸ Мальтус Томас Роберт (1766–1834) — английский политэконом, автор книги "Опыт о законе народонаселения...", написанной в 1798 г. и выдержавшей при жизни Мальтуса шесть изданий. Причину бедности народа Мальтус объясняет не особенностями социальных отношений, а "вечными" биологическими законами природы, согласно которым население возрастает в геометрической прогрессии, в те время как средства существования — в арифметической. Этим Мальтус оправдывает голод, болезни, войны, видя в них "позитивные" факторы.

Говоря о зависимости Мальтуса от предшественников, в частности и от Адама Смита (на это указывает В. Одоевский), К. Маркс писал: "Этот негодяй извлекает из добытых уже наукой (и всякий раз им украденных) предпосылок только такт; выводы, которые "приятны" (полезны) аристократии против буржуазии и им обеим — против пролетариата" (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. 2, с. 122).

¹⁹ Смит Адам (1723–1790) — английский философ и экономист, представитель классической буржуазной политической экономии. Основной труд Смита — "Исследование о природе и причинах богатства народов" (1776). Этическая система Смита построена на признании эгоистических побуждений главными двигателями человеческого поведения.

²⁰ Брум Генри (1778–1868) — английский политический деятель либерального толка. Прославился своими речами. С 1830 г. председательствовал в палате лордов.

встречаются бледные, изнеможенные ратники с поникшими лицами и болезненным голосом спрашивают друг друга: где ж победители? — Нет победителей! все мечта! В мире идеальном, как в грубом мире вещества, растет репейник возле розы, манценилл²¹ возле кокоса — и не мешают друг другу! — Это ли совершенство, ожидаемое людьми? Это ли совершенство, завещанное мудрыми? Это ли совершенство, предреченное святыми?

А поэзия? Философическим ножом вы раскрыли состав ее, рассекли таинственные связи, которыми соединяются ее стихии, разобрали их, оцифровали, положили под стекло; вы взрыли пепел индийский и греческий; вы отчистили ржавчину на кольчугах средних веков и в кладбище истории хотели отыскать жизнь поэтическую. Вы пытаетесь начертать теорию живописи, а еще не решили вопросов: отчего мы невольно всякую степень красоты приравняем к красоте человека? отчего все части тела могут быть покрыты без вреда человеку, кроме лица его? отчего все тело может выдержать прикосновение грубого вещества, кроме глаза? отчего, в минуту грусти, невольно склоняются взоры? отчего глаз, всегда одинаковый, всегда по наружности неизменный, служит выражением всех сокровеннейших степеней человеческого чувства и дает характер всей физиономии? словом: что такое выражение глаза? Ты не ошибался ли, великий поэт, когда перед смертью возвещал, что с тобой кончился век поэзии? Не наоборот ли выразили вдохновенную мысль твои ослабевшие органы, как бывает в той странной болезни ума и воображения, когда человек называет камень хлебом и змею рыбою? Не так говорили уста твои, когда, полный жизни, ты в символах передавал нам будущую судьбу человечества. Может быть, истинный век поэзии и не наступил еще. Может быть, ты сам был случайным гармоническим звуком, нечаянно вырвавшимся из хаоса нестройных музыкальных орудий. Неужели поэзия есть болезненный стон? Неужели удел совершенства страдание? Так, по-вашему, страдает и мудрость миров?.. Преступная мысль, внушенная адом, трепещущим своего падения! Одно мнимо поэтическое язычество могло к скале приковать Промифея.

Поэт!.. Поэт есть первый судия человечества. Когда в высоком своем судилище, озаряемый купиной несгораемой, он чувствует, что дыхание бурно проходит по лицу его, тогда читает он букву века в светлой книге всевечной жизни, провидит естественный путь человечества и казнит его совращение. Ныне ли вещей судья в состоянии произнести неумытный²² суд свой? Ныне ли, когда он сходит со ступеней своего престола так низко, что страдает вместе с другими, что делит с людьми скорбный хлеб нищеты душевной и забывает, где престол его, где его царственная трапеза, сомневается в ее существовании?

Странное зрелище представляют и наука и искусство — или, лучше сказать, что мы осмеливаемся называть наукою и искусством. Целые жизни проходят не в изучении их, а в том, чтоб найти, как им изучиться. Они, может быть, предохраняют человека от некоторых заблуждений, — но не питают его. Они похожи на повязку, которой ленивая нянька обвила голову ребенка, чтоб он, падая, не проломил себе черепа; но эта повязка не спасает от частых падений, она не предохраняет тела от болезней и — что всего важнее — нимало не способствует его органическому развитию.

И что же? в темном мире человеческого знания те, которые рвутся в глубину, встречают лишь загадки; те, которые довольствуются внешнею корою, переходят от мечты к мечте, от заблуждения к заблуждению; те, которым и эта внешняя кора недоступна, т. е. простолоудины, с каждым днем приближаются к скотскому состоянию; мудрейший умеет только стонать и плакать на кладбище человеческих мыслей!

А между тем наша планета стареет, безостановочно ходит равнодушный маятник времени и каждым размахом увлекает в пучину века и народы. Природа дряхлеет; испуганная, приподнимает она перед человеком свое тяжелое покрывало, показывает ему

²¹ Манценилл — дерево из экваториальной Америки, прозванное "деревом смерти" (сок его очень ядовит).

²² Неумытый — неподкупный, беспристрастный (мыт — пошлина).

свои трепещущие мышцы, морщины, врезавшиеся в лицо, и взывает к человеку; стонут ее песчаные степи, помертвелые от его удаления; зовет его водная стихия, вытесненная из недр земли коралловыми островами; развалины безыменных народов рассказывают страшную повесть о том, какая казнь ожидает беззаботную лень человека, допустившего природу опередить себя. Громко и непрерывно природа взывает к силе человека: без силы человека нет жизни в природе.

Мгновения дороги. А еще есть люди, которые спорят между собою о своей силе, о дневных заботах, как спорили византийские царедворцы во время нашествия варваров! Они собирают свои скудельные сосуды, любуются ими, ценят и торгуют, — но уже у ворот неистовый враг: уже колеблются утлые здания древней науки; уже грозит им палящий огонь, и скоро тучи холодного праха взвьются над ее чертогами. Ниспадут они, — ничтожество поглотит все, чем гордилось могущество человека..."

Вот какие мечты тревожили друзей моих. — Эта иеремиада²³ продолжается довольно долго; не бойтесь, я не буду читать ее всю, но постараюсь передать вам иное вполне, иное экстрактом — только то, что нужно, дабы объяснить точку зрения моих духоиспытателей.

Фауст читал:

"Между тем восставали перед нами видения прошедшего, рядами проходили мимо нас святые мужи, заклавшие жизнь свою на алтаре бескорыстного знания, мужи, которых высокие мысли, как блистательные кометы, разнеслись по всем сферам природы и хоть на мгновение озарили их ярким светом. Неужели труды, бдения, жизнь этих мужей были пустою насмешкою судьбы над человечеством? Сохранились предания: когда человек был в самом деле царем природы; когда каждая тварь слушалась его голоса, потому что он умел назвать ее; когда все силы природы, как покорные рабы, пресмыкались у ног человека; неужели в самом деле человечество совратилось с истинного пути своего и быстро, своевольно стремится к своей гибели?"

Знаете ли, к чему, наконец, этот долгий путь привел моих мечтателей? Выведенные из терпения этой громадой загадок, которые являются человеку при развитии всякой мысли, они наконец спросили:

"В самом ли деле мы понимаем друг друга? Мысль не тускнеет ли, проходя сквозь выражение? То ли мы произносим, что мыслим? Слух не обманывает ли нас? То ли мы слышим, что произносит язык? Мысли высоких умов не подвергаются ли тому же оптическому обману, который безобразит для нас отдаленные предметы?"

Простолюдин понимает своего собрата, но не слова светского человека; светские люди понимают друг друга и не понимают ученого; и между учеными некоторым удавалось писать целые книги с твердою уверенностью, что их поймут только два или три человека во всем мире. Соедините же оба конца этой цепи, поставьте простолюдина перед выражением мысли мудрейшего из смертных: тот же язык, те же слова, — а низший обвинит высшего в безумии! И после этого мы еще верим нашим выражениям, мы не боимся предавать им своих мыслей? И мы осмеливаемся думать, что смешение языков прекратилось?"

Один из наблюдателей природы пошел еще далее: он возбудил сомнение еще более горестное для самолюбия человеческого; рассматривая психологическую историю людей, которых обыкновенно называют сумасшедшими, он утверждал, что нельзя провести верной, определенной черты между здоровою и безумною мыслию. Он утверждал, что на всякую, самую безумную мысль, взятую из дома сумасшедших, можно отыскать равносильную, ежедневно обращающуюся в свете. Он спрашивал, какое различие между уверенностью одной женщины, что в груди ее был целый город с башнями, колокольным звоном и теологическими диспутами, и мыслию Томаса Виллиса²⁴, автора известной книги о

²³ Иеремиада — жалоба, сетование (от библейского плача пророка Иереми по поводу разрушения Иерусалима).

²⁴ Виллис Томас (1621–1675) — английский анатом и врач, профессор естественной философии в Оксфорде,

сумасшедших, что жизненные духи, находясь в непрерывном движении и сильно притекая к мозгу, производят в нем взрывы, подобно пороху? Какое различие между понятием одного сумасшедшего, что когда он движется, движутся все предметы вокруг его, и доказательствами Птолемея, что вся солнечная система обращается вокруг земли? Какое различие между бедною девушкой, которая почитала себя приговоренною к смертной казни, и мыслию Мальтуса, что голод должен, наконец, погубить всех жителей земного шара?

Состояние сумасшедшего не имеет ли сходства с состоянием поэта, всякого гения-изобретателя?

В самом деле, что замечаем мы в сумасшедших?

В них все понятия, все чувства собираются в один фокус; у них частная сила одной какой-нибудь мысли втягивает в себя все сродственное этой мысли из всего мира, получает способность, так сказать, отрывать части от предметов, тесно соединенных между собою для здорового человека, и сосредоточивать их в какой-то символ. Мы говорим — понятия сумасшедших нелепы: но никакой здоровый человек не в состоянии собрать в один пункт столько многообразных идей о предмете. И это явление, нельзя не сознаться, весьма подобно тому мгновению, в которое человек делает какое-либо открытие, потому что для всякого открытия нужно пожертвовать тысячами понятий, общепринятых и кажущихся справедливыми: оттого не было почти ни одной новой мысли, которая бы в минуту своего появления не казалась бреднями; нет ни одного необыкновенного происшествия, которое бы в первый момент не возбуждало сомнения; нет ни одного великого человека, который бы в час зарождения в нем нового открытия, когда еще мысли не развернулись и не оправдались осязаемыми последствиями, не казался сумасшедшим. Разве не почитали сумасшедшим Колумба²⁵, когда он говорил о четвертой части света, — Гарвея²⁶, когда он утверждал обращение крови, — Франклина²⁷, когда он брался управлять громом и молнией, — Фультона²⁸, когда он каплею горячей воды решался противустать грозным силам природы? И, что всего замечательнее, состояние гения в минуты его открытий действительно подобно состоянию сумасшедшего, по крайней мере для окружающих: он также поражен одною своею мыслию, не хочет слышать о другой, везде и во всем ее видит, все на свете готов принести ей в жертву. Мы называем человека сумасшедшим, когда видим, что он находит такие соотношения между предметами, которые нам кажутся невозможными; но всякое изобретение, всякая новая мысль не есть ли усмотрение соотношений между предметами, не замечаемых другими или даже непонятных? Так нет ли нити, проходящей сквозь все действия души человека и соединяющей обыкновенный здравый смысл с расстройством понятий, замечаемым в сумасшедших? На этой лестнице не ближе ли находится восторженное состояние поэта, изобретателя, не ближе ли к тому, что называют безумием, нежели безумие к обыкновенной животной глупости? То, чему дают имя здравого смысла, не

автор книги "Affectionum quae dicuntur hystericae et hypochondriacae pathologia spasmodica vindicate, contra responsionem epistolarem N. Highmori" ("Освобождающая от спазм патология аффектов, которые называются истерическими или ипохондрическими, против эпистолярного ответа Гаймора, — лат.) (1660).

²⁵ Эти и последующие слова о "великих безумцах" отражают любимые идеи Одоевского и находятся в непосредственной связи с задуманной Одоевским и так и не написанной книгой "Дом сумасшедших". Введением к этой книге должна была послужить статья "Кто сумасшедшие", сохранившаяся в рукописи. Рассуждение о "великих безумцах" представляет собой текст статьи в слегка переделанном виде.

²⁶ Гарвей Уильям (1578–1657) — английский ученый, врач, открывший кровообращение.

²⁷ Франклин Бенджамин (1706–1790) — американский политический деятель и ученый. В истории науки известен прежде всего исследованиями атмосферного электричества.

²⁸ Фультон Роберт (1765–1815) — американский изобретатель. В 1807 г. построил первый в мире колесный пароход.

есть ли слово в высшей степени эластическое, которое употребляет и простолюдин против великого человека, ему непонятного, употребляет и гений, чтоб прикрыть свои умствования и не испугать ими простолюдина? Словом, то, что мы часто называем безумием, экстагическим состоянием, бредом, не есть ли иногда высшая степень умственного человеческого инстинкта, степень столь высокая, что она делается совершенно непонятною, неуловимою для обыкновенного наблюдения? Для того, чтоб обнять его, не должно ли находиться на той же степени, точно так же, как для того, чтобы понять человека, не надобно ли быть человеком?

Но, говорят, сумасшествие есть болезнь: раздражится нерв, расстроится орган — и душа не действует! Так толкуют медики. "Неужели вы думаете, спрашивают они, — что душа возвышается, когда действует через болезненный орган; что человек лучше видит, когда его зрение воспалено; что он лучше слышит, когда ухо его поражено страданием?". — Не знаю; но в летописях медицины мы встречаем людей, которых раздраженное состояние зрения или слуха давало возможность видеть там, где другие не видели, видеть в темноте, слышать незаметный, несуществующий для других шорох, угадывать происшествия, отдаленные на неизмеримое пространство. Если то же и с мозгом?.. Расширение нерва, протянутого от мозга к орудиям чувств, разве не может стеснять той или другой части мозга? А спросите у френологов, какое следствие может произвести стеснение того или другого органа!"

Такие наблюдения — справедливые или нет, не знаю — породили в моих молодых философах непреодолимое желание исследовать некоторых людей, которые, живя между другими, в большей мере пользуются названием великих, или названием сумасшедших, и в этих людях поискать разрешения тех задач, которые до сих пор укрывались от людей с здравым смыслом. В этом намерении они пустились путешествовать по свету.

Не знаю, сколько времени длилось их путешествие, и не знаю, чем кончилось. От друзей моих, сверх прочитанной мною вскользь тетрадки, остались еще некоторые отрывки из записок, ими веденных; вот они:

Дела равно минувших дней²⁹,
Преданья старины глубокой!

Эти записки носят на себе печать быстрой, отрывочной работы. Моим друзьям, кажется, недостало времени ни дать своей рукописи более оконченную, более однообразную форму, ни выровнять слога в ней; в беспорядке соединены их собственные наблюдения, путевые заметки, письма, к ним писанные, разные необделанные материалы, к ним доставленные, — все это собрано вместе, наудачу, и в этом виде рукопись досталась мне после смерти друзей моих; здесь многое не дописано, многое переписано и многое потерялось; но, может быть, эта рукопись будет для вас не без занимательности, по крайней мере, как представительница одной из тех эпох в истории деятельности человеческой, чрез которую каждый проходит, но каждый своею дорогою.

Но уже утро, господа. Посмотрите, какие роскошные, багряные полосы разрослись от не восшедшего еще солнца; посмотрите, как дым с белых кровлей клонится к земле, с каким трудом стелется по морозному воздуху, — а там... там, в недостижимой глубине неба — и свет, и тепло, будто жилище души, — и душа невольно тянется к этому символу вечного света...

НОЧЬ ТРЕТЬЯ

²⁹ Стихи из поэмы Пушкина "Руслан и Людмила" (песнь I).

(Рукопись)

— Кажется, друзья мои, — сказал Фауст, — имели намерение очень аккуратно вести свои записи и, как люди дельные, подобно естествоиспытателям, вносить в них все малейшие подробности с той минуты, как начался их опыт. Вот толстая книжка, в которой первые страницы написаны очень чистенько, видно, в спокойном духе, а следующие затем еще чище — они остались белыми. Написанные страницы носят в книжке моих изыскателей следующее название:

*Opere del Cavaliere Giambattista Piranesi*³⁰

Пред отъездом мы пошли проститься с одним из наших родственников, человеком пожилым, степенным, всеми уважаемым; у него во всю его жизнь была только одна страсть, про которую покойница жена рассказывала таким образом: "Вот, примером сказать, Алексей Степаныч, уж чем не человек, и добрый муж, и добрый отец, и хозяин — все бы хорошо, если б не его несчастная слабость...".

Тут тетушка останавливалась. Незнакомый часто спрашивал: "Да что, уж не запоем ли, матушка?" — и готовился предложить лекарство; но вышло на деле, что эта слабость — была лишь библиомания. Правда, эта страсть в дяде была очень сильна; но она была, кажется, единственное окошко, чрез которое душа его заглядывала в мир поэтическим; во всем прочем старик был — дядя как дядя, курил, играл в вист по целым дням и с наслаждением предавался северному равнодушию. Но лишь доходило дело до книг, старик перерождался. Узнав о цели нашего путешествия, он улыбнулся и сказал: "Молодость! молодость! Романтизм да и только! Что бы обернуться вокруг себя? уверяю вас, не езда далеко, вы бы нашли довольно материалов".

— Мы не прочь от этого, — отвечал один из нас, — когда нам удастся посмотреть на других, тогда, может быть, мы доберемся и до себя; но начать с чужих, кажется, учтивее и скромнее. Сверх того, те люди, которых мы имеем в виду, принадлежат всем народам вместе, многие из наших или живы, или еще не совсем умерли: чего доброго — еще их родные обидятся... Не подражать же нам тем господам, которые заживо пекутся о прославлении себя и друзей своих, в твердой уверенности, что по их смерти никто о том не позаботится. — "Правда, правда! — отвечал старик. — Уж эти родные! От них, во-первых, ничего не добьешься, а во-вторых, для них замечательный человек не иное что, как дядя, двоюродный братец, и прочее тому подобное. Ступайте, молодые люди, померьте землю: это здорово для души и для тела. Я сам в молодости ездил за море отыскивать редкие книги, которые здесь можно купить в половину дешевле. Кстати о библиографии. Не подумайте, чтоб она состояла из одних реестров книг и из переплетов; она доставляет иногда совсем неожиданные наслаждения. Хотите ли, я вам расскажу мою встречу с одним человеком в вашем роде? Посмотрите, не попадет ли он в первую главу вашего путешествия!"

Мы изъявили готовность, которую рекомендуем нашим читателям, и старик продолжал: "Вы, может быть, видали карикатуру, которой сцена в Неаполе. На открытом воздухе, под изодранным навесом, книжная лавочка; кучи старых книг, старых гравюр; наверху Мадонна; вдали Везувий; перед лавочкой капуцин и молодой человек в большой соломенной шляпе, у которого маленький лазарони искусно вытягивает из кармана платок. Не знаю, как подсмотрел эту сцену проклятый живописец, но только этот молодой человек — я; я узнаю мой кафтан и мою соломенную шляпу; у меня в этот день украли платок, и даже на лице моем должно было существовать то же глупое выражение. Дело в том, что тогда денег у меня было немного и их далеко не доставало для удовлетворения моей страсти к старым книгам. К тому же я, как все библиофилы, был скуп до чрезвычайности. Это обстоятельство заставляло меня избегать публичных аукционов, где, как в карточной игре, пылкий библиофил может в пух разориться; но зато я со всеусердием посещал маленькую

³⁰ Труды кавалера Джамбаттисты Пиранези (итал.)

лавочку, в которой издерживал немного, но которую зато имел удовольствие перерывать всю от начала до конца. Вы, может быть, не испытывали восторгов библиомании: это одна из самых сильных страстей, когда вы дадите ей волю; и я совершенно понимаю того немецкого пастора, которого библиомания довела до смертоубийства. Я еще недавно, — хотя старость умерщвляет все страсти, даже библиоманию, — готов был убить одного моего приятеля, который прехладнокровно, как будто в библиотеке для чтения, разрезал у меня в эльзевире³¹ единственный листок, служивший доказательством, что в этом экземпляре полные поля, {Известно, что для библиоманов ширина полей играет важную роль. Есть даже особенный инструмент для измерения их, и несколько линий больше или меньше часто увеличивают или уменьшают цену книги на целую половину.} а он, вандал, еще стал удивляться моей досаде. До сих пор я не перестаю посещать меня, знаю наизусть все их поверья, предрассудки и уловки, и до сих пор эти минуты считаю если не самыми счастливыми, то по крайней мере приятнейшими в моей жизни. Вы входите: тотчас радушный хозяин снимает шляпу — и со всею купеческою щедростию предлагает вам и романы Жанлис³², и прошлогодние альманахи, и "Скотский лечебник". Но вам стоит только произнести одно слово, и оно тотчас укротит его докучливый энтузиазм; спросите только: "где медицинские книги?" — и хозяин наденет шляпу, покажет вам запыленный угол, наполненный книгами в пергаментных переплетах, и спокойно усядется дочитывать академические ведомости прошедшего месяца. Здесь нужно заметить для вас, молодых людей, что еще во многих наших книжных лавочках всякая книга, в пергаментном переплете и с латинским заглавием, имеет право называться медицинской; и потому можете судить сами, какое в них раздолье для библиографа: между "Наукою о бабичьем деле, на пять частей разделенной и рисунками снабженной, Нестора Максимовича Амбодика"³³ и "Bonati Thesaurus medico-practicus undique collectus" {"Полный медико-практический словарь Бонатуса"³⁴ (лат.)} вам попадается маленькая книжонка, изорванная, замаранная, запыленная; смотрите, это "Advis fidel aux veritables Hollandais touchant ce qui s'est passe dans les villages de Bodegrave et Swammerdam", {"Верные сведения о настоящих голландцах, касающиеся происшедшего в деревнях Бодеграве и Сваммердам" (франц.)} 1673, — как занимательно! Но это никак эльзевир! эльзевир! имя, приводящее в сладкий трепет всю нервную систему библиофила. Вы сваливаете несколько пожелтевших "Hortus sanitatis", "Jardin de devotion", "Les Fleurs de bien dire, recueillies aux cabinets des plus rares esprits pour exprimer les passions amoureuses de l'un et de l'autre sexe par forme de dictionnaire", {"Сад здоровья" (лат.), "Сад благоговения", "Цветы красноречия, собрание из кабинетов редчайших умов для выражения любовных страстей одного и другого пола, в форме словаря" (франц.)} — и вам попадается латинская

³¹ Эльзевир — имя голландских книжных издателей, занимавших видное место в книжном деле XVII в. Фирма Эльзевиров (1592–1712) оставила такой глубокий след в издательском деле, что имя владельцев фирмы сделалось нарицательным: эльзевирами стали называть изданные фирмой книги, созданный ею рисунок шрифта, самый формат издания и т. д.

³² Жанлис Стефания Фелисите (1746–1830) — французская писательница, автор романов из жизни светского общества и на исторические темы. Сентиментальные и поучительные романы эти были очень популярны в России в начале XIX в.

³³ Амбодик (наст. имя: Максимович Нестор Максимович) (1744–1812) профессор акушерства в петербургских госпиталях, автор многих оригинальных сочинений на медицинские темы и переводов. Среди его книг особой популярностью пользовалась "Искусство повивания, или Наука о бабичьем деле и т. д., на пять частей разделенная и многими рисунками снабженная" (СПб., 1784–1786). Издания Амбодика ценились, помимо прочего, и за художественность оформления.

³⁴ Название книги приведено явно неточно. Скорее всего здесь имеется в виду медицинская книга справочного характера, вышедшая в трех томах в 1691 г. в Женеве: Bonetus Theophilus. Polyathes, sive Thesaurus medicopracticus. (Бонетус Теофилус. Полиат, или медицинский практический словарь, — лат.).

книжка без переплета и без начала; разворачиваете: как будто похожа на *Виргилия*, — но что слово, то ошибка! ... Неужели в самом деле? не мечта ли обманывает вас? неужели это знаменитое издание 1514 года: "*Virgilius, ex recensione Naugerii*"? {*Виргилий*, изданный *Наугерием* (лат.).} И вы не достойны назваться библиофилом, если у вас сердце не выпрыгнет от радости, когда, дошедши до конца, вы увидите четыре полные страницы опечаток, верный признак, что это именно то самое редкое, драгоценное издание *Альдов*³⁵, перло книгохранилищ, которого большую часть экземпляров истребил сам издатель, в досаде на опечатки.

В Неаполе я мало находил случаев для удовлетворения своей страсти, и потому можете себе представить, с каким изумлением, проходя по *Piazza Nova*, {*Новая площадь* (итал.).} увидел груды пергаменов; эту-то минуту библиоманического оцепенения и поймал мой незванный портретист... Как бы то ни было, я со всею хитростью библиофила равнодушно приблизился к лавочке и, перебирая со скрытым нетерпением старые молитвенники, сначала не заметил, что в другом углу к большому фолианту подошла фигура в старинном французском кафтане, в напудренном парике, под которым болтался пучок, тщательно свитый. Не знаю, что заставило нас обоих обернуться, — в этой фигуре я узнал чудака, который всегда в одинаковом костюме с важностию прохаживался по Неаполю и при каждой встрече, особенно с дамами, с улыбкою приподнимал свою изношенную шляпу корабликом. Давно уже видал я этого оригинала и весьма был рад случаю свести с ним знакомство. Я посмотрел на развернутую перед ним книгу: это было собрание каких-то плохо перепечатанных архитектурных гравюр. Оригинал рассматривал их с большим вниманием, мерил пальцами намалеванные колонны, приставлял ко лбу перст и погружался в глубокое размышление. "Он, видно, архитектор, — подумал я, — чтоб полюбитья ему, притворюсь любителем архитектуры". При этих словах глаза мои обратились на собрание огромных фолиантов, на которых выставлено было: "*Opere del Cavaliere Giambattista Piranesi*". "Прекрасно!" — подумал я, взял один том, развернул его; но бывшие в нем проекты колоссальных зданий, из которых для построения каждого надобно бы миллионы людей, миллионы червонцев и столетия, — эти иссеченные скалы, взнесенные на вершины гор, эти реки, обращенные в фонтаны, — все это так привлекло меня, что я на минуту забыл о моем чудеке. Более всего поразил меня один том, почти с начала до конца наполненный изображениями темниц разного рода; бесконечные своды, бездонные пещеры, замки, цепи, поросшие травой стены — и, для украшения, всевозможные казни и пытки, которые когда-либо изобретало преступное воображение человека... Холод пробежал по моим жилам, и я невольно закрыл книгу. Между тем, заметив, что оригинал нисколько не удостоивает внимания зодческий энтузиазм мой, я решился обратиться к нему с вопросом: "Вы, конечно, охотник до архитектуры?" — сказал я. — "До архитектуры? — повторил он, как бы ужаснувшись. — Да, — промолвил он, взглянув с улыбкой презрения на мой изношенный кафтан, — я большой до нее охотник!" — и замолчал. — "Только-то? — подумал я. — Этого мало". — "В таком случае, — сказал я, снова раскрывая один из томов *Пиранези*, — посмотрите лучше на эти прекрасные фантазии, а не на лубочные картинки, которые лежат перед вами". — Он подошел ко мне нехотя, с видом человека, досадующего, что ему мешают заниматься делом, но едва взглянул на раскрытую передо мною книгу, как с ужасом отскочил от меня, замахал руками и закричал: "Бога ради, закройте, закройте эту негодную, эту ужасную книгу!". Это мне показалось довольно любопытно. "Я не могу надивиться вашему отвращению от такого превосходного произведения; мне оно так нравится, что я сей же час куплю его", — и с сими словами я вынул кошелек с деньгами. — "Деньги! — проговорил мой чудак этим звучным шопотом, о котором мне недавно напомнил

³⁵ Альды — фамилия итальянских книгопечатников XV–XVI вв., издававших греческих и римских классиков и очень дороживших точностью издания. Для редактирования книг основатель фирмы Альд Пий Мануций привлек до 30 ученых-филологов, образовавших (ок. 1500 г.) так называемую Новую академию Альда.

несравненный Каратыгин³⁶ в "Жизни игрока"³⁷. — У вас есть деньги!" — повторил он и затрясся всем телом. Признаюсь, это восклицание архитектора несколько расхолодило мое желание войти с ним в тесную дружбу; но любопытство превозмогло. — "Разве вы нуждаетесь в деньгах?" — спросил я.

— Я? очень нуждаюсь! — проговорил архитектор. — И очень, очень давно нуждаюсь, — прибавил он, ударяя на каждое слово.

— А много ли вам надобно? — спросил я с чувством. — Может, я и могу помочь вам.

— На первый случай мне нужно безделицу — сущую безделицу, десять миллионов червонцев.

— На что же так много? — спросил я с удивлением.

— Чтоб соединить сводом Этну с Везувием, для триумфальных ворот, которыми начинается парк проектированного мною замка, — отвечал он, как будто ни в чем не бывало.

Я едва мог удержаться от смеха. — Отчего же, — возразил я, — вы, человек с такими колоссальными идеями, — вы приняли с отвращением произведения зодчего, который по своим идеям хоть несколько приближается к вам?

— Приближается? — воскликнул незнакомец. — Приближается! Да что вы ко мне пристаёте с этой проклятою книгою, когда я сам сочинитель ее?

— Нет, это уж слишком! — отвечал я. — С этими словами взял я лежавший возле "Исторический словарь" и показал ему страницу, на которой было написано: "Жиамбатиста Пиранезе, знаменитый архитектор... умер в 1778...".

— Это вздор! это ложь! — закричал мой архитектор. — Ах, я был бы счастлив, если бы это была правда! Но я живу, к несчастью моему живу, — и эта проклятая книга мешает мне умереть.

Любопытство мое час от часу возрастало. — Объясните мне эту странность, — сказал я ему, — поверьте мне свое горе: повторяю, что я, может быть, и могу помочь вам.

Лицо старика прояснилось: он взял меня за руку. — "Здесь не место говорить об этом; нас могут подслушать люди, которые в состоянии повредить мне. О! я знаю людей... Пойдемте со мною; я дорогой расскажу вам мою страшную историю". — Мы вышли.

— Так, сударь, — продолжал старик, — вы видите во мне знаменитого и злополучного Пиранези. Я родился человеком с талантом... что я говорю? теперь записаться уже поздно, — я родился с гением необыкновенным. Страсть к зодчеству развилась во мне с младенчества, и великий Микель-Анджело, поставивший Пантеон на так называемую огромную церковь Св. Петра в Риме³⁸, в старости был моим учителем. Он восхищался моими планами и проектами зданий, и когда мне исполнилось двадцать лет, великий мастер отпустил меня от себя, сказав: "если ты останешься долее у меня, то будешь только моим подражателем; ступай, прокладывая себе новый путь, и ты увековечишь свое имя без моих стараний". Я повиновался, и с этой минуты начались мои несчастья. Деньги становились редки. Я нигде не мог найти работы; тщетно представлял я мои проекты и римскому императору, и королю французскому, и папам, и кардиналам: все меня выслушивали, все

³⁶ Каратыгин Василий Андреевич (1802–1853) — знаменитый русский трагик. Одоевский высоко ценил Каратыгина и писал о нем в 1834 г. А. И. Верстовскому: "Я с ним хорошо знаком и уважаю его не только как славного артиста, но и как человека с умом и огнем" (Одоевский В. Ф. Музыкально-литературное наследие. М., 1956, с. 496).

³⁷ "Жизнь игрока" — мелодрама французского драматурга Виктора Дюканжа (1783–1833); ее постановка явилась важным событием и ознаменовала собой торжество романтизма на русской сцене. В первом представлении, которое состоялось в Петербурге 3 мая 1828 г., так же как и в последующих постановках, роль Игрока исполнял В. А. Каратыгин.

³⁸ Имеется в виду памятник-пантеон папе Юлию II, который Микеланджело по заданию папы, но много лет спустя после его смерти, воздвиг в январе 1545 г. — не в "огромной церкви Св. Петра", а в церкви Сан Пьетро-ин-Винколи.

восхищались, все одобряли меня, ибо страсть к искусству, возженная покровителем Микель-Анджело, еще тлелась в Европе. Меня берегли как человека, владеющего силою приковывать неславные имена к славным памятникам; но когда доходило дело до постройки, тогда начинали откладывать год за годом: "вот поправятся финансы, вот корабли принесут заморское золото" — тщетно! Я употреблял все происки, все ласкательства, недостойные гения, — тщетно! я сам пугался, видя, до какого унижения доходила высокая душа моя, — тщетно! тщетно! Время проходило, начатые здания оканчивались, соперники мои снискивали бессмертие, а я скитался от двора к двору, от передней к передней, с моим портфелем, который напрасно час от часу более и более наполнялся прекрасными и неисполнимыми проектами. Рассказать ли вам, что я чувствовал, входя в богатые чертоги с новою надеждою в сердце и выходя с новым отчаянием? — Книга моих темниц содержит в себе изображение сотой доли того, что происходило в душе моей. В этих вертепах страдал мой гений; эти цепи глодал я, забытый неблагодарным человечеством... Адское наслаждение было мне изобретать терзания, зарождавшиеся в озлобленном сердце, обращать страдания духа в страдание тела, — но это было мое единственное наслаждение, единственный отдых.

Чувствуя приближение старости и помышляя о том, что если бы кто и захотел поручить мне какую-либо постройку, то недостало бы жизни моей на ее окончание, я решился напечатать свои проекты, на стыд моим современникам и чтобы показать потомству, какого человека они не умели ценить. С усердием принялся я за эту работу, гравировал день и ночь, и проекты мои расходились по свету, возбуждая то смех, то удивление. Но со мною сталось совсем другое. Слушайте и удивляйтесь... Я узнал теперь горьким опытом, что в каждом произведении, выходящем из головы художника, зарождается дух-мучитель; каждое здание, каждая картина, каждая черта, невзначай проведенная по холсту или бумаге, служит жилищем такому духу. Эти духи свойства злого: они любят жить, любят множиться и терзать своего творца за тесное жилище. Едва почуяли они, что жилище их должно ограничиться одними гравированными картинами, как вознегодовали на меня... Я уже был на смертной постели, как вдруг... Слыхали ль вы о человеке, которого называют вечным жидом?³⁹ Все, что рассказывают о нем, — ложь: этот злополучный перед вами... Едва я стал смыкать глаза вечным сном, как меня окружили призраки в образе дворцов, палат, домов, замков, сводов, колонн. Все они вместе давили меня своею громадою и с ужасным хохотом просили у меня жизни. С той минуты я не знаю покоя; духи, мною порожденные, преследуют меня: там огромный свод обхватывает меня в свои объятия, здесь башни гонятся за мною, шагая верстами; здесь окно дребезжит передо мною своими огромными рамами. Иногда заключают они меня в мои собственные темницы, опускают в бездонные колодцы, куют меня в собственные мои цепи, дождят на меня холодною плесенью с полуразрушенных сводов, заставляют меня переносить все пытки, мною изобретенные, с костра сбрасывают на дыбу, с дыбы на вертел, каждый нерв подвергают нежданному страданию, — и между тем, жестокие, прядают, хохочут вокруг меня, не дают умереть мне, допытываются, зачем осудил я их на жизнь неполную и на вечное терзание, — и наконец, изможденного, ослабевшего, снова выталкивают на землю. Тщетно я перехожу из страны в страну, тщетно высматриваю, не подломилось ли где великолепное здание, на смех мне построенное моими соперниками. Часто в Риме ночью я приближаюсь к стенам, построенным этим счастливец Микелем, и слабою рукою ударяю в этот проклятый купол, который и не думает шевелиться, — или в Пизе вешаюсь обеими руками на эту негодную башню, которая, в продолжение семи веков, нагибается на землю и не хочет до нее дотянуться. Я уже пробежал всю Европу, Азию, Африку, переплыл море: везде я ищу разрушенных зданий, которые мог бы воссоздать моею творческою силою; рукоплескав) бурям, землетрясениям. Рожденный с обнаженным сердцем поэта, я перечувствовал все, чем страдают несчастные, лишенные обиталища, пораженные

³⁹ Вечный жид — вечный скиталец. Выражение возникло на основании легенды о еврее Агасфере, обреченном на вечную жизнь и скитания в наказание за то, что он отказался предоставить отдых Иисусу Христу, идущему на Голгофу. Легенде сложилась в эпоху крестовых походов.

ужасами природы; я плачу с несчастными, но не могу не трепетать от радости при виде разрушения... И все тщетно! час создания не наступил еще для меня — или уже прошел: многое разрушается вокруг меня, но многое еще живет и мешает жить моим мыслям. Знаю, до тех пор не сомкнутся мои ослабевшие вежды, пока не найдется мой спаситель и все колоссальные мои замыслы будут не на одной бумаге. Но где он? где найти его? Если и найду, то уже проекты мои устарели, многое в них опережено веком, — а нет сил обновить их! Иногда я обманываю моих мучителей, уверяя, что занимаюсь приведением в исполнение какого-либо из проектов моих; и тогда они на минуту оставляют меня в покое. В таком положении был я, когда встретился с вами; но пришло же вам в голову открыть передо мною мою проклятую книгу: вы не видали, но я... я видел ясно, как одна из пиластр храма, построенного в середине Средиземного моря, закивала на меня своей косматой головою... Теперь вы знаете мое несчастье: помогите же мне, по обещанию вашему. Только десять миллионов червонцев, умоляю вас! — И с сими словами несчастный упал предо мною на колени.

С удивлением и жалостию смотрел я на бедняка, вынул червонец и сказал: "вот все, что могу я дать вам теперь".

Старик уныло посмотрел на меня. — Я это предвидел, — отвечал он, — но хорошо и это: я приложу эти деньги к той сумме, которую собираю для покупки Монблана, чтоб срыть его до основания; иначе он будет отнимать вид у моего увеселительного замка. — С сими словами старик поспешно удалился...".

* * *

— Здесь оканчиваются чисто написанные страницы, — сказал Фауст, продолжение неизвестно; завтра я постараюсь привести в порядок связку писем и бумаг, которые показались мне более любопытными.

— Мне кажется, — заметил Виктор, — что у твоих искателей приключений большая претензия на оригинальность...

— Это одна из причуд века, — примолвил Вечеслав.

— И оттого, — возразил Виктор, — теперь нет ничего пошлее, как быть оригинальным. Какое внимание, какое участие может возбудить чужак, который хочет возвратить время прошедшее и давнопрошедшее, когда сокровища и труды погибали для удовлетворения ребяческого тщеславия, на постройку бесполезных зданий... теперь нет на это денег, и по самой простой причине — они употреблены на железные дороги.

— Так по твоему мнению, — отвечал Фауст, — египетские пирамиды, страсбургская колокольня, кельнский собор, флорентийский крещатик — все это произведение одного ребяческого тщеславия; твое утверждение, правда, не противоречит многим историкам нашего века, но, кажется, они, тщательно собирая так называемые факты, забыли два довольно важные: первое, что названия, которые мы даем человеческим страстям, никогда не выражают их вполне, а лишь приблизительно, что вошло в привычку человечества, кажется, со времени вавилонского смешения языков; и второе, что под всяким ощущением скрывается другое, более глубокое и, может быть, более бескорыстное, под другим третье, еще более бескорыстное, и так до самого тайника души человеческой, где нет места для внешних, грубых страстей, ибо там нет ни времени, ни пространства. Человеку, более или менее огрубелому, его собственное, внутреннее, чистое чувство представляется в виде внешней страсти, тщеславия, гордости и проч.; он думает, что удовлетворяет этой страсти, а в самом деле повинуетя лишь сему внутреннему, для него самого непонятному чувству. Символ такого претворения страстей я вижу в комете; комета никогда не следует своему нормальному пути: она беспрестанно уклоняется от него, притягиваемая то тем, то другим небесным телом, и оттого прежние астрономы, не принимавшие в расчет сих пертурбаций, ошибались в своих предсказаниях; но, несмотря на то что эллиптический или

параболический путь кометы принимает вид других кривых линий, ее первоначальный путь остается неизменным и все-таки влечет ее к солнцу какой-либо планетной системы.

Виктор. Согласен, что такой оптический обман действительно существует для человека, — но все я не вижу причины обращаться на тот путь, который уже пройден, и вместе с Пиранези плакать о том, что ужю прошло то время, когда деньги тратились на постройку гигантских и все-таки бесполезных зданий...

Фауст. Мне кажется, что в Пиранези плачет человеческое чувство о том, что оно потеряло, о том, что, может быть, составляло разгадку всех его внешних действий, что составляло украшение жизни, — о бесполезном...

Виктор. Признаюсь, если б страбургскую колокольню вытянуть еще подлиннее — в рельсы железной дороги, то она для меня была бы еще лучшим украшением жизни; ибо что ни говори, а железные дороги, сверх своей практической пользы, имеют своего рода поэзию...

Фауст. Без сомнения; потому что человек, как я уже заметил однажды, никак не может отделаться от поэзии; она, как один из необходимых элементов, входит в каждое действие человека, без чего жизнь этого действия была бы невозможна; символ этого психологического закона мы видим в каждом организме; он образуется из углекислоты, водорода и азота; пропорции этих элементов разнятся почти в каждом животном теле, но без одного из этих элементов существование такого тела было бы невозможно; в мире психологическом поэзия есть один из тех элементов, без которых древо жизни должно было бы исчезнуть; оттого даже в каждом промышленном предприятии человека есть quantum⁴⁰ поэзии, как, наоборот, в каждом чисто поэтическом произведении есть quantum вещественной пользы; так напр, нет сомнения, что страбургская колокольня вмешалась невольно в акционерские расчеты и была одним из магнитов, которые притянули железную дорогу к городу.

Виктор. Квит на квит; я предпочитаю пользу с наименьшей пропорцией поэзии...

Фауст. Ты в этом случае похож на человека, который бы захотел застроить целый город домами по одному фасаду: кажется, ничего, а такой город навел бы тоску неодолимую. Да! железные дороги — дело важное и великое. Это одно из орудий, которое дано человеку для победы над природой; глубокий смысл скрыт в этом явлении, которое, по-видимому, разменялось на акции, на дебет и кредит; в этом стремлении уничтожить время и пространство — чувство человеческого достоинства и его превосходства над природою; в этом чувстве, может быть, воспоминание о его прежней силе и о прежней рабе его природе... Но сохрани нас бог сосредоточить все умственные, нравственные и физические силы на одно материальное направление, как бы полезно оно ни было: будут ли то железные дороги, бумажные прядильни, сукновальни или ситцевые фабрики. Односторонность есть яд нынешних обществ и тайная причина всех жалоб, смут и недоумений; когда одна ветвь живет на счет целого дерева — дерево иссыхает.

Ростислав. Однако знаешь, что сказал Гегель, человек, которого ты уважаешь? "Боязливая заботливость о том, чтоб не быть односторонним, очень часто обнаруживает слабость, способную только к поверхностной многосторонности..."

Фауст. Несмотря на все мое уважение к Гегелю, я не могу не сознаться, что от темноты ли человеческого языка, от нашей ли неспособности вникать в таинственную связь умозаключений знаменитого германского мыслителя, но в его сочинениях встречаются часто на одной и той же странице места, которые, по-видимому, находятся в совершенном противоречии. Так в том же сочинении, {* Университ речь 1837 года⁴¹. См. перев в

⁴⁰ некоторое количество, доля (лат.)

⁴¹ Университ речь 1837 года. — Здесь явная ошибка. Цитата приведена из гимназической речи, произнесенной Гегелем 29 сентября 1809 г. на публичном акте в Нюрнбергской гимназии; в России была напечатана в переводе М. Бакунина (Московский наблюдатель, 1838, март, с. 5–38; цитируемый Одоевским

"Московс. наблюд" 1838, N 1. Эта речь тем замечательнее, что ее можно принять за последнюю форму гегелевых положений.} перед теми строками, которые ты привел, Гегель говорит: "Только то можно назвать последовательным целым, что, углубившись в свое начало, достигает своего совершенства; только тогда оно делается чем-нибудь действительным и приобретает глубину и сильную возможность многосторонности". Если целостность, действительность и многосторонность неразрывно связаны между собою; если условие целостности явления есть углубление в его начало, то из сего следует скорее необходимость общности и многосторонности, нежели важность односторонности. Впрочем, Виктора не убедишь такими авторитетами; я для него сошлюсь на факт положительный. Мишель Шевалье⁴², один из знаменитейших поборников промышленности, упоминает {* См. "Rocherches nonvolles sur l'industrie", par Michel Chevalier, 1843.} с насмешкою о трудности, которая существовала для древних предпринять путешествие из поэтической Спарты в поэтические Афины и обратно, и доказывает неопровержимыми указаниями и цифрами, что когда все усовершенствования в паровых машинах войдут в общее употребление, то путешествие вокруг всего земного шара можно будет совершить... ужас! в течение одиннадцати дней! Но прозорливый ум этого замечательного писателя не мог не остановиться на вопросе: какое будет моральное состояние общества, когда человечество достигнет этой эпохи? Он не отвечает на этот вопрос положительно, но мысли его обращаются к Америке, и вот его наблюдения: в этой стране быстрота сообщений, удобство переноситься из места в место уничтожили все различия в нравах, в образе жизни, в одежде, в устройстве дома и... в понятиях (когда они не касаются личных выгод каждого); оттого для жителя этой страны нет ничего нового, любопытного, нет ничего привлекательного; он везде дома — и, проехав из конца в конец свою отчизну, он встречает лишь то, что он каждый день видел; оттого цель путешествия американца всегда какая-либо личная польза и никогда наслаждение. Кажется, что может быть лучше такого состояния? Но умный Шевалье с похвальной откровенностью признается, что полное следствие такой полезной, удобной и расчетливой жизни — есть тоска неодолимая, невыносимая! — Явление в высшей степени замечательное! Откуда же взялась эта тоска? — Объясните, господа утилитаристы! Не этой ли тоске и происходящей от нее раздражительности должно приписать, между прочим, ныне вошедшие в привычку у американцев ежедневные поединки, которых подробности ужасают даже европейских журналистов? как вы думаете? Вот, господа, следствие односторонности и специальности, которая нынче почитается целию жизни; вот что значит полное погружение в вещественные выгоды и полное забвение других, так называемых бесполезных порывов души.

Человек думал закопать их в землю, законопатить хлопчатой бумагой, залить дегтем и салом, — а они являются к нему в виде привидения: тоски непонятной!

НОЧЬ ЧЕТВЕРТАЯ

На пыльной связке, лежавшей на столе, было написано:

Экономист

Фауст читал:

"Посылаю к вам, мм. гг., отрывки, найденные в бумагах одного молодого человека, недавно умершего, ибо, как кажется, он принадлежал к тем людям, которых вы сделали предметом своих наблюдений.

В жизни этого молодого человека не было ничего особенно замечательного; он родился с положительным, даже сухим умом — с умом, ожидающим действия за причинами; в

отрывок — на с. 27).

⁴² Шевалье Мишель (1806–1879) — французский экономист, поборник зарождавшегося железнодорожного строительства, автор книги об экономической жизни Северной Америки "Lettres sur l'Amerique du Nord" (1836).

разговорах он любил нападать на идеальность, на мечты воображения, на безотчетное чувство — и доказывал, что они одни — вина всех бедствий человечества. Вследствие своих мыслей, он обратил всю деятельность своего ума на науки положительные, вступил на службу по Министерству финансов, читал одних экономистов, от аббата Галияни⁴³ до Сэя⁴⁴, боготворил Мальтуса и беспрестанно покрывал листы бумаги статистическими выкладками.

Скачок от холодных цифр к отрывкам, которые я к вам посылаю, для многих кажется удивительным; не постигают, каким образом такие странные, часто нелепые мечты могли вселиться в голову человека, по-видимому, столь рассудительного, равнодушного, столь далекого от всех порывов воображения.

Чтение этих отрывков и замеченная незадолго пред кончиною глубокая задумчивость в нашем экономисте заставили родных подозревать, что на него находили припадки сумасшествия, тем более что за день до кончины он был совершенно здоров и что скоропостижная смерть прервала жизнь его без всякой видимой причины. Соображая все эти обстоятельства с несколькими недосказанными словами, вырвавшимися у юноши в минуту последних страданий, медики сначала подумали, что несчастный сам лишил себя жизни; но по тщательном осмотре на нем не нашлось никаких признаков ни внутренней, ни наружной раны; при вскрытии трупа не оказалось никаких примет отравления: все части внутренностей его были в совершенном порядке, — и медики принуждены были признаться, что физическая причина смерти несчастного Б. была неизъяснима.

Вопреки мнению медиков и их искривленному битурию⁴⁵, я уверен, что бедного Б. нельзя хоронить в крещеной земле; он точно самоубийца, но он убил свое тело ядом, которого и не подозревали медики, честь открытия которого принадлежит нашему XIX веку, — ядом, который олицетворил в себе все действия баснословной aqua tofana, {вода Тофаны⁴⁶ (лат.)} который, согласно мнению алхимиков, убивает не вдруг, а действует чрез год, два, а иногда и чрез десять. Этому яду еще не приискано точного определенного названия; но это не мешает ему существовать, и доказательство тому — эти отрывки.

Не знаю, ошибаюсь ли я, но для меня эти отрывки объясняют многое. Мне кажется, они показывают, что логический ум несчастного Б., преследуя с жаром свои выкладки, нашел на конце своих силлогизмов нечто такое, что ускользает от цифр и уравнений, чего нельзя передать другим, что понимается одним инстинктом сердца и к чему нельзя отнести знаменитого присловья: что ясно понимается, то ясно и выражается.

Несчастный юноша был испуган своею находкою; она опровергала все расчеты положительного ума его и сама оставалась непонятною; обратившись на пройденную им дорогу, его строгая диалектика видела, что она ошиблась, — но ошибка ускользала от нее, и вся вселенная показалась несчастному опрокинутою, как человеку, который в телескоп, предназначенный для тел небесных, хочет рассмотреть мелкие тела земные. Это зрелище поразило несчастного; в эту минуту отчаяния в нем невольно развернулось чувство, существующее в каждом человеке, — чувство поэзии-утешительницы, и он передал бумаге те муки, которыми страдала душа его. Нет сомнения, что отрывки, им написанные, суть символическая история его собственных страданий; в этом уверяет меня хронологический

⁴³ Аббат Галияни (Гальяни Фердинандо, 1728–1787) — итальянский философ и публицист.

⁴⁴ Сэй Жан Батист (1767–1832) — французский экономист, представитель вульгарной политической экономии.

⁴⁵ Битурий, или бистурий (от франц. bistouri) — хирургический нож.

⁴⁶ Сильно действующий яд неизвестного состава. Назван по имени применявшей его знаменитой сицилийской отравительницы Теофании де Адамо (1659–1709).

порядок, в который я привел их, следуя некоторым приметам, по коим можно было определить, в какую эпоху жизни они были написаны, что согласно и с некоторыми воспоминаниями родственников Б. Он скрывал от всех эти отрывки, как скрывал свои страдания; его положительный ум боялся своих страданий, стыдился их, почитал их минутною слабостию; эта беспрестанная борьба истощала его силы медленно, но верно, хотя никто и не замечал, что под его ледяною наружностью развивался целый мир нестерпимых терзаний.

Я оставил эти отрывки без всяких поправок; я присоединил к ним только несколько дополнений, чтоб объяснить, каким образом они, по моему мнению, связаны один с другим.

Первый отрывок, которому я, чтоб не смешиваться в цифрах, дал название "Бригадира", был, — как показывает самый почерк, — писан юношею вскоре после выхода из школы; он носит на себе печать ума молодого, внезапно встревоженного зрелищем света и в особенности того келейного, задушевного лицемерия, которое под личиною нравственных сентенций подтачивает все нравственные и общественные связи; это еще воспоминание о школьных темах в классе литературы. Но здесь уже видна тайная решительность; юноша не оставит в праздности деятельной души своей. С тех пор Б., как кажется, распростился с поэзиею; по крайней мере с тех пор, в продолжение восьми лет, в его бумагах нет ничего, кроме деловых бумаг, статистических таблиц и экономических выкладок. Видно также, что он в это время занимался физическими науками".

БРИГАДИР

*Жил, жил, и только что в газетах
Осталось: "выехал в Ростов".*

Дмитриев⁴⁷

Недавно случилось мне быть при смертной постели одного из тех людей, в существование которых, как кажется, не вмещивается ни одно созвездие, которые умирают, не оставив по себе ни одной мысли, ни одного чувства. Покойник всегда возбуждал мою зависть: он жил на сем свете больше полувека, и в продолжение сего времени, пока цари и царства возвышались и падали, пока открытия сменяли одно другое и превращали в развалины все то, что прежде называлось законами природы и человечества, пока мысли, порожденные трудами веков, разрастались и увлекали за собою вселенную, — мой покойник на все это не обращал никакого внимания: ел, пил, не делал ни добра, ни зла, не был никем любим и не любил никого, не был ни весел, ни печален; дошел, за выслугу лет, до чина статского советника и отправился на тот свет во всем параде: обритый, вымытый, в мундире.

Неприятно, тягостно это зрелище! В торжественную минуту кончины человека душа невольно ожидает сильного потрясения, а вы холодны; вы ищете слез, а на вас находит насмешливая, едва ли не презрительная улыбка!.. Такое состояние неестественно, ваше внутреннее чувство нагло обмануто, растерзано; а что всего хуже, это зрелище заставляет вас обратиться на зрелище еще более несносное — на самого себя, возбуждает в вас докучливую деятельность, разлучает вас с тем сладким равнодушием, которое в гладкую ледяную кору заключало для вас все подлунное. Прощай, свинцовая дремота! Прежде с сладострастием самоубийцы вы прислушивались к той глухой боли, которая мало-помалу точит организм ваш; а теперь вы боитесь этого верного, неизменного наслаждения; вы начинаете по-прежнему считать минуты, раскаиваться; снова решаетесь на новую борьбу с людьми и с самим собою, на старые, давно уже знакомые вам страдания...

⁴⁷ Слова эпитафии являются неточной цитатой из "Эпитафии" И. И. Дмитриева (1803). Точный текст: "Здесь бригадир лежит, умерший в поздних летах. Вот жребий наш каков! Живи, живи, умри — и только что в газетах осталось: выехал в Ростов".

Так было со мною. Покойника холодно отпели, холодно бросили на него горсть песка, холодно совсем закрыли землею. Нигде ни слезы, ни вздоха, ни слова. Разошлись; я вместе с другими... мне было смешно, грустно, душно; мысли и чувства теснились в душе моей, перебегали от предмета к предмету, мешали размышление с безотчетностию, веру с сомнением, метафизику с эпиграммой; долго волновались они, как волшебные пары над треножником Калиостро⁴⁸, и наконец мало-помалу образовали предо мною образ покойника. И он явился — точь-в-точь как живой: указал мне на свои брюшные полости, вперил в меня глаза, ничего не выражающие. Тщетно хотел я бежать, тщетно закрывал лицо руками; мертвец всюду за мною, смеется, прядает, дразнит мое отвращение и щеголяет предо мною каким-то родственным со мною сходством...

"Ты смотрел холодно на мою кончину!" — сказал мне мертвец, в вдруг лицо его приняло совсем иное выражение: я с удивлением заметил, что во взоре его место бесчувственности заступила глубокая, неистошимаая грусть; черты бессмыслия выразили лишь холодное, обжившееся отчаяние; отсутствие вдохновения превратилось в выражение беспрестанного горького упрека...

"Ты даже с насмешкою, с презрением смотрел на мои последние страдания", — продолжал он уныло.

"Напрасно! ты не понял их: обыкновенно жалеют, плачут об умершем гении, бросившем плодоносную мысль на почву человечества; о художнике, оставившем в звуках и красках все царство души своей; о законодателе, в себе одном заключившем судьбу миллионов; и о ком жалеют? о ком плачут? — о счастливых! Над их смертною постелью витает все прекрасное, ими созданное; им разлуку с миром услаждает их право на гордость, от которого так свежо душе человека; они в последнюю минуту, больше нежели когда-нибудь, вспоминают о делах, ими совершенных; в эту минуту и похвалы, ими слышанные и предполагаемые, и их тяжкие, таинственные страдания, даже самая неблагодарность людей — все сливается для них в громкий благодарственный гимн, который чудною гармониею отдается в их слухе! — А я и мне подобные? Мы в тысячу раз более достойны слез и сожаления! Что могло усладить мою последнюю минуту, что? разве беспмятство, то есть продолжение того же состояния, в котором я находился во всю мою жизнь? Что я оставляю по себе? мое все со мною!⁴⁹ — А если то, что я говорю тебе теперь, пришло мне в голову в мою последнюю минуту; если что-либо шевелилось в душе моей в продолжение моей жизни; если последнее, судорожное потрясение нерв внезапно развернуло во мне жажду любви, самосведения и деятельности, заглушенную во время жизни, — буду ли я тогда достоин сожаления?"

Я содрогнулся и проговорил почти про себя: "Кто же мешал тебе?"

Мертвец не дал мне окончить, горько улыбнулся и взял меня за руку.

"Посмотри на эти китайские тени, — сказал он, — вот это я. Я в доме отца моего. Отец мой занят службою, картами и псовою охотой. Он меня кормит, поит, одевает, бранит, сечет и думает, что меня воспитывает. Матушка моя занята надзором за нравственностию целого околодка, и потому ей некогда присмотреть ни за моею, ни за своею собственною: она меня нежит, лелеет, лакомит потихоньку от отца; для приличия заставляя меня притворяться; для благопристойности говорить не то, что я думаю; быть почтительным к родне; выучивать наизусть слова, которых она не понимает, — и также думает, что она меня воспитывает. В

⁴⁸ Калиостро Александр (наст. имя: Джузеппе Бальзамо) (1743–1795) мистик и шарлатан, называвший себя разными именами, выдававший себя за алхимика, "заклинателя душ", врача и т. д. С 1780 г. несколько лет под именем графа Феликса проживал в Петербурге.

⁴⁹ Имеется в виду латинская пословица, которая стала популярной благодаря Цицерону: "Omnia mea mecum porto".

самом же деле меня воспитывают челядинцы: ⁵⁰ они учат меня всем изобретениям невежества и разврата, и — их уроки я понимаю!..

Вот я с учителем. Он толкует мне то, чего сам не знает. Никогда не думавши о том, что есть у понятий естественный ход, он перескакивает от предмета к предмету, пропуская необходимые связи. Ничего не остается и не может остаться в голове моей. Когда я не понимаю его — он обвиняет меня в упрямстве; когда я спрашиваю о чем — он обвиняет меня в умничанье. Школа мне мука, а ученье не развертывает, а только убивает мои способности.

Мне еще не исполнилось 14 лет, а уж конец ученью! Как я рад! я уж затянут в сержантский мундир; днем хожу в караул и на ученье, а больше езжу по родне и начальникам; ночью завиваю пукли, пудрюсь и танцую до упада. Время бежит, и подумать физически некогда. Батюшка учит меня ходить на поклоны и подличать; матушка показывает мне богатых невест. Когда я осмеливаюсь сделать какое-нибудь возражение — это называют неповиновением родительской власти; когда мне случайно удастся выговорить мысль, которую я не слышал ни от батюшки, ни от матушки, — это называют вольнодумством. Меня бранят и грозят мне за все, за что бы должно хвалить, и хвалят за все, за что бы должно бранить. И естественное состояние души моей превратилось: я запуган, окружен; к тому же природа, совсем некстати, снабдила меня слабыми нервами, и я — оторопел на всю жизнь: на все мои душевные способности нашло какое-то онемение; нечему развернуть их: они еще в почке, а уж раздавлены всем, меня окружающим; нет предмета для мыслей; может быть, мог бы я думать, да не с чего начать и не умею; я также не могу вообразить, что можно о чем-нибудь думать, кроме моих ботфортов, как глухонемой не может себе вообразить, что такое звук... Между тем я пью и играю, ибо иначе меня назовут дурным товарищем, что бы мне было очень прискорбно.

Все женятся. Надобно жениться и мне. Вот я женат. Жена мне под пару. А я все тот же: в голове у меня до сих пор одни батюшкины мысли; если как-нибудь придет мне в голову мысль, не похожая на батюшкину, то я от нее отмаливаюсь, как от бесовского наваждения; боюсь быть дурным сыном, ибо хоть не понимаю, в чем состоит добродетель, но мне по инстинкту хочется быть добродетельным. Вот почему утром мы с женою сводим разные счеты — ибо батюшка, пуще совести, наказал мне не растерять имение; а потом — потом туалет, обед, карты, танцы. Мы живем очень весело; время бежит и очень скоро. Когда мне по инстинкту захочется переменить что-нибудь в нашем образе жизни — жена мне грозит названием дурного мужа, и я продолжаю ей покоряться, потому что мне хочется сохранить уже приобретенное мною название истинного христианина и человека с правилами. Этому много помогает то, что я усердно езжу к родне и не пропускаю ни одних именин и ни одного рождения.

Вот у меня дети; я очень рад; говорят, что их надобно воспитывать, почему не так! В чем состоит воспитание — мне некогда было подумать, и потому я счел за лучшее воспользоваться батюшкиными советами и стал детей точно так же воспитывать, как меня воспитывали, и говорить им точно те же слова, которые мне батюшка говорил. Так гораздо покойнее! Правда, многие из его слов я повторяю так, по привычке, кстати и некстати, не присоединяя к ним никакого смысла, — но что нужды! — очевидно, что отец не мог мне желать худого, и потому все-таки его слова принесут моим детям пользу, и опытность отцов не будет потеряна для детей. Иногда от такого повторения чужих слов у меня краска вспыхивает в лице; но чем другим, если не таким беспрестанным памятованием отцовских наставлений, можно лучше доказать сыновнее почтение, и что мне, в свою очередь, может доставить больше прав на такое же почтение детей моих? — не знаю.

По инстинкту мне захотелось отдать детей в общественное заведение; но вся родня мне

⁵⁰ Это черта, характерная для дворянского быта того времени. (Ср.: Григорьев Ал. Мои литературные в нравственные скитальчества. М., 1915, с. 34–42).

сказала, что в школе мои дети потеряют приобретенные ими в доме правила нравственности и сделаются вольнодумцами. Для сохранения семейного спокойствия я решился учить их дома и, не умея выбрать учителей, выбираю их и плачу дорого; вся родня моя за то мною не нахвалится и уверяет, что на детей моих сошло божие благословение, потому что они во всем на меня похожи, как две капли воды. Но это не совсем правда: жена мне много мешает.

Я жены моей никогда не любил, и что такое любовь, я никогда не знал; я сначала не замечал этого; пока нам говорить было некогда и не о чем, мы как-то уживались; теперь же, как народились дети и мы стали меньше выезжать, — беда моя приходит! мы ни в чем с женою не согласны: я хочу одного, она другого; начнем ни с того, ни с сего; оба говорим; друг друга не понимаем, и — сам не знаю — всякий спор обратится в спор о том, кто из нас умнее, а этот спор длится всегда 24 часа; и так, только мы вместе, то или молчим, да скучаем, или — содом содомом! она закричит — я уговаривать; она завизжит — я кричать; она в слезы, потом больна — я ухаживать. Так проходят целые дни; время бежит и очень скоро.

Отчего происходят наши ссоры — право, не понимаю: мы оба, кажется, смиренного нрава и люди (все говорят) нравственные; я почтительный сын, она почтительная дочь; я уже сказал, что учу детей своих тому, чему меня сам отец учил, а она учит, чему ее сама мать учила, — чего бы лучше? Но, к несчастью, мой батюшка и ее матушка противоречили друг другу; оттого мы свято исполняем родительский долг, а сбиваем детей с толку: она их держит в хлопках, я вожу на мороз, — дети мрут; за что бог меня наказывает?

Мне уж приходит невтерпеж — и, хоть для спасения детей, я хотел было пустить мою жену на все четыре стороны; но как я покажусь на глаза людям, подавши такой пример безнравственности? Нечего делать! видно, век терпеть муку; утешительно, что хоть чужие люди нас за то хвалят и называют примерными супругами, потому что хотя друг друга терпеть не можем, да живем вместе по закону.

Между тем, время все бежит да бежит, а с ним растут и мои чины; по чинам мне дают место; по инстинкту я догадываюсь, что не могу занимать его, — ибо от непривычки к чтению я, читая, ничего не понимаю.

Но мне сказали, что я буду дурным отцом, если не воспользуюсь этим местом, чтоб пристроить детей; я не захотел быть дурным отцом и потому принял место; сначала посовестился, стал было читать, да вижу, что хуже, а потом отдал все бумаги на попечение секретаря, а сам принялся подписывать, да пристраивать детей — чем и заслужил название доброго начальника и попечительного отца.

А время бежит да бежит; вот я уже переступил через 4-й десяток; период жизни, в котором умственная деятельность достигает высшей точки своего развития, уже прошел; мои брюшные полости раздвигаются все больше и больше, и я начал, как говорится, идти в тело. Когда уже прежде, до сего периода, ни одна мысль не могла протолкаться мне в голову — чему же быть теперь? Не думать сделалось мне привычкою, второю природой. Когда от ослабления сил нельзя мне выехать — мне скучно, очень скучно, а отчего? — сам не знаю. Примусь раскладывать гран-пasiaнс — скучно. Бранюсь с женою — скучно. Пересилю себя, поеду на вечер — все скучно. Примусь за книгу — кажется, русские слова, а словно по-татарски; придет приятель, да расскажет, я как будто пойму; стану читать — опять не понимаю. От всего этого на меня находит, что говорится, хандра, за что жена меня очень бранит; она спрашивает меня: разве чего мне недостает, или я в чем несчастен? — я приписываю все это геморрою.

Вот я болен, в первый раз жизни; я тяжело болен, — меня уложили в постель. Как неприятно быть больным! Нет сна, нет аппетита! как скучно! а вот и страдания! чем заглушить их? Как приедут люди поговорить, — ибо вся моя родня свято наблюдает родственные связи, — то как будто легче, а все скучно и страшно. Но что-то родные начинают чаще приезжать; они что-то шепчутся с доктором, — плохо! Ахти! говорят уж мне о причастии, о соборовании маслом. Ах! они все такие хорошие християне, — но ведь это значит, что я уже при последнем конце. Так нет уже надежды? Должно оставить жизнь —

все: и обеды, и карты, и мой шитый мундир, и четверку вороных, на которых я еще не успел поездить, — ах, как тяжело! Принесите мне показать новую ливрею; позовите детей; нельзя ли еще помочь? призовите еще докторов; дайте какого хотите лекарства; отдайте половину моего имения, все мое имение: поживу, наживу — только помогите, спасите!..

Но вдруг сцена переменилась: страшная судорога потрясла мои нервы, и как завеса упала с глаз моих. Все, что тревожит душу человека, одаренного сильною деятельностью: ненасытная жажда познаний, стремление действовать, потрясать сердца силою слова, оставить по себе резкую бразду в умах человеческих, — в возвышенном чувстве, как в жарких объятиях, обхватить⁵¹ и природу, и человека, — все это запыхало в голове моей; предо мною раскрылась бездна любви и человеческого самосведения. Страдания целой жизни гения, неутолимые никаким наслаждением, врезались в мое сердце — и все это в ту минуту, когда был конец моей деятельности. Я метался, рвался, произносил отрывистые слова, которыми в один миг хотел высказать себе то, на что недостаточно человеческой жизни; родные воображали, что я в беспамятстве. О, каким языком выразить мои страдания! Я начал думать! Думать — страшное слово после шестидесятилетней бессмысленной жизни! Я понял любовь! любовь страшное слово после шестидесятилетней бесчувственной жизни!

И вся жизнь моя предстала мне во всей отвратительной наготе своей!

Я позабыл все обстоятельства, встретившие меня с моего рождения; все неутолимые условия общества, которые связывали меня в продолжение жизни. Я видел одно: посрамленные мною дары провидения! И все минуты моего существования, затоптанные в бессмыслии, приличиях, ничтожестве, слились в один страшный упрек и жгучим холодом обдавали мое сердце!

Тщетно искал я в своем существовании одной мысли, одного чувства, которыми б я мог прикрыться от гнева вседержителя! Пустыня отвечала мне, и в детях моих я видел продолжение моего ничтожества; ах! если бы я мог говорить, если бы я мог вразумить меня окружающих, если б мог поделиться собою с ними, дать ощутить им то чувство, которым догорала душа моя! Тщетно я простирали мои руки к людям, — хладные, загрубелые — они хотели познать дружеское пожатие; но человечество чуждалось немеющего трупа, и я видел лишь одного себя перед собою — себя, одинокого, безобразного! Я жаждал взора, который бы отрадою сочувствия пролился в мою душу, — и встретил лишь насмешливое презрение на лице твоём! Я понял его, я разделил его! и с страшною, неотвратимою, вечною горечью оставил земную оболочку!.. Теперь, если хочешь, не сожалей обо мне, не плачь обо мне, презирай меня!"

Кровавые слезы покатались по синим щекам мертвеца, и он исчез с грустною улыбкой... Я возвратился на его могилу, преклонил колени, молился и долго плакал; не знаю, поняли ли проходящие, о чем я плакал...

* * *

После восьмилетней уединенной жизни, посвященной сухим цифрам и выкладкам, сочинитель сих отрывков, кажется, начал уже ощущать неудовлетворительность своих теорий, и для того ли, чтоб рассеять себя, или чтоб послушать мнений живых людей, или даже чтоб минутным отдыхом освежить свои силы, он бросился в светский вихрь. Эта атмосфера была ему не по сердцу — и, вероятно, в минуту досады, он набросал на бумагу эти строки, из которых одним я дал название "Бала"; другой отрывок носит на себе заглавие "Мститель"; в обеих статьях отражается и некоторая напыщенность, обыкновенная человеку деловому, принявшемуся за поэтическое перо, и какая-то статистическая привычка к

⁵¹ Слова эти являются скрытой цитатой стихотворения А. Хомякова "Молодость": "Я схвачу природу в жарких объятиях; я прижму природу к пламенному сердцу..."

исчислениям; и вместе впечатление, произведенное на сочинителя чтением новых романов, — чтением, необходимым для посетителя гостиных.

БАЛ

[*Gaudium magnum nuntio vobis {*}*]

{[* "Великую радость возвещаю вам", — обыкновенная формула, которую в Риме объявляется об избрании папы.]}

1

[Победа! победа! читали вы бюллетень? важная победа! историческая победа! особенно отличились картечь и разрывные бомбы; десять тысяч убитых; вдвое против того отнесено на перевязку; рук и ног груды; взяты пушки с бою; привезены знамена, обрызганные кровью и мозгом; на иных отпечатались кровавые руки. Как, зачем, из-за чего была свалка, знают немногие, и то про себя; но что нужды! победа! победа! во всем городе радость! сигнал подан: праздник за праздником; никто не хочет отстать от других. Тридцать тысяч вон из строя! Шутка ли! все веселится, поет и пляшет...]

Бал разгорался час от часу сильнее; тонкий чад волновался над бесчисленными тускнеющими свечами; сквозь него трепетали штофные занавесы, мраморные вазы, золотые кисти, барельефы, колонны, картины; от обнаженной груди красавиц поднимался знойный воздух, и часто, когда пары, будто бы вырвавшиеся из рук чародея, в быстром кружении промелькали перед глазами, вас, как в безводных степях Аравии, обдавал горячий, удушающий ветер; час от часу скорее развивались душистые локоны; смятая дымка небрежнее свертывалась на распаленные плечи; быстрее бился пульс; чаще встречались руки, близились вспыхивающие лица; томнее делались взоры, слышнее смех и шопот; старики поднимались с мест своих, расправляли бессильные члены, и в полупотухших, остолбенелых глазах мешалась горькая зависть с горьким воспоминанием прошедшего, — и все вертелось, прыгало, бесновалось в сладострастном безумии...

На небольшом возвышении с визгом скользили смычки по натянутым струнам; трепетал могильный голос волторн, и однообразные звуки литавр отзывались насмешливым хохотом. Седой капельмейстер, с улыбкой на лице, вне себя от восторга, беспрестанно учащал размер и взором, телодвижениями возбуждал утомленных музыкантов.

"Не правда ли? — говорил он мне отрывисто, не оставляя смычка. — Не правда ли? я говорил, что бал будет на славу, — и сдержал свое слово; все дело в музыке; я ее нарочно так и составил, чтобы она с места поднимала ... не давала бы задуматься... так приказано ... в сочинениях славных музыкантов есть странные места — я славно подобрал их — в этом все дело; вот, слышите: это вопль Доны-Анны⁵², когда Дон-Жуан насмехается над нею; вот стон умирающего командора; вот минута, когда Отелло⁵³ начинает верить своей ревности, — вот последняя молитва Дездемоны".

Еще долго капельмейстер исчислял мне все человеческие страдания, получившие голос в произведениях славных музыкантов; но я не слушал его более, — я заметил в музыке

⁵² Имеется в виду ария донны Анны из второго действия оперы Моцарта "Дон Жуан" (1787). Эту арию упоминает в "Крейслериане" и Гофман, очень ценившийся Одоевским за его "описание" оперы "Дон Жуан" (Одоевский В. Ф. Музыкально-литературное наследие. М., 1956, с. 111).

⁵³ Имеется в виду опера Россини "Отелло" (1816)

что-то обворожительно-ужасное: я заметил, что к каждому звуку присоединялся другой звук, более пронзительный, от которого холод пробежал по жилам и волосы дыбом становились на голове; прислушиваюсь: то как будто крик страждущего младенца, или буйный вопль юноши, или визг матери над окровавленным сыном, или трепещущее стенание старца, и все голоса различных терзаний человеческих явились мне разложенными по степеням одной бесконечной гаммы, продолжавшейся от первого вопля новорожденного до последней мысли умирающего Байрона; каждый звук вырывался из раздраженного нерва, и каждый напев был судорожным движением.

Этот страшный оркестр темным облаком висел над танцующими, — при каждом ударе оркестра вырывались из облака: и громкая речь негодования; и прерывающийся лепет побежденного болью; и глухой говор отчаяния; и резкая скорбь жениха, разлученного с невестой; и раскаяние измены; и крик разъяренной, торжествующей черни; и насмешка неверия; и бесплодное рыдание гения; и таинственная печаль лицемера; и плач; и взрыд; и хохот... и все сливалось в неистовые созвучия, которые громко выговаривали проклятие природе и ропот на провидение; при каждом ударе оркестра выставлялись из него то посинелое лицо изможденного пыткой, то смеющиеся глаза сумасшедшего, то трясущиеся колена убийцы, то спекшиеся уста убитого; из темного облака капали на паркет кровавые [капли и] слезы, — по ним скользили атласные башмаки красавиц... и все по-прежнему вертелось, прыгало, бесновалось в сладострастно-холодном безумии...

[Свечи нагорели и меркнут в удушливом паре. Если сквозь колеблющийся туман всмотреться в толпу, то иногда кажется, что пляшут не люди... в быстром движении с них слетает одежда, волосы, тело ... и пляшут скелеты, постукивая друг о друга костями... а над ними под ту же музыку тянется вереница других скелетов, изломанных, обезображенных... но в зале ничего этого не замечают... все пляшет и беснуется, как ни в чем не бывало.]

2

Долго за рассвет длился бал; долго поднятые с постели житейскими заботами останавливались посмотреть на мелькающие тени в светлых окошках.

Закруженный, усталый, истерзанный его мучительным весельем, я выскочил на улицу из душных комнат и впивал в себя свежий воздух; утренний благовест терялся в глуме разъезжающихся экипажей; предо мною были растворенные двери храма.

Я вошел; в церкви пусто, одна свеча горела пред иконою, и тихий голос священника раздавался под сводами: он произносил заветные слова любви, веры, надежды; он возвещал таинство искупления, он говорил о том, кто соединил в себе все страдания человека; он говорил о высоком созерцании божества, о мире душевном, о милосердии к ближнему, о братском соединении человечества, о забвении обид, о прощении врагам, о тщете замыслов богопротивных, о непрерывном совершенствовании души человека, о смирении пред судьбами всевышнего; [он молился об убиенных и убийцах,] он молился об оглашенных, о предстоящих!

Я бросился к притвору храма, хотел удержать беснующихся страдальцев, сорвать с сладострастного ложа их помертвелое сердце, возбудить его от холодного сна огненной гармонией любви и веры, — но уже было поздно! все проехали мимо церкви, и никто не слышал слов священника...

МСТИТЕЛЬ

...Злодей торжествовал. Но в эту минуту я увидел человека, который пристально устремил глаза свои на счастливец. В сих неподвижных глазах я видел благородную злобу и ненасытное, неумолимое, но высокое мщение; его взоры до костей проникали счастливец; они поняли все, всю глубину его низости, исчислили все беззаконные трепетания его сердца,

угадали все нечистые расчеты ума... грозная улыбка была на устах незнакомца... он не оставит счастливец, нигде преступный не укроется от ядовитого острия, образ нравственного чудовища врезался в памяти мстителя, и когда-нибудь он совершит над счастливецом очистительную тризну, сдернет с него его блистательные покровы — и обнаженного, во всей его гнусности вытолкнув на лобное место, позором заклеит лицо его до третьего поколения... И в юноше пробежит святой огонь негодования, старец трепещущею рукою укажет на счастливец своим внукам; может быть, когда-либо в тишине ночи, посреди радостей домашнего счастья, жена, завлеченная очаровательным рассказом поэта, вдруг закроет лицо руками и воскликнет: это муж мой! Может быть, посреди шумной беседы, юноша прислушается к разговору товарищей, разделит с ними глубокую насмешку, возбужденную словом поэта, и вдруг, опамятавшись, скажет в душе своей: это отец мой!

И счастливец удивится, отчего, посреди всех даров счастья, он не находит приветной улыбки; отчего не возбуждает ничьего участия, отчего содрогается жена в его объятиях, отчего, при взоре на него, краска стыда выступает на лицо его сына; поверженный на одр болезни, с ослабленными силами, с сжатым сердцем, он будет вокруг себя искать того сладкого участия, которое, как баснословный эликсир жизни, врачует все язвы, — но заклеенный поэтом образ будет между счастливецом и его друзьями; этот образ удержит руку, протягивающуюся к страдальцу, обратит стон его в презренное лепетание ядовитого насекомого, сожаление — в невольную улыбку, помощь — в тягостный долг, и счастливец познает весь ужас бесплодного раскаяния; он будет искать ту невидимую руку, которая поразила его, но эта рука уже забыла о нем, она ведет новые жертвы к алтарю Немезиды, где совершается таинственное служение поэта во времена духовного смрада и общественного гниения...

Кажется, что наш сочинитель завертелся в светском вихре доле, нежели сколько ему хотелось, и по самой простой причине: он влюбился. Но, видно, это новое занятие не удалось ему, и он от любви вкусил только горькие плоды. В отрывке, который он сам назвал "Насмешка мертвого", видны страдания, которые может испытать только тот, кто не привык ежедневно издерживать свою душу и чувствует редко, но сильно, и вместе с тем видна уже ирония против прежних наставников-бухгалтеров, которых расчеты не могли ему принести никакой пользы в его предприятии.

НАСМЕШКА МЕРТВЕЦА

Ревела осенняя буря; река рвалась из берегов; по широким улицам качались фонари; от них тянулись и шевелились длинные тени; казалось, то подымались с земли, то опускались темные кровли, барельефы, окна. В городе еще все было в движении; прохожие толпились по тротуарам; запоздавшие красавицы, как будто от бури, то закрывали, то открывали свои личики, то оборачивались, то останавливались; толпа молодежи их преследовала и, смеясь, благодарила ветер за его невежливость; степенные люди осуждали то тех, то других и продолжали путь свой, жалея, что им самим уже поздно за то же приняться; колеса то быстро, то лениво стучали о мостовую; звук уличных рылей носился по воздуху; и из всех этих разнообразных, отдельных движений составлялось одно общее, которым дышало, жило это странное чудовище, складенное из груды [людей и] камней, которое называют многолюдным городом. Одно небо было чисто, грозно, неподвижно — и тщетно ожидало взора, который бы поднялся к нему.

Вот с моста, вздутого прибывшей волною, вихрем скатилась пышная, щегольская карета, во всем похожая на другие, но в которой было нечто такое, почему прохожие останавливаются, говорят друг другу; "Это, верно, молодые!" — и с глупою радостью долго провожают карету глазами.

В карете сидела молодая женщина; блестящая перевязка струилась между ее черными локонами и перевивалась с нераспустившимися розами; голубой бархатный плащ сжимал широкую блонду, которая, вырываясь из своей темницы, волновалась над лицом красавицы,

как те воздушные занавески, которыми живописцы оттеняют портреты своих прелестниц.

Подле нее сидел человек средних лет, с одним из тех лиц, которые не поражают вас ни телесным безобразием, ни душевной красотой; которые не привлекают вас и не отталкивают. Вас бы не оскорбило встретиться с этим человеком в гостиной; но вы двадцать раз прошли бы мимо, не заметив его, но вы не сказали бы ему ни одного сердечного слова, но при нем бы вы побоялись того чувства, которое невольно вырывается из бездны душевной и терзает вас, пока вы не дадите ему тела и образа. Словом, в минуту сильной умственной деятельности вам было бы неловко, беспокойно с этим человеком; в минуту вдохновения — вы бы выкинули его за окошко.

Испуганная валами разъяренной реки, грозным завыванием ветра, красавица невольно то выглядывала в окошко, то робко прижималась к своему товарищу; товарищ утешал ее теми пошлыми словами, которые издавна изобрело холодное малодушие, которые произносятся без уверенности и принимаются без убеждения. Между тем карета быстро приближалась к ярко освещенному дому, где в окнах мелькали тени под веселый ритм бальной музыки.

Вдруг карета остановилась: раздалось протяжное пение; улица осветилась багровым пламенем; несколько человек с факелами; за ними гроб медленно двигался через улицу. Красавица выглянула; сильный порыв ветра отогнул оледенелый покров с мертвеца, и ей показалось, что мертвец приподнял посинелое лицо и посмотрел на нее с той неподвижной улыбкой, которою мертвые насмеваются над живыми. Красавица ахнула и, в беспамятстве, прижалась ко внутренней стенке кареты.

Красавица некогда видала этого молодого человека. Видала! она знала его, знала все изгибы души его, понимала каждое трепетание его сердца, каждое недоговоренное слово, каждую незаметную черту на лице его; она знала, понимала все это, но на ту пору одно из тех людских мнений, которое люди называют вечным, необходимым основанием семейственного счастья и которому приносят в жертву и гений, и добродетель, и сострадание, и здравый смысл, все это на несколько месяцев, — одно из таких мнений поставляло непреодолимую преграду между красавицею и молодым человеком. И красавица покорилась. Покорилась не чувству, — нет, она затоптала святую искру, которая было затеплилась в душе ее, и, падши, поклонилась тому демону, который раздает счастье и славу мира; и демон похвалил ее повиновение, дал ей "хорошую партию" и назвал ее расчетливостью — добродетелью, ее подобострастие — благоразумием, ее оптический обман — влечением сердца; и красавица едва не гордилась его похвалою.

Но в любви юноши соединялось все святое и прекрасное человека; ее роскошным огнем жила жизнь его, как блестящий, благоухающий алоэс под опалюю солнца; юноше были родными те минуты, когда над мыслию проходит дыхание бурно; те минуты, в которые живут века; когда ангелы присутствуют таинству души человеческой и таинственные зародыши будущих поколений со страхом внимают решению судьбы своей.

Да! много будущего было в этой мысли, в этом чувстве. Но им ли оковать ленивое сердце светской красавицы, непрерывно охлаждаемое расчетами приличий? Им ли пленить ум, беспрестанно сводимый с толку теми судьями общего мнения, которые постигли искусство судить о других по себе, о чувстве по расчету, о мысли по тому, что им случилось видеть на свете, о поэзии по чистой прибыли, о вере по политике, о будущем по прошедшему?

И все было презрено; и бескорыстная любовь юноши, и силы, которые она оживляла... Красавица назвала свою любовь порывом воображения, мучительное терзание юноши — преходящею болезнью ума, мольбу его взоров — модною поэтическою причудою. Все было презрено, все было забыто. Красавица провела его через все мытарства оскорбленной любви, оскорбленной надежды, оскорбленного самолюбия...

Что я рассказал долгими речами, то в одно мгновение пролетело через сердце красавицы при виде мертвого: ужасною показалась ей смерть юноши, — не смерть тела, нет! черты искаженного лица рассказывали страшную повесть о другой смерти. Кто знает, что

стало с юношей, когда, сжатые холодом страдания, порвались струны на гармоническом орудии души его; когда изнемог он, замученный недоговоренною жизнью; когда истощилась душа на тщетное борение и, униженная, но не убежденная, с хохотом отвергла даже сомнение, последнюю, святую искру души — умирающей. Может быть, она вызвала из ада все изобретения разврата; может быть, постигла сладость коварства, негу мщенья, выгоды явной, бесстыдной подлости; может быть, сильный юноша, распаливши сердце свое молитвою, проклял все доброе в жизни! Может быть, вся та деятельность, которая была предназначена на святой подвиг жизни, углубилась в науку порока, исчерпала ее мудрость с тою же силой, с которою она некогда исчерпала бы науку добра; может быть, та деятельность, которая должна была помирить гордость познания с смирением веры, слила горькое, удушающее раскаяние с самою минутою преступления...

Карета остановилась. Бледная, трепещущая красавица едва могла идти по мраморным ступеням, хотя насмешки мужа и возбуждали ее ослабевшие силы. Вот она вошла; она танцует; но кровь поднимается в ее голову; деревянная рука, которая увлекает ее за танцующими, напоминает ей ту пламенную руку, которая судорожно сжималась, прикасаясь до ее руки; бессмысленный грохот бальной музыки отзывается ей той мольбою, которая вырывалась из души страстного юноши.

Между толпами бродят разные лица; под веселый напев контрданса свиваются и развиваются тысячи интриг и сетей; толпы подобострастных аэролитов вертятся вокруг однодневной кометы; предатель униженно кланяется своей жертве; здесь послышалось незначущее слово, привязанное к глубокому, долголетнему плану; там улыбка презрения скатилась с великолепного лица и оледенила какой-то умоляющий взор; здесь тихо ползут темные грехи и торжественная подлость гордо носит на себе печать отвержения...

Но послышался шум... вот красавица обернулась, видит — иные шепчут между собою... иные быстро побежали из комнаты и трепещущие возвратились... Со всех сторон раздается крик: "Вода! вода!"; все бросилось к дверям: но уже поздно! Вода захлестнула весь нижний этаж. В другом конце залы еще играет музыка; там еще танцуют, там еще говорят о будущем, там еще думают о вчера сделанной подлости, о той, которую надобно сделать завтра; там еще есть люди, которые ни о чем не думают. Но вскоре всюду достигла страшная весть, музыка прервалась, все смешалось.

Отчего ж побледнели все эти лица? Отчего стиснулись зубы у этого ловкого, красноречивого рителя? Отчего так залепетал язык у этого угрюмого героя? Отчего так забегала эта важная дама, [эта блонда пополам с грязью]? О чем спрашивает этот великолепный муж, для которого и лишний взгляд казался оскорблением?.. Как, милостивые государи, так есть на свете нечто, кроме ваших ежедневных интриг, происков, расчетов? Неправда! пустое! все пройдет! опять наступит завтрашний день! опять можно будет продолжать начатое! свергнуть своего противника, обмануть своего друга, доползти до нового места! Послушайте: вот, некоторые смельчаки, которые больше других не думали ни о жизни, ни о смерти, уверяют, что опасность не велика и что вода сейчас начнет убавляться: они смеются, шутят, предлагают продолжать танцы, карточную игру; они радуются случаю остаться вместе до завтрашней ночи; вы в продолжение этого времени не потерпите ни малейшего неудовольствия. Смотрите: в той комнате приготовлены столы, роскошные вина кипят в хрустальных сосудах, все произведения природы сжаты для вас на золотых блюдах; нет дела, что вокруг вас раздаются стоны погибающих; вы люди мудрые, вы приучили свое сердце не увлекаться этими слабодушными движениями. Но вы не слушаете, но вы трепещете, холодный пот обдает вас, вам страшно. И подлинно: вода все растет и растет; вы отворяете окошко, зовете о помощи: вам отвечает свист бури, и белесоватые волны, как разъяренные тигры, кидаются в светлые окна. Да! в самом деле, ужасно. Еще минута, и взмокнут эти роскошные, дымчатые одежды ваших женщин! Еще минута, и то, что так отраднотлично отличало вас от толпы, только прибавит к вашей тяжести и повлечет вас на холодное дно. Страшно! страшно! Где же всемогущие средства науки, смеющейся над усилиями природы?.. Милостивые государи, наука замерла под вашим дыханием. [Где же

великодушные люди, готовые на жертву для спасения ближнего? Милостивые государи, — вы втоптали их в землю, им уже не приподняться.] Где же сила любви, двигающей горы? Милостивые государи, вы задушили ее в ваших объятиях. Что же остается вам?.. Смерть, смерть, смерть ужасная! медленная! Но ободритесь: что ж такое смерть? Вы люди дельные, благоразумные; правда — вы презрели голубиную целость, зато постигли змеиную мудрость; неужели то, о чем посреди тонких, сметливых рассуждений ваших вы никогда и не помышляли, может быть делом столь важным? Призовите на помощь свою прозорливость, испытайте над смертью ваши обыкновенные средства: испытайте, нельзя ли обмануть ее льстивою речью? нельзя ли подкупить ее? наконец, нельзя ли оклеветать? не поймет ли она вашего многозначительного неумолимого взгляда?.. Но все тщетно! Вот уже колеблются стены, рухнуло окошко, рухнуло другое, вода хлынула в них, наполнила зал; вот в проломе явилось что-то огромное, черное... Не средство ли к спасению? Нет, черный гроб внесло в зал, — мертвый пришел посетить живых и пригласить их на свое пиршество! Свечи затрещали и погасли, волны хлещут по паркету, все поднимают и опрокидывают, что ни встретится; картины, зеркала, вазы с цветами, — все смешалось, все трещит, все валится; иногда из-под хлеста волн вынырнет испуганное лицо, раздастся пронзительный крик, и оба исчезнут в пучине; лишь поверху носится открытый гроб, то бьется об драгоценные остатки уцелевшей статуи, то снова отпрянет на средину зала...

Тщетно красавица просит о помощи, зовет мужа — она чувствует, как облипло на ней платье, как отяжелело, как тянет ее в глубину... Вдруг с треском рухнулись стены, раздался потолок, — и гроб, и все бывшее в зале волны вынесли в необозримое море... Все замолкло; лишь ревет ветер, гонит мелкие дымчатые облака перед луною, и ее свет по временам как будто синюю молнию освещает грозное небо и неумолимую пучину. Открытый гроб мчится по ней; за ним волны влекут красавицу. Они одни посредине бунтующей стихии: она и мертвец, мертвец и она; нет помощи, нет спасения! Ее члены заостенели, зубы стиснулись, истощились силы; в беспомощности она ухватилась за окраину гроба, — гроб нагибается, голова мертвеца прикасается до головы красавицы, холодные капли с лица его падают на ее лицо, в остолбенелых глазах его упрек и насмешка. Пораженная его взором, она то оставляет гроб, то снова, мучась невольною любовью к жизни, хватается за него, — и снова гроб нагибается и лицо мертвеца висит над ее лицом, — и снова дождит на него холодными каплями, — и, не отворяя уст, мертвец хохочет: "Здравствуй, Лиза! благоразумная Лиза!.." — и непреодолимая сила влечет на дно красавицу. Она чувствует: соленая вода омывает язык ее, с свистом наливается в уши, бухнет мозг в ее голове, слепнут глаза; а мертвец все тянется над нею, и слышится хохот: "Здравствуй, Лиза! благоразумная Лиза!.."...

Когда Лиза очнулась, она лежала на своей постели; солнечные лучи золотили зеленую занавеску; в длинных креслах муж, сердито зевая, разговаривал с доктором.

— Извольте видеть, — говорил доктор, — это очень ясно: всякое сильное движение души, происходящее от гнева, от болезни, [от испуга,] от горестного воспоминания, всякое такое движение действует непосредственно на сердце; сердце в свою очередь действует на мозговые нервы, которые, соединясь с наружными чувствами, нарушают их гармонию; тогда человек приходит в какое-то полусонное состояние и видит особенный мир, в котором одна половина предметов принадлежит к действительному миру, а другая половина к миру, находящемуся внутри человека...

Муж давно уже его не слушал. В то время на подъезде встретились два человека.

— Ну, что княгиня? — спросил один другого.

— Да ничего! дамские причуды! Только что испортила наш бал своим обмороком. Я уверен, что это было не что иное, как притворство... хотелось обратить внимание.

— Ах, не брани ее! — возразил первый. — Бедненькая! я чай, и без того ей досталось от мужа. Впрочем, и всякому будет досадно: он отроду не бывал еще в таком ударе; представь себе, он десять раз сряду замаскировал короля, в четверть часа выиграл пять тысяч, и если бы не...

Разговаривающие удалились.

С год спустя после этого обморока, на бале у Б***, человек пожилых лет говорил одной даме: — Ах, как я рад, что встретился с вами! у меня есть до вас просьба, княгиня. Вы будете завтра вечером дома?..

— На что вам это?

— Меня просят вам представить одного, как говорят, очень замечательного молодого человека...

— Ах, бога ради, — возразила дама с негодованием, — избавьте меня от этих замечательных молодых людей с их мечтами, чувствами, мыслями! Говоря с ними, надобно еще думать о том, что говоришь, а [думать] для меня и скучно и беспокойно. Я уж об этом объявила всем моим знакомым. Приводите ко мне таких, которые без претензий, которые прекрасно говорят [о сплетнях,] о бале, [о рауте] и только; я им буду очень рада, и для них мои двери всегда открыты...

Я долгом считаю заметить, что эта дама была княгиня, а говоривший с нею мужчина — муж ее...

* * *

Оскорбленный, измученный юноша вырвался из светского вихря и думал забыть свое страдание в прежних трудах своих, в прежних цифрах, но сердце его, раздраженное чувством любви, уже не было согласно с его рассудком; оно не могло и победить его, ибо инстинкт сердца едва начинал развиваться; мало-помалу юноша разуверился во всем, даже в бытии науки, даже в совершенствовании человечества; но логический, положительный ум действовал со всею силою и облекал собственные страдания юноши в формы силлогизмов, и все то, что прежде казалось ему легко преодолимою трудностью, явилось в виде страшного, всепожирающего диалектического сомнения. Чтобы поразить это чудовище, нужно было нечто другое, кроме выкладок; он вполне ощутил все их бессилие, но, привыкший к сему орудию, не знал другого. С этой минуты, кажется, началось расстройство ума его; болезнь оскорбленной любви слилась с болезнью неудовлетворенного разума, и это страшное состояние организма излилось на бумагу в виде чудовищного создания, которому он сам дал название "Последнего самоубийства". Это вместе и горькая насмешка над нелепыми выкладками английского экономиста, и вместе образ страшного состояния души, привыкшей почитать веру делом, необходимым лишь в политическом отношении. Вы не соблазнитесь некоторыми резкими выражениями бедного страдальца, но пожалеете о нем; его чудовищное создание может служить примером, до чего могут довести простые опытные знания, не согретые верою в провидение и в совершенствование человека; как растлеваются все силы ума, когда инстинкт сердца оставлен в забвении и не орошается живительною росой откровения; как мало даже одной любви к человечеству, когда эта любовь не истекает из горнего источника! Это сочинение есть не иное что, как развитие одной главы из Мальтуса, но развитие откровенное, не прикрытое хитростями диалектики, которые Мальтус употреблял как предохранительное орудие против человечества, им оскорбленного.

ПОСЛЕДНЕЕ САМОУБИЙСТВО

Наступило время, предсказанное философами XIX века: род человеческий размножился; потерялась соразмерность между произведениями природы и потребностями человечества. Медленно, но постоянно приближалось оно к сему бедствию. Гонимые нищетою, жители городов бежали в поля, поля обращались в селы, селы в города, а города нечувствительно раздвигали свои границы; тщетно человек употреблял все знания, приобретенные потовыми трудами веков, тщетно к ухищрениям искусства присоединял ту могущественную деятельность, которую порождает роковая необходимость, — давно уже аравийские песчаные степи обратились в плодоносные пажити; давно уже льды севера

покрылись туком земли; невероятными усилиями химии искусственная теплота живила царство вечного хлада... но все тщетно: протекли века, и животная жизнь вытеснила растительную, слились границы городов, и весь земной шар от полюса до полюса обратился в один обширный, заселенный город, в который перенеслись вся роскошь, все болезни, вся утонченность, весь разврат, вся деятельность прежних городов; но над роскошным градом вселенной тяготела страшная нищета и усовершенные способы сообщения разносили во все концы шара лишь вести об ужасных явлениях голода и болезней; еще возвышались здания; еще нивы в несколько ярусов, освещенные искусственным солнцем, орошаемые искусственною водою, приносили обильную жатву, — но она исчезала прежде, нежели успевали собирать ее: на каждом шагу, в каналах, реках, воздухе, везде теснились люди, все кипело жизнью, но жизнь умерщвляла сама себя. Тщетно люди молили друг у друга средства воспротивиться всеобщему бедствию: старики вспоминали о протекшем, обвиняли во всем роскошь и испорченность нравов; юноши призывали в помощь силу ума, воли и воображения; мудрейшие искали средства продолжать существование без пищи, и над ними никто не смеялся.

Скоро здания показались человеку излишнею роскошью; он зажигал дом свой и с дикою радостью утучнял землю пеплом своего жилища; погибли чудеса искусства, произведения образованной жизни, обширные книгохранилища, больницы, — все, что могло занимать какое-либо пространство, — и вся земля обратилась в одну обширную, плодоносную пажить.

Но не надолго возбудилась надежда; тщетно заразительные болезни летали из края в край и умерщвляли жителей тысячами; сыны Адамовы, пораженные роковыми словами писания, росли и множились.

Давно уже исчезло все, что прежде составляло счастье и гордость человека. Давно уже погас божественный огонь искусства, давно уже и философия, и религия отнесены были к разряду алхимических знаний; с тем вместе разорвались все узы, соединявшие людей между собою, и чем более нужда теснила их друг к другу, тем более чувства их разлучались. Каждый в собрате своем видел врага, готового отнять у него последнее средство для бедственной жизни: отец с рыданием узнавал о рождении сына; дочери прядали при смертном одре матери; но чаще мать удушала дитя свое при его рождении, и отец рукоплескал ей. Самоубийцы внесены были в число героев. Благотворительность сделалась вольнодумством, насмешка над жизнью — обыкновенным приветствием, любовь — преступлением.

Вся утонченность законоискусства была обращена на то, чтобы воспрепятствовать совершению браков; малейшее подозрение в родстве, неравенство в летах, всякое удаление от обряда делало брак ничтожным и бездною разделяло супругов. С рассветом каждого дня люди, голодом подымаемые с постели, тощие, бледные, сходились и обвиняли друг друга в пресыщении или упрекали мать многочисленного семейства в распутстве; каждый думал видеть в собрате общего врага своего, недостижимую причину жизни, и все словами отчаяния вызывали на брань друг друга: мечи обнажались, кровь лилась, и никто не спрашивал о причине брани, никто не разнимал враждующих, никто не помогал упавшему.

Однажды толпа была раздвинута другою, которая гналась за молодым человеком; его обвиняли в ужасном преступлении: он спас от смерти человека, в отчаянии бросившегося в море; нашлись еще люди, которые хотели вступить за несчастного. "Что вы защищаете человека ненавистника? — вскричал один из толпы. — Он эгоист, он любит одного себя!" Одно это слово устранило защитников, ибо эгоизм тогда был общим чувством; он производил в людях невольное презрение к самим себе, и они рады были наказать в другом собственное свое чувство. "Он эгоист, — продолжал обвинитель, — он нарушитель общего спокойствия, он в своей землянке скрывает жену, а она сестра его в пятом колене!" — В пятом колене! — завопила разъяренная толпа.

— Это ли дело друга? — промолвил несчастный.

— Друга? — возразил с жаром обвинитель. — А с кем ты несколько дней тому

назад, — прибавил он шопотом, — не со мною ли ты отказал поделиться своей пищею?

— Но мои дети умирали с голоду, — сказал в отчаянии злополучный.

— Дети! дети! — раздалось со всех сторон. — У него есть дети! — Его незаконные дети съедают хлеб наш! — и, предводимая обвинителем, толпа ринулась к землянке, где несчастный скрывал от взоров толпы все драгоценное ему в жизни. — Пришли, ворвались, — на голой земле лежали два мертвых ребенка, возле них мать; ее зубы стиснули руку грудного младенца. — Отец вырвался из толпы, бросился к трупам, и толпа с хохотом удалилась, бросая в него грязь и камни.

* * *

Мрачное, ужасное чувство зародилось в душе людей. Этого чувства не умели бы назвать в прежние веки; тогда об этом чувстве могли дать слабое понятие лишь ненависть отверженной любви, лишь цепенение верной гибели, лишь бессмыслие терзаемого пыткой; но это чувство не имело предмета. Теперь ясно все видели, что жизнь для человека сделалась невозможною, что все средства для ее поддержания были истощены, — но никто не решался сказать, что оставалось предпринять человеку? Вскоре между толпами явились люди, — они, казалось, с давнего времени вели счет страданиям человека — и в итоге выводили все его существование. Обширным, адским взглядом они обхватывали минувшее и преследовали жизнь с самого ее зарождения. Они вспоминали, как она, подобно татю, закралась сперва в темную земляную глыбу и там, среди гранита и гнейса, мало-помалу, истребляя одно вещество другим, развила новые произведения, более совершенные; потом на смерти одного растения она основала существование тысячи других; истреблением растений она размножила животных; с каким коварством она приковала к страданиям одного рода существ наслаждения, самое бытие другого рода! Они вспоминали, как, наконец, честолюбивая, распространяя ежечасно свое владычество, она все более и более умножала раздражительность чувствования — и беспрестанно, в каждом новом существе, прибавляя к новому совершенству новый способ страдания, достигла наконец до человека, в душе его развернулась со всею своею безумною деятельностью и счастье всех людей восставила против счастья каждого человека. Пророки отчаяния с математическою точностию измеряли страдание каждого нерва в теле человека, каждого ощущения в душе его. "Вспомните, говорили они, — с каким лицемерием неумолимая жизнь вызывает человека из сладких объятий ничтожества. — Она закрывает все чувства его волшебною пеленою при его рождении, — она боится, чтобы человек, увидев все безобразие жизни, не отпрянул от колыбели в могилу. Нет! коварная жизнь является ему сперва в виде теплой материнской груди, потом порхает перед ним бабочкою и блещет ему в глаза радужными цветами; она печется о его сохранении и совершенном устройстве его души, как некогда мексиканские жрецы пеклись о жертвах своему идолу; дальновидная, она дарит младенца мягкими членами, чтоб случайное падение не сделало человека менее способным к терзанию; несколькими покровами рачительно закрывает его голову и сердце, чтоб вернее сберечь в них орудия для будущей пытки; и несчастный привыкает к жизни, начинает любить ее: она то улыбается ему прекрасным образом женщины, то выглядывает на него из-под длинных ресниц ее, закрывая собою безобразные впадины черепа, то дышит в горячих речах ее; то в звуках поэзии олицетворяет все несуществующее; то жаждущего приводит к пустому кладезю науки, который кажется неисчерпаемым источником наслаждений. Иногда человек, прорывая свою пелену, мельком видит безобразие жизни, но она предвидела это и заранее зародила в нем любопытство увериться в самом ее безобразии, узнать ее; заранее поселила в человеке гордость видом бесконечного царства души его, и человек, завлеченный, упоенный, незаметно достигает той минуты, когда все нервы его тела, все чувства его души, все мысли его ума — во всем блеске своего развития спрашивают: где же место их деятельности, где исполнение надежд, где цель жизни? Жизнь лишь ожидала этого мгновения, — быстро

повергает она страдальца на плаху: сдергивает с него благодетельную пелену, которую подарила ему при рождении, и, как искусный анатом, обнажив нервы души его — обливает их жгучим холодом.

Иногда от взоров толпы жизнь скрывает свои избранные жертвы; в тиши, с рачением вскармливает их таинственной пищею мыслей, острит их ощущения; в их скудельную грудь вмещает всю безграничную свою деятельность — и, возвысив до небес дух их, жизнь с насмешкою бросает их в середину толпы; здесь они чужеземцы, — никто не понимает языка их, — нет их привычной пищи, терзаемые внутренним голодом, заключенные в оковы общественных условий, они измеряют страдание человека всею возвышенностью своих мыслей, всею раздражительностью чувств своих; в своем медленном томлении перечувствуют томление всего человечества, — тщетно рвутся они к своей мнимой отчизне, они издыхают, разуверившись в вере целого бытия своего, и жизнь, довольная, но не насыщенная их страданиями, с презрением бросает на их могилу бесплодный фимиам позднего благоговения.

Были люди, которые рано узнавали коварную жизнь, — и, презирая ее обманчивые призраки, с твердостью духа рано обращались они к единственному верному и неизменному союзнику их против ее ухищрений — ничтожеству. В древности слабоумное человечество называло их малодушными; мы, более опытные, менее способные обманываться, назвали их мудрейшими. Лишь они умели найти надежное средство против врага человечества и природы, против неистовой жизни; лишь они постигли, зачем она дала человеку так много средств чувствовать и так мало способов удовлетворять своим чувствам. Лишь они умели положить конец ее злобной деятельности и разрешить давний спор об алхимическом камне.

В самом деле, размыслите хладнокровно, — продолжали несчастные, — что делал человек от сотворения мира?.. он старался избегнуть от жизни, которая угнетала его своею существенностью. Она вогнала человека свободного, уединенного, в свинцовые условия общества, и что же? человек несчастья одиночества заменил страданиями другого рода, может быть ужаснейшими; он продал обществу, как злему духу, блаженство души своей за спасение тела. Чего не выдумывал человек, чтоб украсить жизнь или забыть о ней. Он употребил на это всю природу, и тщетно в языке человеческом забывать о жизни — сделалось однозначительным с выражением: быть счастливым; эта мечта невозможная; жизнь ежеминутно напоминает о себе человеку. Тщетно он заставлял другого в кровавом поте лица отыскивать ему даже тени наслаждений, — жизнь являлась в образе пресыщения, ужаснейшем самого голода. В объятиях любви человек хотел укрыться от жизни, а она являлась ему под именами преступлений, вероломства и болезней. Вне царства жизни человек нашел что-то невыразимое, какое-то облако, которое он назвал поэзией, философией, — в этих туманах он хотел спастись от глаз своего преследователя, а жизнь обратила этот утешительный призрак в грозное, тлетворное привидение. Куда же еще укрыться от жизни? мы переступили за пределы самого невыразимого! чего ждать еще более? мы исполнили, наконец, все мечты и ожидания мудрецов, нас предшествовавших. Долгим опытом уверились мы, что все различие между людьми есть только различие страданий, — и достигли, наконец, до того равенства, о котором так толковали наши предки. Смотрите, как мы блаженствуем: нет между нами ни властей, ни богачей, ни машин; мы тесно и очень тесно соединены друг с другом, мы члены одного семейства! — О люди! люди! не будем подражать нашим предкам, не дадимся в обман, — есть царство иное, безмятежное, — оно близко, близко!"

Тиха была речь пророков отчаяния — она впивалась в душу людей, как семя в разрыхленную землю, и росла, как мысль, давно уже развившаяся в глубоком уединении сердца. Всем понятна и сладка была она — и всякому хотелось договорить ее. Но, как во всех решительных эпохах человечества, недоставало избранного, который бы вполне выговорил мысль, крившуюся в душе человека.

Наконец, явился он, мессия отчаяния! Хладен был взор его, громок голос, и от слов его мгновенно исчезали последние развалины древних поверий. Быстро вымолвил он последнее

слово последней мысли человечества — и все пришло в движение, — призваны были все усилия древнего искусства, все древние успехи злобы и мщенья, все, что когда-либо могло умерщвлять человека, и своды пресеклись под легким слоем земли, и искусством утонченная селитра, сера и уголь наполнили их от конца экватора до другого. В уреченный, торжественный час люди исполнили, наконец, мечтанья древних философов об общей семье и общем согласии человечества, с дикою радостью взялись за руки; громовой упрек выражался в их взоре. Вдруг из-под глыбы земли явилась юная чета, недавно пощажённая неистовою толпою; бледные, истощённые, как тени мертвецов, они еще сжимали друг друга в объятиях. "Мы хотим жить и любить посреди страданий", — восклицали они и на коленях умоляли человечество остановить минуту его отмщенья; но это мщение было возлелеяно вековыми щедротами жизни; в ответ раздался грозный хохот, то был условленный знак — в одно мгновение блеснул огонь; треск распадавшегося шара потряс солнечную систему; разорванные громады Альпов и Шимборазо взлетели на воздух, раздались несколько стонов... еще ... пепел возвратился на землю... и все утихло... и [вечная] жизнь впервые раскаялась!..

* * *

Предшедший отрывок написан сочинителем незадолго пред его кончиною; к счастью, он не остался в этом неестественном состоянии души. В последнем отрывке, "Цецилия", видно воздействие религиозного чувства; этот отрывок, по-видимому, написан в сильном волнении духа, напоминает библейские выражения, вероятно тогда читанные автором, и написан рукою почти неразбираемою; во многих местах не дописаны слова, и, кажется, недостает окончания.

ЦЕЦИЛИЯ

*Дай мне силу над сердцами.
С тайных дум покров сорви:
Чтоб я мог всевластным духом
Целый мир наполнить звуком
Вдохновенья и любви.*

Шевырев. Песнь к Цецилии, покровительнице гармонии.⁵⁴

...Не людей он бежал, но их счастья; не бедствий, но жизни; не жизни, но души вопрошающей. Не покоя он искал, но свинцового сна. Не нашел он того, чего искал, и то, от чего он скрывался, — растопило хладные своды его темницы. Здесь скорбь создала ему дом; осветила его взором отчаяния, населила его неслышимым воплем, стыдливой слезою и безумным смехом; ум и сердце раздрала на части и заклала их на своем жертвеннике; чашу жизни переполнила желчью.

Где же ты, премудрость? Где семь столпов твоих? Где твоя трапеза? Где царственное слово? Где рабы твои, посланные на высокое делание?

Так печальна жизнь наша, нет исцеления и гробы безмолвны? Случайно родимся мы, проживем и будем как не бывали? дымом разойдется душа человека и теплое слово погаснет, как ветром занесенная искра? и имя наше забвенно будет во время, и никто не вспомнит дел наших? и жизнь наша — след облака? распадется она, как туман, лучами солнца

⁵⁴ Эпиграф к рассказу представляет собой заключительные пять стихов переводного стихотворения С. П. Шевырева "О Цецилия святая" (1825). Автор оригинала — немецкий романтик В. Г. Ваккенродер (1773–1798), книгу которого (написанную совместно с Л. Тиком) "Об искусстве и художниках..." (стихотворение о Цецилии входит в состав этой книги) Шевырев переводил вместе с В. Титовым и Н. Мельгуновым.

отягченный? и не отворится скиния свидания и никто не снимет печати?

Кто же успокоит стон мой? Кто даст разум сердцу? Кто даст слово духу?...

.....

А там, за железною решеткою, в храме, посвященном св. Цецилии, все ликовало; лучи заходящего солнца огненным водометом лились на образ покровительницы гармонии, звучали ее золотые органы и, полные любви, звуки радужными кругами разносились по храму: как хотел бы несчастный взглянуться в это сияние, вслушаться в эти звуки, перелить в них душу свою, договорить их недоконченные слова, — но до него доходили лишь неясный отблеск и смешанный отголосок.

Этот отблеск, эти отголоски говорили о чем-то душе его, о чем-то — для чего не находил он слов человеческих.

Он верил, что за голубым отблеском есть сияние, что за неясным отголоском есть гармония; и будет время, мечтал он, — и до меня достигнет сияние Цецилии, и сердце мое изойдет на ее звуки, — отдохнет измученный ум в светлом небе очей ее, и я познаю наслаждение слезами веры выплакать свою душу... Меж тем, жизнь его вытекала капля за каплею, и в каждой капле были яд и горечь! ...

* * *

— Далее, действительно, нельзя ничего разобрать, — сказал Фауст...

— Довольно и этого, — насмешливо заметил Виктор.

— Ужасно! ужасно! — проговорил Ростислав, потупив глаза в землю. — В самом деле, стоит опуститься в глубину души — и каждый найдет в себе зародыш всех возможных преступлений...

— Нет, не в глубину души, — возразил Фауст, — а разве в глубину логики; эта логика — престранная наука; начни с чего хочешь: с истины или с нелепости, — она всему даст прекрасный, правильный ход и поведет зажмуря глаза, пока не споткнется; — Бентаму⁵⁵, например, ничего не стоило перескочить от частной пользы к пользе общественной, не заметив, что в его системе между ними бездна; добрые люди XIX века перескочили с ним вместе и по его же системе доказали, что общественная польза не иное что, как их собственная выгода; нелепость сделалась очевидною. Но это бы не беда, а вот что худо — во время этой прогулки может пройти полстолетия; так логика Адама Смита споткнулась только в Мальтусе⁵⁶; ею жил наш век до сей минуты, да и теперь многих ли ты уверишь, что Мальтусова теория есть полная нелепость; с нею для них начинается новый силлогизм...

— Я замечу только одно, — сказал Вечеслав, — что и твои искатели приключений и их безумный экономист взводят, кажется, на Мальтуса небылицу; я, например, не помню, чтоб он рекомендовал разврат как лекарство против увеличения народонаселения...

— Ты забываешь, — отвечал Фауст, — что мои искатели давно уже умерли и что, вероятно, они читали первое издание Мальтуса⁵⁷, который в первом жару, при блеске ясной логической последовательности своих мыслей, проговорился и высказал откровенно все

⁵⁵ Бентам Иеремия (1748–1832) — английский правовед и моралист, апологет этики "утилитаризма". Этика Бентама подробно изложена в сочинении *Deontology, or the Science of Morality* (Деонтология, или наука о морали), 1834. Действия людей, согласно Бентаму, должны оцениваться в соответствии с приносимой ими пользой, при этом в определении пользы Бентам исходил из частного интереса человека.

⁵⁶ То, что Мальтус вульгаризирует и доводит до крайних выводов некоторые положения А. Смита, становится особенно заметным в работе Мальтуса "Принципы политической экономии" (1817).

⁵⁷ Речь идет об издании: *An Essay on the Principle of Population*. London (Опыт о народонаселении. Лондон), 1798.

чудные выводы из своей теории. Как обыкновенно бывает, большая часть благовоспитанных людей, не обратив внимания на безнравственность самого начала теории, соблазнились некоторыми второстепенными выводами, которые, однако ж, необходимо вытекали из самого этого начала; чтоб успокоить этих так называемых нравственных людей, а равно из английского благоприличия, Мальтус в следующих изданиях своей книги, оставя теорию вполне, вычеркнул все слишком ясные выводы; книга его сделалась непонятнее, нелепость осталась та же, а нравственные люди успокоились. Попробуй теперь кто-нибудь в Англии сказать, что Мальтус гораздо нелепее алхимиков, отыскивающих универсальное лекарство! А между тем, если теория Мальтуса справедлива, то действительно скоро человеческому роду не останется ничего другого, как подложить под себя пороху и взлететь на воздух, или приискать другое, столь же действительное средство для оправдания Мальтусовой системы.

В следующий раз я вам прочту путевые заметки моих друзей, близко касающиеся того же предмета; там увидите полное или, как говорят, практическое применение теории другого логического философа, которого умозаключения, наравне с Мальтусовыми, имели честь образовать так называемую политическую экономию нашего времени.

НОЧЬ ПЯТАЯ

ГОРОД БЕЗ ИМЕНИ

В пространных равнинах Верхней Канады, на пустынных берегах Ореноко, находятся остатки зданий, бронзовых оружий, произведения скульптуры, которые свидетельствуют, что некогда просвещенные народы обитали в сих странах, где ныне кочуют лишь толпы диких звероловов.

Гумбольд. *Vues des Cordilleres* {Виды Кордильеров (франц.)}
Т. I. 58

...Дорога тянулась между скал, поросших мохом. Лошади скользили, поднимаясь на крутизну, и наконец совсем остановились. Мы принуждены были выйти из коляски...

Тогда только мы заметили на вершине почти неприступного утеса нечто, имевшее вид человека. Это привидение, в черной епанче, сидело недвижно между грудями камней в глубоком безмолвии. Подойдя ближе к утесу, мы удивились, каким образом это существо могло взобраться на вышину почти по голым отвесным стенам. Почтальон на наши вопросы отвечал, что этот утес с некоторого времени служит обиталищем черному человеку, а в околдке говорили, что этот черный человек сходит редко с утеса, и только за пищею, потом снова возвращается на утес и по целым дням или бродит печально между камнями, или сидит недвижим, как статуя.

Сей рассказ возбудил наше любопытство. Почтальон указал нам узкую лестницу, которая вела на вершину. Мы дали ему несколько денег, чтобы заставить его ожидать нас спокойнее, и через несколько минут были уже на утесе.

Странная картина нам представилась. Утес был усеян обломками камней, имевшими вид развалин. Иногда причудливая рука природы или древнее незапамятное искусство растягивали их длинною чертою, в виде стены, иногда сбрасывали в груды обвалившегося

⁵⁸ Гумбольд. *Vues des Cordilleres*. — В 1799–1804 гг. Александр Гумбольдт совершил путешествие по Америке, которое называют "вторым — научным открытием Америки". Результатом этого путешествия было сочинение в 30 томах с общим названием "*Voyage dans les regions equinoxiales du nouveau continent*" (Путешествие в экваториальные области нового континента — франц.), 1807–1833. Часть этого сочинения, в котором давалась общая картина природы и климата Америки, называлась "*Vues des Cordilleres*".

свода. В некоторых местах обманутое воображение видело подобие перистилей⁵⁹; юные деревья в разных направлениях выказывались из-за обломков; повилика пробивалась между расселин и довершала очарование.

Шорох листьев заставил черного человека обернуться. Он встал, оперся на камень, имевший вид пьедестала, и смотрел на нас с некоторым удивлением, но без досады. Вид незнакомца был строг и величествен: в глубоких впадинах горели черные большие глаза; брови были наклонены, как у человека, привыкшего к беспрестанному размышлению; стан незнакомца казался еще величавее от черной епанчи, которая живописно струилась по левому плечу его и ниспадала на землю.

Мы старались извиниться, что нарушили его уединение... — Правда... сказал незнакомец после некоторого молчания, — я здесь редко вижу посетителей; люди живут, люди проходят... разительные зрелища остаются в стороне, люди идут дальше, дальше — пока сами не обратятся в печальное зрелище...

— Не мудрено, что вас мало посещают, — возразил один из нас, чтоб завести разговор, — это место так уныло, — оно похоже на кладбище.

— На кладбище... — прервал незнакомец, — да, это правда! — прибавил он горько. — Это правда — здесь могилы многих мыслей, многих чувств, многих воспоминаний...

— Вы верно потеряли кого-нибудь, очень дорогого вашему сердцу? продолжал мой товарищ.

Незнакомец взглянул на него быстро; в глазах его выразилось удивление.

— Да, сударь, — отвечал он, — я потерял самое драгоценное в жизни — я потерял отчизну...

— Отчизну?..

— Да, отчизну! вы видите ее развалины. Здесь, на самом этом месте, некогда волновались страсти, горела мысль, блестящие чертоги возносились к небу, сила искусства приводила природу в недоумение... Теперь остались одни камни, заросшие травой, — бедная отчизна! я предвидел твое падение, я стонал на твоих распутиях: ты не услышала моего стоны... и мне суждено было пережить тебя. — Незнакомец бросился на камень, скрывая лицо свое... Вдруг он вспрынул и старался оттолкнуть от себя камень, служивший ему подпорою.

— Опять ты предо мною, — вскричал он, — ты, вина всех бедствий моей отчизны, — прочь — прочь — мои слезы не согреют тебя, столб безжизненный... слезы бесполезны... бесполезны?.. не правда ли?.. — Незнакомец захохотал.

Желая дать другой оборот его мыслям, которые с каждой минутой становились для нас непонятнее, мой товарищ спросил незнакомца, как называлась страна, посреди развалин которой мы находились?

— У этой страны нет имени — она недостойна его; некогда она носила имя — имя громкое, славное, но она втоптала его в землю; годы засыпали его прахом; мне не позволено снимать завесу с этого таинства...

— Позвольте вас спросить, — продолжал мой товарищ, — неужели ни на одной карте не означена страна, о которой вы говорите?.. Этот вопрос, казалось, поразил незнакомца...

— Даже на карте... — повторил он после некоторого молчания, — да, это может быть... это должно так быть; так... посреди бесчисленных переворотов, потрясавших Европу в последние веки, легко может статься, что никто и не обратил внимание на небольшую колонию, поселившуюся на этом неприступном утесе; она успела образоваться, процветать и... погибнуть, незамеченная историками... но, впрочем... позвольте... это не то... она и не должна была быть замеченною; скорбь смешивает мои мысли, и ваши вопросы меня смущают... Если хотите... я вам расскажу историю этой страны по порядку... это мне будет легче... одно будет напоминать другое... только не перерывайте меня...

⁵⁹ Перистиль (греч.) — крытая галерея с колоннами, примыкающая к стене здания.

Незнакомец облокотился на пьедестал, как будто на кафедру, и с важным видом оратора начал так:

"Давно, давно — в XVIII столетии — все умы были взволнованы теориями общественного устройства; везде спорили о причинах упадка и благоденствия государств: и на площади, и на университетских диспутах, и в спальне красавиц, и в комментариях к древним писателям, и на поле битвы.

Тогда один молодой человек в Европе был озарен новою, оригинальною мыслию. Нас окружают, говорил он, тысячи мнений, тысячи теорий; все они имеют одну цель — благоденствие общества, и все противоречат друг другу. Посмотрим, нет ли чего-нибудь общего всем этим мнениям? Говорят о правах человека, о должностях: но что может заставить человека не переступить границ своего права? что может заставить человека свято хранить свою должность? одно — собственная его польза! Тщетно вы будете ослаблять права человека, когда к сохранению их влечет его собственная польза; тщетно вы будете доказывать ему святость его долга, когда он в противоречии с его пользою. Да, польза есть существенный двигатель всех действий человека! Что бесполезно — то вредно, что полезно — то позволено. Вот единственное твердое основание общества! Польза и одна польза — да будет вашим и первым и последним законом! Пусть из нее происходит будут все ваши постановления, ваши занятия, ваши нравы; пусть польза заменит шаткие основания так называемой совести, так называемого врожденного чувства, все поэтические бредни, все вымыслы филантропов — и общество достигнет прочного благоденствия.

Так говорил молодой человек в кругу своих товарищей, — и это был — мне не нужно называть его — это был Бентам.

Блистательные выводы, построенные на столь твердом, положительном основании, воспламенили многих. Посреди старого общества нельзя было привести в исполнение обширную систему Бентама: тому противились и старые люди, и старые книги, и старые поверья. Эмиграции были в моде. Богачи, художники, купцы, ремесленники обратили свое внимание в деньги, запаслись земледельческими орудиями, машинами, математическими инструментами, сели на корабль и пустились отыскивать какой-нибудь незанятый уголок мира, где спокойно, вдали от мечтателей, можно было бы осуществить блистательную систему.

В это время гора, на которой мы теперь находимся, была окружена со всех сторон морем. Я еще помню, когда паруса наших кораблей развевались в гавани. Неприступное положение этого острова понравилось нашим путешественникам. Они бросили якорь, вышли на берег, не нашли на нем ни одного жителя и заняли землю по праву первого приобретателя.

Все, составлявшие эту колонию, были люди более или менее образованные, одаренные любовью к наукам и искусствам, отличавшиеся изысканностию вкуса, привычкою к изящным наслаждениям. Скоро земля была возделана; огромные здания, как бы сами собою, поднялись из нее; в них соединились все прихоти, все удобства жизни; машины, фабрики, библиотеки, все явилось с невыразимою быстротою. Избранный в правители лучший друг Бентама все двигал своею сильною волею и своим светлым умом. Замечал ли он где-нибудь малейшее ослабление, малейшую нерадивость — он произносил заветное слово: польза — и все по-прежнему приходило в порядок, поднимались ленивые руки, воспламенялась погасавшая воля; словом, колония процветала. Проникнутые признательностию к виновнику своего благоденствия, обитатели счастливого острова на главной площади своей воздвигнули колоссальную статую Бентама и на пьедестале золотыми буквами начертали: польза. Так протекли долгие годы. Ничто не нарушало спокойствия и наслаждений счастливого острова. В самом начале возродился было спор по предмету довольно важному. Некоторые из первых колонистов, привыкшие к вере отцов своих, находили необходимым устроить храм для жителей. Разумеется, что тотчас же возродился вопрос: полезно ли это? и многие утверждали, что храм не есть какое-либо мануфактурное заведение и что, следовательно, не может приносить никакой ощутительной пользы. Но первые возражали, что

храм необходим для того, дабы проповедники могли беспрестанно напоминать обитателям, что польза есть единственное основание нравственности и единственный закон для всех действий человека. С этим все согласились — и храм был устроен.

Колония процветала. Общая деятельность превосходила всякое вероятие. С раннего утра жители всех сословий поднимались с постели, боясь потерять понапрасну и малейшую частицу времени, — и всякий принимался за свое дело: один трудился над машиной, другой взрывал новую землю, третий пускал в рост деньги — едва успевали обедать. В обществах был один разговор — о том, из чего можно извлечь себе пользу? Появилось множество книг по сему предмету что я говорю? одни такого рода книги и выходили. Девушка вместо романа читала трактат о прядильной фабрике; мальчик лет двенадцати уже начинал откладывать деньги на составление капитала для торговых оборотов. В семействах не было ни бесполезных шуток, ни бесполезных рассеяний, — каждая минута дня была разочтена, каждый поступок взвешен, и ничто даром не терялось. У нас не было минуты спокойствия, не было минуты того, что другие называли самонаслаждением, — жизнь беспрестанно двигалась, вертелась, трещала.

Некоторые из художников предложили устроить театр. Другие находили такое заведение совершенно бесполезным. Спор долго длился — но наконец решили, что театр может быть полезным заведением, если все представления на нем будут иметь целью доказать, что польза есть источник всех добродетелей и что бесполезное есть главная вина всех бедствий человечества. На этом условии театр был устроен.

Возникали многие подобные споры; но как государством управляли люди, обладавшие бентамовою неотразимою диалектикою, то скоро прекращались ко всеобщему удовольствию. Согласие не нарушалось — колония процветала!

Восхищенные своим успехом, колонисты положили на вечные времена не переменять своих узаконений, как признанных на опыте последним совершенством, до которого человек может достигнуть. Колония процветала.

Так снова протекли долгие годы. Невдалеке от нас, также на необитаемом острове, поселилась другая колония. Она состояла из людей простых, из земледельцев, которые поселились тут не для осуществления какой-либо системы, но просто чтоб снискивать себе пропитание. То, что у нас производили энтузиазм и правила, которые мы сосали с молоком матерним, то у наших соседей производилось необходимостью жить и трудом безотчетным, но постоянным. Их нивы, луга были разработаны, и возвышенная искусством земля сторицею вознаграждала труд человека.

Эта соседняя колония показалась нам весьма удобным местом для так называемой эксплуатации; {* К счастью, это слово в сем смысле еще не существует в русском языке; его можно перевести: наживка на счет ближнего.} мы завели с нею торговые сношения, но, руководствуясь словом польза, мы не считали за нужное щадить наших соседей; мы задерживали разными хитростями провоз к ним необходимых вещей и потом продавали им свои втридорога; многие из нас, оградясь всеми законными формами, предприняли против соседей весьма удачные банкротства, от которых у них упали фабрики, что послужило в пользу нашим; мы ссорили наших соседей с другими колониями, помогали им в этих случаях деньгами, которые, разумеется, возвращались нам сторицею; мы завлекали их в биржевую игру и посредством искусных оборотов были постоянно в выигрыше; наши агенты жили у соседей безвыходно и всеми средствами: лестию, коварством, деньгами, угрозами — постоянно распространяли нашу монополию. Все наши богатели — колония процветала.

Когда соседи вполне разорились благодаря нашей мудрой, основательной политике, правители наши, собравши выборных людей, предложили им на разрешение вопрос: не будет ли полезно для нашей колонии уже совсем приобрести землю наших ослабевших соседей? Все отвечали утвердительно. За сим следовали другие вопросы: как приобрести эту землю, деньгами или силою? На этот вопрос отвечали, что сначала надобно испытать деньгами; а если это средство не удастся, то употребить силу. Некоторые из членов совета хотя и соглашались, что народонаселение нашей колонии требовало новой земли, но что,

может быть, было бы согласно более с справедливостью занять какой-либо другой необитаемый остров, нежели посягать на чужую собственность. Но эти люди были признаны за вредных мечтателей, за идеологов: им доказано было посредством математической выкладки, во сколько раз более выгод может принести земля уже обработанная в сравнении с землею, до которой еще не прикасалась рука человека. Решено было отправить к нашим соседям предложение об уступке нам земли их за известную сумму. Соседи не согласились... Тогда, приведя в торговый баланс издержки на войну с выгодами, которые можно было извлечь из земли наших соседей, мы напали на них вооруженною рукою, уничтожили все, что противопоставляло нам какое-либо сопротивление; остальных принудили откочевать в дальние страны, а сами вступили в обладание островом.

Так, по мере надобности, поступали мы и в других случаях. Несчастные обитатели окружных земель, казалось, разработывали их для того только, чтоб сделаться нашими жертвами. Имея беспрестанно в виду одну собственную пользу, мы почитали против наших соседей все средства дозволенными: и политические хитрости, и обман, и подкупы. Мы по-прежнему ссорили соседей между собою, чтоб уменьшить их силы; поддерживали слабых, чтоб противопоставить их сильным; нападали на сильных, чтоб восстановить против них слабых. Мало-помалу все окружные колонии, одна за другою, подпали под нашу власть и Бентамия сделалась государством грозным и сильным. Мы величали себя похвалами за наши великие подвиги и нашим детям поставляли в пример тех достославных мужей, которые оружием, а тем паче обманом обогатили нашу колонию. Колония процветала.

Снова протекли долгие годы. Вскоре за покоренными соседями мы встретили других, которых покорение было не столь удобно. Тогда возникли у нас споры. Пограничные города нашего государства, получавшие важные выгоды от торговли с иностранцами, находили полезным, быть с ними в мире. Напротив, жители внутренних городов, стесненные в малом пространстве, жаждали расширения пределов государства и находили весьма полезным затеять ссору с соседями, хоть для того, чтоб избавиться от излишка своего народонаселения. Голоса разделились. Обе стороны говорили об одном и том же: об общей пользе, не замечая того, что каждая сторона под этим словом понимала лишь свою собственную. Были еще другие, которые, желая предупредить эту распрю, заводили речь о самоотвержении, о взаимных уступках, о необходимости пожертвовать что-либо в настоящем для блага будущих поколений. Этих людей обе стороны засыпали неопровержимыми математическими выкладками; этих людей обе стороны назвали вредными мечтателями, идеологами; и государство распалось на две части: одна из них объявила войну иностранцам, другая заключила с ними торговый трактат. {[* Американский республиканский журнал "Tribune" (из коего отрывок напеч в "Сев пчеле", 1861, сент 21, № 209, стр. 859, кол. 4), исчисляя следствие торжества ультра-демократической партии, говорит: "один штат немедленно объявит недействительным тариф союза, другой воспротивится военным налогам, третий не позволит ходить в своих пределах почте; вследствие всего этого союз придет в полное расстройство".]}

Это раздробление государства сильно подействовало на его благоденствие. Нужда оказалась во всех классах; должно было отказать себе в некоторых удобствах жизни, обратившихся в привычку. Это показалось нестерпимым. Соревнование произвело новую промышленную деятельность, новое изыскание средств для приобретения прежнего достатка. Несмотря на все усилия, бентамиты не могли возвратить в свои дома прежней роскоши — и на то были многие причины. При так называемом благородном соревновании, при усиленной деятельности всех и каждого, между отдельными городами часто происходило то же, что между двумя частями государства. Противоположные выгоды встречались; один не хотел уступить другому: для одного города нужен был канал, для другого железная дорога; для одного в одном направлении, для другого в другом. Между тем банкирские операции продолжались, но, сжатые в тесном пространстве, они необходимо, по естественному ходу вещей, должны были обратиться уже не на соседей, а на самих бентамитов; и торговцы, следуя нашему высокому началу — польза, принялись спокойно

наживаться банкротствами, благоразумно задерживать предметы, на которые было требование, чтоб потом продавать их дорогою ценою; с основательностью заниматься биржевою игрою; под видом неограниченной, так называемой священной свободы торговли учреждать монополию. Одни разбогатели — другие разорились. Между тем никто не хотел пожертвовать частью своих выгод для общих, когда эти последние не доставляли ему непосредственной пользы; и каналы засорялись; дороги не оканчивались по недостатку общего содействия; фабрики, заводы упали; библиотеки были распроданы; театры закрылись. Нужда увеличивалась и поражала равно всех, богатых и бедных. Она раздражала сердца; от упреков доходили до распрей; обнажались мечи, кровь лилась, восставала страна на страну, одно поселение на другое; земля оставалась незасеянною; богатая жатва истреблялась врагом; отец семейства, ремесленник, купец отрывались от своих мирных занятий; с тем вместе общие страдания увеличились.

В этих внешних и междуусобных бранях, которые то прекращались на время, то вспыхивали с новым ожесточением, протекло еще много лет. От общих и частных скорбей общим чувством сделалось общее уныние. Истощенные долгой борьбою, люди предались бездействию. Никто не хотел ничего предпринимать для будущего. Все чувства, все мысли, все побуждения человека ограничились настоящей минутой. Отец семейства возвращался в дом скучный, печальный. Его не тешили ни ласки жены, ни умственное развитие детей. Воспитание казалось излишним. Одно считалось нужным — правдою или неправдою добыть себе несколько вещественных выгод. Этому искусству отцы боялись учить детей своих, чтоб не дать им оружия против самих себя; да и было бы излишним; юный бентамит с ранних лет, из древних преданий, из рассказов матери научался одной науке: избегать законов божеских и человеческих и смотреть на них лишь как на одно из средств извлекать себе какую-нибудь выгоду. Нечему было оживить борьбу человека; нечему было утешить его в скорби. Божественный, одушевляющий язык поэзии был недоступен бентамиту. Великие явления природы не погружали его в ту беспечную думу, которая отторгает человека от земной скорби. Мать не умела завести песни над колыбелью младенца. Естественная поэтическая стихия издавна была умерщвлена корыстными расчетами пользы. Смерть этой стихии заразила все другие стихии человеческой природы; все отвлеченные, общие мысли, связывающие людей между собою, показались бредом; книги, знания, законы нравственности — бесполезною роскошью. От прежних славных времен осталось только одно слово — польза; но и то получило смысл неопределенный: его всякий толковал по-своему.

Вскоре раздоры возникли внутри самого главного нашего города. В его окрестностях находились богатые рудники каменного угля. Владельцы этих рудников получали от них богатый доход. Но от долгого времени и углубления копей они наполнились водой. Добывание угля сделалось трудным. Владельцы рудников возвысили на него цену. Остальные жители внутри города по дороговизне не могли более иметь этот необходимый материал в достаточном количестве. Наступила зима; недостаток в уголье сделался еще более ощутительным. Бедные прибегнули к правительству. Правительство предложило средства вывести воду из рудников и тем облегчить добывание угля. Богатые воспротивились, доказывая неопровержимыми выкладками, что им выгоднее продавать малое количество за дорогую цену, нежели остановить работу для осушения копей. Начались споры, и кончилось тем, что толпа бедняков, дрожавших от холода, бросилась на рудники и овладела ими, доказывая с своей стороны также неопровержимо, что им гораздо выгоднее брать уголь даром, нежели платить за него деньги.

Подобные явления повторялись беспрестанно. Они наводили сильное беспокойство на всех обитателей города, не оставляли их ни на площади, ни под домашним кровом. Все видели общее бедствие — и никто не знал, как пособить ему. Наконец, отыскивая повсюду вину своих несчастий, они вздумали, что причина находится в правительстве, ибо оно, хотя изредка, в своих возваниях напоминало о необходимости помогать друг другу, жертвовать своею пользою пользе общей. Но уже все возвания были поздны; все понятия в обществе

перемешались; слова переменили значение; самая общая польза казалась уже мечтою; эгоизм был единственным, святым правилом жизни; безумцы обвиняли своих правителей в ужаснейшем преступлении — в поэзии. "Зачем нам эти философические толкования о добродетели, о самоотвержении, о гражданской доблести? какие они приносят проценты? Помогите нашим существенным, положительным нуждам!" — кричали несчастные, не зная, что существенное зло было в их собственном сердце. "Зачем, — говорили купцы, — нам эти ученые и философы? им ли править городом? Мы занимаемся настоящим делом; мы получаем деньги, мы платим, мы покупаем произведения земли, мы продаем их, мы приносим существенную пользу: мы должны быть правителями!" И все, в ком нашлась хотя искра божественного огня, были, как вредные мечтатели, изгнаны из города. Купцы сделали правителями, и правление обратилось в компанию на акциях. Исчезли все великие предприятия, которые не могли непосредственно принести какую-либо выгоду или которых цель неясно представлялась ограниченному, корыстному взгляду торговцев. Государственная пронизательность, мудрое предведение, исправление нравов — все, что не было направлено прямо к коммерческой цели, словом, что не могло приносить процентов, было названо — мечтами. Банкирский феодализм торжествовал. Науки и искусства замолкли совершенно; не являлось новых открытий, изобретений, усовершенствований. Умножившееся народонаселение требовало новых сил промышленности; а промышленность тянулась по старинной, избитой колее и не отвечала возрастающим нуждам.

Предстали пред человека неожиданные, разрушительные явления природы: бури, тлетворные ветры, мор, голод... униженный человек преклонял пред ними главу свою, а природа, не обузданная его властью, уничтожала одним дуновением плоды его прежних усилий. Все силы дряхлели в человеке. Даже честолюбивые замыслы, которые могли бы в будущем усилить торговую деятельность, но в настоящем расстроивали выгоды купцов-правителей, были названы предрассудками. Обман, подлоги, умышленное банкротство, полное презрение к достоинству человека, боготворение злата, угождение самым грубым требованиям плоти — стали делом явным, дозволенным, необходимым. Религия сделалась предметом совершенно посторонним; нравственность заключилась в подведении исправных итогов; умственные занятия — изыскание средств обманывать без потери кредита; поэзия — баланс приходорасходной книги; музыка — однообразная стукотня машин; живопись — черчение моделей. Нечему было подкрепить, возбудить, утешить человека; негде было ему забыться хоть на мгновение. Тайнственные источники духа иссякли; какая-то жажда томила, а люди не знали, как и назвать ее. Общие страдания увеличились.

В это время на площади одного из городов нашего государства явился человек, бледный, с распущенными волосами, в погребальной одежде. "Горе, восклицал он, посыпая прахом главу свою, — горе тебе, страна нечестия; ты избила своих пророков, и твои пророки замолкли! Горе тебе! Смотри, на высоком небе уже собираются грозные тучи; или ты не боишься, что огонь небесный ниспадет на тебя и пожжет твои веси и нивы? Или спасут тебя твои мраморные чертоги, роскошная одежда, груды злата, толпы рабов, твое лицемерие и коварство? Ты растлила свою душу, ты отдала свое сердце в куплю и забыла все великое и святое; ты смешала значение слов и назвала златом добро, добром — злато, коварство — умом и ум — коварством; ты презрела любовь, ты презрела науку ума и науку сердца. Падут твои чертоги, порвется твоя одежда, травкою порастут твои стогны, и имя твое будет забыто. Я, последний из твоих пророков, взываю к тебе: брось куплю и злато, ложь и нечестие, оживи мысли ума я чувства сердца, преклони колени не пред алтарями кумиров, но пред алтарем бескорыстной любви... Но я слышу голос твоего огрубелого сердца; слова мои тщетно ударяют в слух твой: ты не покаешься проклиная тебя!" С этими словами говоривший упал ниц на землю. Полиция раздвинула толпу любопытных и отвела несчастного в сумасшедший дом. Через несколько дней жители нашего города в самом деле были поражены ужасною грозой. Казалось, все небо было в пламени; тучи разрывались светло-синиею молниєю; удары грома следовали один за другим непрерывно; деревья

вырывало с корнем; многие здания в нашем городе были разбиты громовыми стрелами. Но больше несчастий не было; только чрез несколько времени в "Прейскуранте", единственной газете, у нас издававшейся, мы прочли следующую статью:

"Мылом тихо. На партии бумажных чулок делают двадцать процентов уступки. Выбойка требуется.

P. S. Спешим уведомить наших читателей, что бывшая за две недели гроза нанесла ужасное повреждение на сто миль в окружности нашего города. Многие города сгорели от молнии. К довершению бедствий, в соседственной горе образовался вулкан; истекшая из него лава истребила то, что было пощажено грозой. Тысячи жителей лишились жизни. К счастью остальных, застывшая лава представила им новый источник промышленности. Они отламывают разноцветные куски лавы и обращают их в кольца, серьги и другие украшения. Мы советуем нашим читателям воспользоваться несчастным положением сих промышленников. По необходимости они продают свои произведения почти задаром, а известно, что все вещи, делаемые из лавы, могут быть перепроданы с большою выгодною и проч...".

Наш незнакомец остановился. "Что вам рассказывать более? Недолго могла продлиться наша искусственная жизнь, составленная из купеческих оборотов.

Протекло несколько столетий. За купцами пришли ремесленники. "Зачем, кричали они, — нам этих людей, которые пользуются нашими трудами и, спокойно сидя за своим столом, наживаются? Мы работаем в поте лица; мы знаем труд; без нас они бы не могли существовать. Ми приносим существенную пользу городу — мы должны быть правителями!" И все, в ком таилось хоть какое-либо общее понятие о предметах, были изгнаны из города; ремесленники сделались правителями — и правление обратилось в мастерскую. Исчезла торговая деятельность; ремесленные произведения наполнили рынки; не было центров сбыта; пути сообщения пресеклись от невежества правителей; искусство оборачивать капиталы утратилось; деньги сделались редкостью. Общие страдания умножились.

За ремесленниками пришли землепашцы. "Зачем, — кричали они, — нам этих людей, которые занимаются безделками — и, сидя под теплою кровлею, съедают хлеб, который мы вырабатываем в поте лица, ночью и днем, в холоде и в зное? Что бы они стали делать, если бы мы не кормили их своими трудами? Мы приносим существенную пользу городу; мы знаем его первые, необходимые нужды — мы должны быть правителями". И все, кто только имел руку, не привыкшую к грубой земляной работе, все были изгнаны вон из города.

Подобные явления происходили с некоторыми изменениями и в других городах нашей земли. Изгнанные из одной страны, приходя в другую, находили минутное убежище; но ожесточившаяся нужда заставляла их искать нового. Гонимые из края в край, они собирались толпами и вооруженною рукою добывали себе пропитание. Нивы истаптывались конями; жатва истреблялась прежде созрения. Земледельцы принуждены были, для охранения себя от набегов, оставить свои занятия. Небольшая часть земли засеивалась и, обрабатываемая среди тревог и беспокойств, приносила плод необильный. Предоставленная самой себе, без пособий искусства, она зарастала дикими травами, кустарником или заносилась морским песком. Некому было указать на могущественные пособия науки, долженствовавшие предупредить общие бедствия. Голод, со всеми его ужасами, бурною рекою разлился по стране нашей. Брат убивал брата остатком плуга и из окровавленных рук вырывал скудную пищу. Великолепные здания в нашем городе давно уже опустели; бесполезные корабли сгнивали в пристани. И странно и страшно было видеть возле мраморных чертогов, говоривших о прежнем величии, необузданную, грубую толпу, в буйном разврате спорившую или о власти, или о дневном пропитании! Землетрясения довершили начатое людьми: они опрокинули все памятники древних времен, засыпали пеплом; время заволокло их травой. От древних воспоминаний остался лишь один четверугольный камень, на котором некогда возвышалась статуя Бентама. Жители удалились в леса, где ловля зверей представляла им возможность снискивать себе

пропитание. Разлученные друг от друга, семейства дичали; с каждым поколением терялась часть воспоминаний о прошедшем. Наконец, горе! я видел последних потомков нашей славной колонии, как они в суеверном страхе преклоняли колени перед пьедесталом статуи Бентама, принимая его за древнее божество, и приносили ему в жертву пленников, захваченных в битве с другими, столь же дикими племенами. Когда я, указывая им на развалины их отчизны, спрашивал: какой народ оставил по себе эти воспоминания? — они смотрели на меня с удивлением и не понимали моего вопроса. Наконец погибли и последние остатки нашей колонии, удрученные голодом, болезнями или истребленные хищными зверями. От всей отчизны остался этот безжизненный камень, и один я над ним плачу и проклинаю. Вы, жители других стран, вы, поклонники злата и плоти, поведайте свету повесть о моей несчастной отчизне... а теперь удалитесь и не мешайте моим рыданиям".

Незнакомец с ожесточением схватился за четвероугольный камень и, казалось, всеми силами старался повергнуть его на землю...

Мы удалились.

Приехав на другую станцию, мы старались от трактирщика собрать какие-либо сведения о говорившем с нами отшельнике.

— О! — отвечал нам трактирщик. — Мы знаем его. Несколько времени тому назад он объявил желание сказать проповедь на одном из наших митингов (meetings). Мы все обрадовались, особенно наши жены, и собрались послушать проповедника, думая, что он человек порядочный; а он с первых слов начал нас бранить, доказывать, что мы самый безнравственный народ в целом свете, что банкротство есть вещь самая бессовестная, что человек не должен думать беспрестанно об увеличении своего богатства, что мы непременно должны погибнуть... и прочие, тому подобные, предосудительные вещи. Наше самолюбие не могло стерпеть такой обиды национальному характеру — и мы выгнали оратора за двери. Это его, кажется, тронуло за живое; он помешался, скитается из стороны в сторону, останавливает проходящих и каждому читает отрывки из сочиненной им для нас проповеди.

* * *

— Ну, что? как вам нравится эта история? — спросил Фауст, окончив чтение.

— Я не понимаю, что эти господа хотели доказать своей историей, сказал Вячеслав.

— Доказать? решительно ничего! Вы знаете, при химических опытах наблюдатели имеют обыкновение вести журнал всего, что ни заметят они при производстве опыта; не имея еще в виду ничего доказывать, они записывают каждый факт, истинный или обманчивый...

— Да какой тут факт! — вскричал Виктор. — Такого факта никогда не бывало...

Фауст. Для моих духоиспытателей фактом было — символическое прозрение в происшествии такой эпохи, которая по естественному ходу вещей должна бы непременно образоваться, если б благое провидение не лишило людей способности вполне приводить в исполнение свои мысли и если бы для счастья самого человечества каждая мысль не была останавливаема в своем развитии другою — ложною или истинною, все равно, — но которая, как поплавок, мешает крючку (при помощи которого кто-то забавляется над нами) погрузиться на дно и поднять всю тину. Впрочем, несмотря на все препятствия, которые человечество находит для полного развития мысли одного кого-либо из своих членов, нельзя однако же не сознаться, что банкирский феодализм на Западе не попал прямо на дорогу бентамитов; а на другом полушарии есть страна, которая, кажется, пошла и дальше по этой дороге; там уже дуэли не на языке, не на шпагах, а просто — на зубах сделались вещию обыкновенною.

Вячеслав. Все это очень хорошо, но я не вижу цели всего этого. Что хотят доказать или, пожалуй, что заметили эти господа? Что единственно материальная польза не может быть целью общества, ни служить основанием для его законов, — я бы желал знать: как бы они

обошлись без этой пользы; по их системе не нужно заботиться ни о дровах, ни о скоте, ни о платье...

Фауст. Кто говорит об этом? все то благо, все добро! но вопрос не в том, и напрасно экономы-материалисты хотят затемнить его. — Объяснюсь примером не совсем благоуханным; но для вас, утилитариев, ведь это все равно; всякий предмет, по-вашему, имеет право существовать, потому что существует. Те люди, которые вывозят всякий сор и нечистоту из города, приносят ему важную пользу: они спасают город от неприятного запаха, от заразных болезней, — без их пособия город не мог бы существовать; вот, без сомнения, люди в высшей степени полезные, — не так ли?

Виктор. Согласен.

Фауст. Что, если бы эти люди, гордые своими смрадными подвигами, потребовали первого места в обществе и сочли бы себя в праве назначить ему цель и управлять его действиями?

Виктор. Этого никогда не может случиться.

Фауст. Неправда, — оно в очью совершается, только в другой сфере: господа экономисты-утилитарии, взясь единственно над вещественными рычагами, также роются лишь в том соре, который застилает для них настоящую цель и природу человечества, и ради своих смрадных подвигов, вместе с банкирами, откупщиками, ажиотерами, торговцами и проч., почитают себя в праве занимать первое место в человеческом роде, предписывать ему законы и указывать цель его. — В их руках и земля, и море, и золото, и корабли со всех сторон света; кажется, они все могут доставить человеку, — а человек недоволен, существование его неполно, потребности его не удовлетворены, и он ищет чего-то, что не вносится в бухгалтерскую книгу.

Виктор. Так уже не поэтам ли поручить это пело?

Фауст. Поэты со времени Платона выгнаны из города⁶⁰; они любят венками, которыми их увенчали; сидя на пригорке и смотря на город, они не могут надивиться, отчего все движется в городе с восхождением солнца и все замирает, когда оно зашло; да иногда перечитывают речи умного Борка⁶¹ о благоденствии Индии под управлением торговой компании, которая, как говорил знаменитый оратор, "чеканила деньги из человеческого мяса". {* См. речи Борка в начале 1788 года.}

Виктор. Так выдумайте же, господа, новые законы для политической экономии, и посмотрим их на деле.

Фауст. Выдумать! выдумать законы! не знаю, господа, отчего вам такое дело кажется возможным; мне же кажется совершенно непонятным, чтобы нашлось такое существо, которое кто-нибудь отправил бы в мир на житье с поручением изобресть для того мира и для самого себя законы; ибо из сего должно было бы заключить, что у того мира нет никаких законов для существования, т. е. что он существует не существуя; я думаю, что во всяком мире законы должны быть совсем готовые — стоит отыскать их. Впрочем, это дело не мое; я, как ученый, о котором упоминал Ростислав, замечаю только, что говорят другие, а сам ничего не говорю; однако ж мне сдается, что наибольшую роль играет во всей вселенной именно то, что менее осязаемо или что менее полезно. Прочтите у Каруса {* См. Carus "Grundziige d vergl Anatomie". Эта знаменитая книга, совершившая перелом в понятиях об организме, известна всякому естествоиспытателю; мы рекомендуем ее, а равно и другую того

⁶⁰ Поэзия, согласно Платону, "питает и укрепляет худшую сторону души и губит ее разумное начало", и потому поэта нельзя принять в "будущее благоустроенное государство" (см.: Платон. Государство. — Соч. в трех томах. Т. 3, ч. 1. М., 1971, с. 435 и след.).

⁶¹ Ворк Эдмонд (1729–1797) — английский политический деятель и писатель, уделявший много внимания проблемам Индии; автор внесенного в парламент билля об Ост-Индии, в котором содержалось требование передать управление Индией в руки ответственного комитета из 7 лиц, назначаемого палатой общин, а не королем.

же сочинителя: "System der Physiologie", Dresden, 1839 — поэтам и художникам, тем более что в этих книгах глубокая положительная ученость соединяется с тем поэтическим элементом, благодаря которому Карус умел соединить в себе качества физиолога первой величины, опытного врага, оригинального живописца и литератора.} ⁶² любопытные доказательства того, что все твердые части, как-то: мускулы, кости, суть произведения жидких частей, другими словами, остатки уже совершившегося организма. Даже, кажется, можно заметить эту постепенность в природе. Чем ниже мы спускаемся по степеням ее, тем, несмотря на наружную плотность, менее находим связи, крепости и силы; раздробите камень, он останется раздробленным; срежьте дерево — оно зарастет; рана животного исцелима; чем выше вы поднимаетесь в сферу предметов, тем более находите силы; вода слабее камня, пар, кажется, слабее воды, газ слабее пара, а между тем сила этих деятелей увеличивается по мере их видимой слабости. Поднимаясь еще выше, мы находим электричество, магнетизм — неосозаемые, неисчислимы, не производящие никакой непосредственной пользы, — а между тем они-то и движут и держат в гармонии всю физическую природу. Мне кажется, это порядочная указка для экономистов. Но уже поздно, господа, или, как говорит Шекспир, уже становится рано⁶³; завтра я покажу вам заметки наших искателей о тех странных символах в этом мире, которые называются поэтами, художниками и проч.

— Еще одно слово, — сказал Виктор, — вы, господа идеологи, летая по поднебесью, любите помыкать нами, бедными смертными, которые, как ты говоришь, роются в соре: нельзя ли не так решительно? — уж пускай Мальтус бог с ним; но Адам Смит, великий Адам Смит, отец всей политической экономии нашего времени, образовавший школу, прославленную именами Сэя, Рикардо⁶⁴, Сисмонди!⁶⁵ не слишком ли резко обвинить его в явной нелепости, а с ним и целые два поколения. Неужели на род человеческий нашло такое ослепление, что в продолжение полустолетия никто не заметил этой нелепости?

Фауст. — Никто? Нет, я следую совету Гете: {* "Wilhelm Meisters Wanderjahre".} я хвалю без зазрения совести⁶⁶; но когда я принужден порицать кого-нибудь, то всегда стараюсь поддержать свое мнение каким-либо важным авторитетом. В начале нашего века жил человек по имени Мельхиор Жиойа, ⁶⁷ о котором английские и французские экономисты упоминают в истории науки, для очистки совести, хотя, верно, никто из них не

⁶² Карус Карл Густав (1789–1869) — немецкий естествоиспытатель, последователь Шеллинга. Одоевский высоко ценил его и ставил рядом с Гете и Ломоносовым. В рецензии на книгу Каруса "Основания краниоскопии" Одоевский писал: "Признаемся, мы, с своей стороны, видим в Карусе, как в Гете (который также был и поэтом и естествоиспытателем) зарю будущей, новой науки..." (Отечественные записки, 1844, № 6, с. 80).

⁶³ Слова Капулетти из драмы Шекспир "Ромео и Джульетта" (акт III, сцена 4).

⁶⁴ Рикардо Давид (1772–1823) — английский экономист, представитель классической буржуазной политической экономии. Главное произведение Рикардо — "Начала политической экономии и налогового обложения" (1817). В своих произведениях стремился дать научный анализ капиталистического способа производства, считая при том капиталистические производственные отношения естественными в вечными.

⁶⁵ Сисмонди Жан (1773–1842) — швейцарский экономист и историк, представитель так называемого экономического романтизма. Выступал с утопическим проектом увековечения мелкой собственности посредством государственного урегулирования.

⁶⁶ В романе Гете "Странствия Вильгельма Мейстера" (кн. I, гл. 10) Друг дома говорит: "Loben tu ich ohne Bedenken" (Хвалить я готов без колебаний) (Goethes Werke. B. VIII. Weimar, 1962, S. 122).

⁶⁷ Имеется в виду Мельхиор Джойя (1767–1829), итальянский экономист, автор обширной политико-экономической энциклопедии "Nuovo prospetto delle scienze economiche etc." (1815–1817).

имел терпения прочесть около дюжины томов in 4^ь, написанных смиренным Мельхиором, — этот чудный подвиг глубокомыслия и учености. В 1816 году он приложил к своей книге {* См. "Nuovo prospetto delle scienze economiche", 6 v. in 4^ь, Milano, 1816, tomo V, parte sesta, p. 223. Stato della scienza.} таблицу, которую, не без иронии, назвал: "Настоящее состояние науки"; в этой таблице он свел разные так называемые аксиомы политической экономии Адама Смита и его последователей; из таблицы явствует, что эти господа просто самих себя не понимали, несмотря на обманчивую ясность, за которую они гонялись.

Так, например, Адам Смит, великий Адам Смит доказывает, что труд есть первоначальный и не первоначальный источник народного богатства; {* Adam Smith (франц. изд. 1802 года), t. I, p. 5 и t. IV, p. 507.}

что усовершенствование промышленности зависит вполне и не зависит от разделения работ; {* Ibidem, t. III, p. 543 и t. I, p. 17–18; t. I, p. 11 и t. II, p. 215–216.}

что разделение работ есть и не есть главнейшая причина народного богатства; {* Ibidem, t. I, p. 24–25 и t. I, p. 262–264; t. I, p. 29 и t. II, p. 370, 193, 326, 210; t. III, p. 323.}

что разделением работ возбуждается и не возбуждается дух изобретательности; {* Ibidem, t. I, p. 21–22; t. IV, p. 181–183.}

что сельская промышленность зависит и не зависит от других отраслей промышленности; {* Ibidem, t. II, p. 409–410 и t. II, p. 408.}

что земледелием доставляется и недоставляется наибольшая выгода для капиталов; {* Ibidem, t. II, p. 376–378, 407, 498 и t. I, p. 260–261; t. II, p. 401–402, 481, 483, 485, 486, 487, 413.}

что умственный труд есть и не есть сила производящая, т. е. умножающая народное богатство; {* Ibidem, t. II, p. 204–205; t. I, p. 213–214, 23, 262–265 и t. II, 312–313.}

что частный интерес лучше и хуже видит общественную пользу, нежели какое-либо правительственное лицо; {* Ibidem, t. V, p. 524, t. III, p. 60, 223, t. II, p. 344 и t. II, p. 161, 423–424, t. III, p. 492, t. II, p. 248, 289, t. I, p. 219–227.}

что частные выгоды купцов тесно связаны и вовсе не связаны с выгодами других членов общества. {* Ibidem, t. II, p. 161, t. III, p. 239, 208–209, 435, 54–55, 59 и t. III, p. 295, 145, 239, t. II, p. 164, 165, t. III, p. 465.}

Кажется, довольно? я брал из таблицы наудачу; а дело идет о важнейших аксиомах науки. Успех Адама Смита весьма понятен; главная цель его была доказать, что никто не должен вмешиваться в купеческие дела, а что должно их предоставить так называемому естественному ходу и благородному соревнованию. Можно себе представить восхищение английских торговцев, когда они узнали, что с профессорской кафедры им предоставляется право барышничать, откупать, по произволу возвышать и понижать цены и хитрой уловкой, без дальнего труда, выигрывать сто на один, — что во всем этом "они не только правы, чуть не святы"...⁶⁸ {* Крылов.} С того времени вошли в моду звонкие слова "обширность торговли", "важность торговли", "свобода торговли". При помощи последней клички теория Адама Смита пробралась во Францию и единственно по созвучию слов самый смысл их (если он есть) сделался там аксиомой: Адам Смит признан и глубоким философом, и благодетелем рода человеческого; за сим немногие читали его, и никто не понял, что он хотел сказать; но, несмотря на то, из темного запутанного лабиринта его мыслей вытекли многие поверья, ни на чем не основанные, ни к чему не годные, но которые льстили самым низким страстям человека и потому распространились в толпе с неимоверною быстротою. Так, благодаря Адаму Смицу и его последователям, ныне основательностью, делом — называется лишь то, что может способствовать купеческим оборотам; человеком основательным, дельным называется лишь тот, кто умеет увеличивать свои барыши, а под непонятным выражением естественное течение дел, — которого отнюдь не должно нарушать, — разумеются банкирские операции, денежный феодализм, ажиотерство,

⁶⁸ Цитата из басни Крылова "Мор зверей", впервые напечатанной в 1809 г.

биржевая игра и прочие тому подобные вещи.

— Следственно, — заметил Виктор, — политическая экономия, по-твоему, не существует?..

— Нет! — отвечал Фауст. — Она существует, она первая из наук, в ней, может быть, все науки некогда должны найти свою осязаемую опору, но только скажу тебе словами Гоголя: она существует — с другой стороны⁶⁹.

НОЧЬ ШЕСТАЯ

— Скажите мне, — сказал Ростислав, входя к Фаусту в обыкновенное время их бесед, — отчего и ты, и мы все любим полунощничать? отчего ночью внимание постоянное, мысли живее, душа разговорчивее?..

— На этот вопрос легко отвечать, — сказал Вячеслав, — общая тишина невольно располагает человека к размышлению...

Ростислав. Общая тишина? у нас? да настоящее движение в городе начинается лишь в десять часов вечера. И какое тут размышление? — Просто людей что-то тянет быть вместе; оттого все сборища, беседы, балы бывают ночью; как бы невольно человек отлагает до ночи свое соединение с другими; отчего так?

Виктор. Мне кажется, это объясняется одним из физиологических явлений: известно, что около полуночи в организме происходит род лихорадки, — а в этом состоянии все нервы возбуждены, и то, что мы принимаем за живость ума, за разговорчивость, есть не иное что, как следствие болезненного состояния, некоторого рода горячки...

Ростислав. Но ты не отвечаешь на мой вопрос: отчего это болезненное состояние, как ты говоришь, заставляет людей соединяться между собою?

Фауст. Если б я был из ученых, я бы тебе сказал с Шеллингом, что с незапамятной древности ночь почиталась старейшим из существ и что недаром наши предки славяне считали время ночами; {* См. небольшое, но изумительное по глубине и учености сочинение Шеллинга: "Ueber Gottheiten von Samothrace", p. 12. Stuttgart, 1815.} если б я был мистиком, я объяснил бы тебе это явление весьма просто. Видишь ли: ночь есть царство враждебной человеку силы; люди чувствуют это и, чтоб спастись от врага, соединяются, ищут друг в друге пособия: оттого ночью люди пугливее, оттого рассказы о привидениях, о злых духах ночью производят впечатление сильнее, нежели днем...

— И оттого люди, — прибавил смеясь Вячеслав, — по вечерам весьма прилежно стараются убить враждебную силу картами; а карселева лампа⁷⁰ разгоняет домовых...

— Ты не остановишь мистиков этой насмешкой, — возразил Фауст, — они будут отвечать тебе, что у враждебной силы две глубокие и хитрые мысли: первая — она старается всеми силами уверить человека, что она не существует, и потому внушает человеку все возможные средства забыть о ней; а вторая сравнить людей между собою как можно ближе, так сплотить их, чтобы не могла выставиться ни одна голова, ни одно сердце; карты есть одно из тех средств, которые враждебная сила употребляет для достижения своей двойной цели; ибо, во-первых, за картами нельзя ни о чем другом думать, кроме карт, и во-вторых, главное, за картами все равны: и начальник, и подчиненный, и красавец, и урод, и ученый, и невежда, и гений, и нуль, и умный человек, и глупец; нет никакого различия: последний глупец может обыграть первого философа в мире, и маленький чиновник большого вельможу. Представь себе наслаждение какого-нибудь нуля, когда он может обыграть

⁶⁹ В "Ревизоре" Городничий говорит Хлестакову: "Ведь вот относительно дороги: говорят, с одной стороны неприятности насчет задержки лошадей, а ведь с другой стороны развлечение для ума" (действие II, явл. VIII).

⁷⁰ Карселева лампа, или карсель — старинная лампа, снабженная особым механизмом для подъема масла.

Ньютона или сказать Лейбницу: "Да вы, сударь, не умеете играть; вы, г. Лейбниц, не умеете карт в руки взять". Это якобинизм в полной красоте своей. А между тем, и то выгодно для враждебной силы, что за картами, под видом невинного препровождения времени, поддерживаются потихоньку почти все порочные чувства человека: зависть, злоба, корыстолюбие, мщение, коварство, обман, — все в маленьком виде, но не менее того все-таки душа знакомится с ними, а это для враждебной силы очень, очень выгодно...

— Однако ж нельзя ли избавиться от мистицизма? — вскричал, наконец, Вячеслав, выведенный из терпения...

— С охотою, — отвечал Фауст.

— А все-таки мой вопрос остался неразрешенным, — заметил Ростислав...

Фауст. Ты знаешь мое неизменное убеждение, что человек если и может решить какой-либо вопрос, то никогда не может верно перевести его на обыкновенный язык. В этих случаях я всегда ищу какого-либо предмета во внешней природе, который бы по своей аналогии мог служить хотя приблизительным выражением мысли. Ты замечал ли, что задолго до заката солнечного, особливо па нашем северном небе, на конце горизонта, за дальними облаками, появляется багровая полоса, не похожая на вечернюю зарю, ибо в это время солнце еще светит во всем своем блеске: это часть утренней зари для жителей другого полушария. Стало быть, каждую минуту есть рассвет на земном шаре, чтоб каждую минуту часть его обитателей, как очередной часовой, восставала на стражу. Недаром так устроило провидение: может быть, это явление говорит нам внятно, что ни на одну минуту природа не должна воспользоваться сном человека, ибо действительно во время ночи все вредные влияния природы на организм человека усиливаются: растения не очищают воздуха, но портят его; роса получает вредное свойство; опытный медик преимущественно ночью наблюдает больного, ибо ночью всякая болезнь ожесточается. Может быть, нам надобно следовать примеру медика и наблюдать за нашей больною душою, как наблюдает он за больным телом, именно в ту минуту, когда организм наиболее подвержен вредным влияниям... Солнце благосклоннее к человеку: оно символ какого-то предпочтения в его пользу; оно прогоняет вредные туманы; оно заставляет грубое растение обрабатывать для человека жизненную часть воздуха; {* Известно, что зеленые части растения выдыхают кислород, но не иначе, как при солнечном свете.} оно бодрит сердце, и оттого, может быть, так сладок сон человека при восхождении солнца; он чует символ своего союзника и безмятежно засыпает под его теплым и светлым покровом...

Виктор. О, мечтатель! факты для тебя ничто. Разве от солнечного зноя не страждет человек подобно всем растениям?..

Фауст. Уверяю тебя, что мои факты вернее твоих, потому, может быть, что они менее осязаемы. Да! зной солнечный несносен для человека! Но в этом факте есть другой, а именно: солнце не действует на нас непосредственно, а чрез грубую атмосферу земли; воздухоплаватели, поднимаясь в верхние слои воздуха, не чувствовали солнечного зноя... это для меня важная указка: чем выше мы от земли, тем слабее на нас действует ее природа...

Виктор. Совершенная правда, и вот тому доказательство: за некоторым пределом атмосферы у воздухоплавателей шла кровь из ушей, дышать было им тяжело, и они дрогли от холода.

Ростислав. Для меня этот факт, кажется, выговаривает настоящую и трудную задачу человека: подниматься от земли, не оставляя ее...

Вячеслав. То есть, другими словами, надобно искать возможного — и не гоняться попусту за невозможным...

Фауст не отвечал ничего, но переменял разговор.

— Мы до света не переспорим друг друга, — сказал он, — а я ни за что, хотя вы и друзья мои, не уступлю вам моего сладкого утреннего сна; не приняться ли за рукопись? Надобно же дочитать ее.

Фауст начал: — По порядку номеров за "Экономистом" следует:

ПОСЛЕДНИЙ КВАРТЕТ БЕТХОВЕНА

Я был уверен, что Креспель помешался⁷¹. Профессор утверждал противное. "С некоторых людей, сказал он, — природа или особенные обстоятельства сорвали завесу, за которою мы потихоньку занимаемся разными сумасбродствами. Они похожи на тех насекомых, с коих анатомист снимает перепонку и тем обнажает движение их мускулов. Что в нас только мысль, то в Креспеле действие".

Гофман.

1827 года, весною, в одном из домов венского предместья несколько любителей музыки разыгрывали новый квартет Бетховена, только что вышедший из печати. С изумлением и досадою следовали они за безобразными порывами ослабевшего гения:⁷² так изменилось перо его! Исчезла прелесть оригинальной мелодии, полной поэтических замыслов; художническая отделка превратилась в кропотливый педантизм бездарного контрапунктиста; огонь, который прежде пылал в его быстрых аллегро и, постепенно усиливаясь, кипучею лавою разливался в полных, огромных созвучиях, — погас среди непонятных диссонансов, а оригинальные, шуточные темы веселых менуэтов превратились в скачки и трели, невозможные ни на каком инструменте. Везде ученическое, недостигающее стремление к эффектам, не существующим в музыке; везде какое-то темное, не понимающее себя чувство. И это был все тот же Бетховен, тот же, которого имя, вместе с именами Гайдна и Моцарта, тевтонец произносит с восторгом и гордостью! — Часто, приведенные в отчаяние бессмыслицею сочинения, музыканты бросали смычки и готовы были спросить: не насмешка ли это над творениями бессмертного? Одни приписывали упадок его глухоте, поразившей Бетховена в последние годы его жизни; другие — сумасшествию, также иногда омрачавшему его творческое дарование; у кого вырывалось суетное сожаление; а иной насмешник вспоминал, как Бетховен в концерте, где разыгрывали его последнюю симфонию, совсем не в такт размахивал руками, думая управлять оркестром и не замечая того, что позади его стоял настоящий капельмейстер; но они скоро снова принимались за смычки и из почтения к прежней славе знаменитого симфониста как бы против воли продолжали играть его непонятное произведение.

Вдруг дверь открылась и вошел человек в черном сюртуке, без галстука, с

⁷¹ Я был уверен, что Креспель помешался. — Слова эпитафии взяты (в сокращенном виде) из "Серапионовых братьев" Э. Т. А. Гофмана (1776–1822). Соответствующее место у Гофмана см.: Гофман Т. Собр. соч. Т. II. СПб., 1896, с. 36.

⁷² Эта и последующая характеристика последних квартетов Бетховена как плодов глухоты и безумия дается от лица героев-исполнителей, а не самого Одоевского, который ценил поздние квартеты Бетховена и в одной из статей, сравнивая Бетховена с Чацким, гневно обличал "Фамусовых музыкального мира", которыми Бетховен "был почтен сумасшедшим" (Одоевский В. Ф. Музыкально-литературное наследие. М., 1956, с. 114).

Это не значит, что Одоевский не был знаком с отрицательными суждениями о позднем Бетховене, принадлежавшими не "Фамусовым музыкального мира", а серьезным и уважаемым музыкантам. Так, известно, что в кружке Виельгорского, к которому был близок и Одоевский, А. Ф. Львов, участвовавший в исполнении одного из последних квартетов Бетховена, в раздражении швырнул на пол свою партию первой скрипки. В письме к Н. Я. Афанасьеву Львов писал: "...как вы, Н Я, не видите, что это писал сумасшедший?" (Афанасьев Н. Я. Воспоминания. — Исторический вестник, 1890, июль, с. 35).

растрепанными волосами; глаза его горели, — но то был огонь не дарования; лишь нависшие, резко обрезанные оконечности лба являли необыкновенное развитие музыкального органа, которым так восхищался Галль⁷³, рассматривая голову Моцарта. — "Извините, господа, — сказал нежданный гость, — позвольте посмотреть вашу квартиру — она отдается внаймы..." Потом он заложил руки на спину и приблизился к играющим. Присутствующие с почтением уступили ему место; он наклонил голову то на ту, то на другую сторону, стараясь вслушаться в музыку; но тщетно: слезы градом покатались из глаз его. Тихо отошел он от играющих и сел в отдаленный угол комнаты, закрыв лицо свое руками; но едва смычок первого скрипача завизжал возле подставки на случайной ноте, прибавленной к септим-аккорду, и дикое созвучие отдалось в удвоенных нотах других инструментов, как несчастный восторженно вскричал: "я слышу! слышу!" — в буйной радости захопал в ладоши и затопал ногами.

— Лудвиг! — сказала ему молодая девушка, вслед за ним вошедшая. Лудвиг! пора домой. Мы здесь мешаем!

Он взглянул на девушку, понял ее и, не говоря ни слова, побрел за нею, как ребенок.

На конце города, в четвертом этаже старого каменного дома, есть маленькая душная комната, разделенная перегородкою. Постель с разодранным одеялом, несколько пучков нотной бумаги, остаток фортепьяно — вот все ее украшение. Это было жилище, это был мир бессмертного Бетховена. Во всю дорогу он не говорил ни слова; но когда они пришли, Лудвиг сел на кровать, взял за руку девушку и сказал ей: "Добрая Луиза! ты одна меня понимаешь; ты одна меня не боишься; тебе одной я не мешаю... Ты думаешь, что все эти господа, которые разыгрывают мою музыку, понимают меня: ничего не бывало! Ни один из здешних господ капельмейстеров не умеет даже управлять ею; им только бы оркестр играл в меру, а до музыки им какое дело! Они думают, что я ослабеваю; я даже заметил, что некоторые из них как будто улыбаются, разыгрывая мой квартет, — вот верный признак, что они меня никогда не понимали; напротив, я теперь только стал истинным, великим музыкантом. Идучи, я придумал симфонию, которая увековечит мое имя; напишу ее и сожгу все прежние. В ней я превращу все законы гармонии, найду эффекты, которых до сих пор никто еще не подозревал; я построю ее на хроматической мелодии двадцати литавр; я введу в нее аккорды сотни колоколов, настроенных по различным камертонам, ибо, — прибавил он шопотом, — я скажу тебе по секрету: когда ты меня водила на колокольню, я открыл, чего прежде никому в голову не приходило, — я открыл, что колокола — самый гармонический инструмент, который с успехом может быть употреблен в тихом адажио. В финал я введу барабанный бой и ружейные выстрелы, — и я услышу эту симфонию, Луиза! воскликнул он вне себя от восхищения. — Надеюсь, что услышу, — прибавил он, улыбаясь, по некотором размышлении. — Помнишь ли ты, когда в Вене, в присутствии всех венчаных глав света, я управлял оркестром моей ватерлооской баталии?⁷⁴ Тысячи музыкантов, покорные моему взмаху, двенадцать капельмейстеров, а кругом батальный огонь, пушечные выстрелы... О! это до сих пор лучшее мое произведение, несмотря на этого педанта Вебера. {* Готфрид Вебер,⁷⁵ — известный контрапунктист нашего времени, которого не должно смешивать с

⁷³ Галль Франц Иосиф (1758–1828) — австрийский врач и анатом, основатель "френологии" — теории, согласно которой особенности психики человека находят выражение в строении черепа. К этой теории Одоевский относился с положительным интересом, хотя и считал, что ближайшие последователи Галля довели его идеи "до нелепости" (см. рецензию Одоевского на "Основания краниоскопии" К. Г. Каруса: Отечественные записки, 1844, № 6, с. 79).

⁷⁴ Сочинение Бетховена "Wellingtons Sieg" впервые исполнено 8 декабря 1813 г. в Вене, в благотворительном концерте, с участием самых знаменитых венских музыкантов (Сальери, Мейербер, Гуммель и др.). Дирижером был сам Бетховен. Исполнение сопровождалось шумным успехом.

⁷⁵ Вебер Якоб Готфрид (1779–1839) — немецкий музыкальный теоретик и композитор, основатель консерватории в Мангейме (1806). С 1824 по 1839 г. издавал музыкальный журнал "Цецилия".

сочинителем "Фрейшица", — сильно и справедливо критиковал в своем любопытном и ученом журнале "Цецилия" — "Wellingtons Sieg", слабейшее из произведений Бетховена.} — Но то, что я теперь произведу, затмит и это произведение. — Я не могу удержаться, чтоб не дать тебе о нем понятия".

С сими словами Бетховен подошел к фортепьяно, на котором не было ни одной целой струны, и с важным видом ударил по пустым клавишам. Однообразно стучали они по сухому дереву разбитого инструмента, а между тем самые трудные фуги в 5 и 6 голосов проходили через все таинства контрапункта, сами собою ложились под пальцы творца "Эгмонта", и он старался придать как можно более выражения своей музыке... Вдруг сильно, целою рукою покрыл он клавиши и остановился.

— Слышишь ли? — сказал он Луизе. — Вот аккорд, которого до сих пор никто еще не осмеливался употребить. — Так! я соединю все тоны хроматической гаммы в одно созвучие⁷⁶ и докажу педантам, что этот аккорд правилен. — Но я его не слышу, Луиза, я его не слышу! Понимаешь ли ты, что значит не слышать своей музыки?.. Однако ж мне кажется, что когда я соберу дикие звуки в одно созвучие, — то оно как будто отдается в моем ухе. И чем мне грустнее, Луиза, тем больше нот мне хочется прибавить к септим-аккорду, которого истинных свойств никто не понимал до меня... Но полно! может быть, я наскучил тебе, как всем теперь наскучил. — Только знаешь что? за такую чудную выдумку мне можно наградить себя сегодня рюмкой вина. Как ты думаешь об этом, Луиза?

Слезы навернулись на глазах бедной девушки, которая одна из всех учениц Бетховена не оставляла его и под видом уроков содержала его трудами рук своих: она дополняла ими скудный доход, полученный Бетховеном от его сочинений и большею частью издержанный без толку на беспрестанную перемену квартир, на раздачу встречному и поперечному. Вина не было! едва оставалось несколько грошей на покупку хлеба... Но она скоро отвернулась от Лудвига, чтоб скрыть свое смущение, налила в стакан воды и поднесла его Бетховену.

— Славный рейнвейн! — говорил он, отпивая понемногу с видом знатока. Королевский рейнвейн! он точно из погреба моего батюшки, блаженной памяти Фридерика⁷⁷. Я это вино очень помню! оно день ото дня становится лучше это признак хорошего вина! — И с этими словами охриплым, но верным голосом он запел свою музыку на известную песню гетева Мефистофеля:⁷⁸

Es war einmal ein Konig,
Der hatt' einen grossen Floh, {*}

{* Жил-был король когда-то,
Имел блоху-дружка
(нем.; перевод Н. Холодковского).}

⁷⁶ Это была мечта Бетховена, основанная отчасти на его собственных достижениях в последних квартетах и вполне реализованная в музыке XX в.

⁷⁷ Одоевский пользуется здесь анекдотической версией, согласно которой Бетховен был незаконным сыном короля Фридриха Вильгельма II, бывшего в 1770 г. проездом в Бонне (Бетховен родился в Бонне 16 декабря 1770 г.). Об этой легенде упоминалось в словаре А. Э. Корона и Ф. Ж. М. Файоля (Dictionnaire historique des musiciens, artistes et amateurs. Paris, 1817). Музыковеду Г. Б. Бернандту удалось обнаружить экземпляр словаря, принадлежавший Одоевскому, с его пометами. Экземпляр этот хранится в ГБЛ (шифр: S, 13/95).

Использование Одоевским легенды отнюдь не означает, что он верил в ее достоверность. Версия его устраивала как художественная деталь, как романтическое предание, вполне соответствующее поэтике романтической новеллы, посвященной не внешней, а внутренней биографии Бетховена.

⁷⁸ Имеется в виду "Песня о блохе", первые два стиха которой далее приводятся. Это — единственное произведение Бетховена, написанное по мотивам "Фауста". Песня датируется примерно 1789–1790 гг.

но, против воли, часто сводил ее на таинственную мелодию,⁷⁹ которую Бетховен объяснил Миньону. { * Kennst du das Land etc. Ты знаешь край и проч. }

— Слушай, Луиза, — сказал он, наконец, отдавая ей стакан, — вино подкрепило меня, и я намерен тебе сообщить нечто такое, что мне уже давно хотелось и не хотелось тебе сказать. Знаешь ли, мне кажется, что я уж долго не проживу, — да и что за жизнь моя? — это цепь бесконечных терзаний. От самых юных лет я увидел бездну, разделяющую мысль от выражения. Увы, никогда я не мог выразить души своей; никогда того, что представляло мне воображение, я не мог передать бумаге; напишу ли? — играют? — не то!.. не только не то, что я чувствовал, даже не то, что я написал. Там пропала мелодия оттого, что низкий ремесленник не придумал поставить лишнего клапана; там несносный фаготист заставляет меня переделывать целую симфонию оттого, что его фагот не выделяет пары басовых нот; то скрипач убавляет необходимый звук в аккорде оттого, что ему трудно брать двойные ноты. — А голоса, а пение, а репетиции ораторий, опер?.. О! этот ад до сих пор в моем слухе! — Но я тогда еще был счастлив: иногда, я замечал, на бессмысленных исполнителей находило какое-то вдохновение; я слышал в их звуках что-то похожее на темную мысль, западавшую в мое воображение: тогда я был вне себя, я исчезал в гармонии, мною созданной. Но пришло время, мало-помалу тонкое ухо мое стало грубеть: еще в нем оставалось столько чувствительности, что оно могло слышать ошибки музыкантов, но оно закрылось для красоты; мрачное облако его объяло — и я не слышу более своих произведений, — не слышу, Луиза!.. В моем воображении носятся целые ряды гармонических созвучий; оригинальные мелодии пересекают одна другую, сливаясь в таинственном единстве; хочу выразить — все исчезло: упорное вещество не выдает мне ни единого звука, — грубые чувства уничтожают всю деятельность души. О! что может быть ужаснее этого раздора души с чувствами, души с душою! Зародить в голове своей творческое произведение и ежечасно умирать в муках рождения!.. Смерть души! — как страшна, как жива эта смерть!

— А еще этот бессмысленный Готфрид вводит меня в пустые музыкальные тяжбы, заставляет меня объяснять, почему я в том или другом месте употребил такое и такое соединение мелодий, такое и такое сочетание инструментов, когда я самому себе этого объяснить не могу! Эти люди будто знают, что такое душа музыканта, что такое душа человека? Они думают, ее можно обкроить по выдумкам ремесленников, работающих инструменты, по правилам, которые на досуге изобретает засушенный мозг теоретика... Нет, когда на меня приходит минута восторга, тогда я уверяюсь, что такое превратное состояние искусства продлиться не может; что новыми, свежими формами заменятся обветшалые; что все нынешние инструменты будут оставлены и место их заступят другие, которые в совершенстве будут исполнять произведения гениев; что исчезнет, наконец, нелепое различие между музыкою писанною и слышимую. Я говорил гг. профессорам об этом; но они меня не поняли, как не поняли силы, сопутствующей художественному восторгу, как не поняли того, что тогда я предупреждаю время и действую по внутренним законам природы, еще не замеченным простолудинами и мне самому в другую минуту непонятным... Глупцы! в их холодном восторге, они, в свободное от занятий время, выберут тему, обделают ее, продолжат и не преминут потом повторить ее в другом тоне; здесь по заказу прибавят духовые инструменты или странный аккорд, над которым думают, думают, и все это так благоразумно обточат, облизнут; чего хотят они? я не могу так работать... Сравнивают меня с Микель-Анджелом — но как работал творец "Моисея"? в гневе, в ярости, он сильными ударами молота ударял по недвижному мрамору и поневоле заставлял его выдавать живую мысль, скрывавшуюся под каменной оболочкою. Так и я! Я холодного

⁷⁹ Песня Миньоны из романа Гете "Ученические годы Вильгельма Мейстера" (1793–1796) положена Бетховеном на музыку в 1809 г.

восторга не понимаю! Я понимаю тот восторг, когда целый мир для меня превращается в гармонию, всякое чувство, всякая мысль звучит во мне, все силы природы делаются моими орудиями, кровь моя кипит в жилах, дрожь проходит по телу и волосы на голове шевелятся... И все это тщетно! Да и к чему это все? Зачем? живешь, терзаешься, думаешь; написал — и конец! к бумаге приковались сладкие муки создания — не воротить их! унижены, в темницу заперты мысли гордого духа-создателя; высокое усилие творца земного, вызывающего на спор силу природы, становится делом рук человеческих! — А люди? люди! они придут, слушают, судят — как будто они судьи, как будто для них создаешь! Какое им дело, что мысль, принявшая на себя понятный им образ, есть звено в бесконечной цепи мыслей и страданий; что минута, когда художник нисходит до степени человека, есть отрывок из долгой болезненной жизни неизмеримого чувства; что каждое его выражение, каждая черта — родилась от горьких слез Серафима, заклепанного в человеческую одежду и часто отдающего половину жизни, чтоб только минуту подышать свежим воздухом вдохновения? А между тем приходит время — вот, как теперь — чувствуешь: перегорела душа, силы слабеют, голова больна; все, что ни думаешь, все смешивается одно с другим, все покрыто какою-то завесой... Ах! я бы хотел, Луиза, передать тебе последние мысли и чувства, которые хранятся в сокровищнице души моей, чтобы они не пропали... Но что я слышу?..

С этими словами Бетховен вскочил и сильным ударом руки растворил окно, в которое из ближнего дома неслись гармонические звуки. — Я слышу! воскликнул Бетховен, бросившись на колени, и с умилением протянул руки к раскрытому окну. — Это симфония Эгмонта,⁸⁰ — так, я узнаю ее: вот дикие крики битвы; вот буря страстей; она разгорается, кипит; вот ее полное развитие — и все утихло, остается лишь лампада, которая гаснет, — потухает но не навеки... Снова раздалась трубные звуки: целый мир ими наполняется, и никто заглушить их не может...

* * *

На блистательном бале одного из венских министров толпы людей сходились и расходились.

— Как жаль! — сказал кто-то, — театральный капельмейстер Бетховен умер, и говорят, не на что похоронить его.

Но этот голос потерялся в толпе: все прислушивались к словам двух дипломатов, которые толковали о каком-то споре, случившемся между кем-то во дворце какого-то немецкого князя.

* * *

— Я желал бы знать, — сказал Виктор, — до какой степени справедлив этот анекдот.

— На это я тебе не могу дать удовлетворительного ответа, — сказал Фауст, — и едва ли могли бы отвечать на твой вопрос и хозяева рукописи, ибо мне сдается, что они не были знакомы с методою тех историков, которые читают только то, что написано в летописи, а никак не хотят прочесть того, что в ней не написано. Кажется, они рассуждали так: если этот анекдот был в самом деле, тем лучше; если он кем-либо выдуман, это значит, что он происходил в душе его сочинителя; следственно, это происшествие все-таки было, хотя и не

⁸⁰ Музыку к драме Гете "Эгмонт" (1788) Бетховен начал писать в 1809 г., а 15 июня 1810 г. она была впервые исполнена. Драма Гете привлекла Бетховена не только литературными достоинствами, но и злободневностью звучания: ее сюжет — борьба Эгмонта против чужеземного владычества — ассоциировался для Бетховена с современным положением его родины, находившейся под властью Наполеона.

случилось. Такое суждение может показаться странным, но в этом случае мои друзья, кажется, следовали примеру математиков, которые в высших исчислениях не заботятся о том, соединялись ли когда-нибудь в природе 2 и 3, 4 и 10, а смело под буквами $a + b$ понимают все возможные соединения чисел. Впрочем, беспрестанная перемена квартир, глухота, род помешательства, всегдашнее недовольство, — кажется, все это принадлежит к так называемым историческим фактам в жизни Бетховена; только добросовестные сочинители биографических статей не взялись, за недостатком документов, объяснить связь между его глухотой и помешательством, между помешательством и недовольством, между недовольством и музыкою.

Вячеслав. Что нужды! Факт ложный или истинный, — для меня он выговаривает, как сказал Ростислав, мое всегдашнее убеждение, о котором я упоминал в начале вечера, а именно: что надобно человеку ограничиваться возможным; или, как сказал Вольтер в ответ на нравственные сентенции: *cela est bien dit; mais il faut cultiver notre jardin.* {* "Candide".⁸¹}

Фауст. Это значит, что Вольтер не верил даже тому, чему ему хотелось верить...

Ростислав. Меня в этом анекдоте поразило одно: это — неизглаголанность наших страданий. Действительно, самые жестокие, самые ясные для нас терзания — те, которых человек передать не может. Кто умеет рассказать свои страдания, тот вполнину уже отделил их от себя.

Виктор. Вы, господа мечтатели, выдумали прекрасную уловку: чтоб отделаться от положительных вопросов, вы принялись уверять, что язык человеческий недостаточен для выражения наших мыслей и чувств. Мне кажется, что скорее недостаточны наши познания. Если бы человек предался чистому, простому наблюдению той грубой природы, которая у вас в таком загоне, — но, заметьте, наблюдению чистому, уничтожив в себе все свои собственные мысли и чувства, всякую внутреннюю операцию, — тогда он яснее понял бы и себя, и природу и нашел бы даже в обыкновенном языке достаточно для себя выражений.

Фауст. Я не знаю, нет ли в этом так называемом чистом наблюдении оптического обмана; не знаю, может ли человек совершенно отделить от себя все свои собственные мысли и чувства, все свои воспоминания так, чтоб ничто от его я не примешалось к его наблюдению, — одна мысль наблюдать без мысли уже есть целая теория *a priori*... Но мы отделились от Бетховена. Ничья музыка не производит на меня такого впечатления; кажется, она касается до всех изгибов души, поднимает в ней все забытые, самые тайные страдания и дает им образ; веселые темы Бетховена — еще ужаснее: в них, кажется, кто-то хохочет — с отчаяния... Странное дело: всякая другая музыка, особенно гайднова, производит на меня чувство отрадное, успокаивающее; действие, производимое музыкою Бетховена, гораздо сильнее, но она вас раздражает:⁸² сквозь ее чудную гармонию слышится какой-то нестройный вопль; вы слушаете его симфонию, вы в восторге, — а между тем у вас душа изныла. Я уверен, что музыка Бетховена должна была его самого измучить. — Однажды, когда я не имел еще никакого понятия о жизни самого сочинителя, я сообщил странное впечатление, производимое на меня его музыкою, одному горячему почитателю Гайдна. — "Я вас понимаю, — отвечал мне гайднист, — причина такого впечатления та же, по которой Бетховен, несмотря на свой музыкальный гений (может быть, высшей степени, нежели гений Гайдна), — никогда не был в состоянии написать духовной музыки, которая приближалась бы к ораториям сего последнего". — "Отчего так?" — спросил я. — "Оттого, — отвечал гайднист, что Бетховен не верил тому, чему верил Гайдн".

⁸¹ Этими словами Кандида, героя одноименной повести Вольтера (1759), заканчивается повесть.

⁸² Сходные мысли о музыке Бетховена высказывал позднее Л. Толстой в "Крейцеровой сонате". Герой повести, имея в виду сонату Бетховена, говорит: "Говорят, музыка действует возвышающим душу образом, — вздор, неправда! Она действует, страшно действует, я говорю про себя, но вовсе не возвышающим душу образом. Она действует ни возвышающим, ни принижаяющим душу образом, а раздражающим..." (Толстой Л. Крейцера соната, XXIII).

Виктор. Так! я этого ожидал! Да скажите, господа, что вам за охота смешивать вещи, которые не имеют ничего между собою общего? Какое влияние убеждения человека могут иметь на музыку, на поэзию, на науку? Трудно говорить о таких предметах, но мне кажется очевидным, что если что-либо постороннее может действовать на произведения эстетические, то разве степень знания; знанием, очевидно, может расширяться в художнике круг зрения; ему здесь должно быть просторнее; но как ему досталось это знание, каким путем, темным или светлым, — до этого поэзии нет никакого дела. Недавно кто-то имел счастливую мысль составить новую науку: физическую философию, или философическую физику, которой цель: действовать на нравственность посредством знания {* В таком духе издавался журнал "L'educateur" г. Рокурром.⁸³} — вот, по моему мнению, одна из самых дельных попыток нашего времени.

Фауст. Знаю, что это мнение теперь торжествует; но скажи мне, отчего никто не призывает к постели больного такого медика, который был бы известен за отъявленного атеиста? — Кажется, что общего между микстурою и убеждениями человека? — Я согласен с тобою в одном: в необходимости знания; так, например, вопреки общему мнению, я убежден, что поэту необходимы физические науки; ему полезно иногда нисходить до внешней природы, хоть для того, чтоб уверяться в превосходстве своей внутренней, а еще и для того, что, к стыду человека, буквы в книге природы не так изменчивы, не так смутны, как в языке человеческом: там буквы постоянные, стереотипные; много важного поэт может прочесть в них, — но для того прежде всего ему нужно позаботиться о добрых очках... Однако, друзья мои, уже близко восхождение солнца, "время нам успокоиться, любезный Эвном", как говорит Парацельзий в одном забытом фолианте.⁸⁴

НОЧЬ СЕДЬМАЯ

ИМПРОВИЗАТОР

*Es mochte kein Hund so Janger leben!⁸⁵
D'rum hab' ich mich der Magie ergeben...
Gothe {*}*

{ Так пес не стал бы жить!..
Вот почему я магии решил предаться...
Гете (нем.; перевод Н. Холодковского).}*

По зале раздавались громкие рукоплескания. Успех импровизатора превзошел ожидания слушателей и собственные его ожидания. Едва назначали ему предмет, — и высокие мысли, трогательные чувства, в одежде полнзвучных метров, вырывались из уст его, как фантазмагорические видения из волшебного жертвенника. Художник не задумывался ни на минуту: в одно мгновение мысль и зарождалась в голове его, и проходила все периоды своего возрастания, и претворялась в выражения. Разом являлись и замысловатая форма пьесы, и поэтические образы, и щегольской эпитет, и послушная рифма.

⁸³ Имеется в виду "L'educateur, journal de l'Institut de la morale universelle" ("Воспитатель", журнал Института всеобщей нравственности — франц.), издававшийся полковником Рокурром (Raucourt) в Париже в 1836–1841 гг.

⁸⁴ Источник цитаты не обнаружен; Парацельс(ий) Филипп Аврелий Теофраст (1493–1541) знаменитый врач, мистик, алхимик, родом из Швейцарии.

⁸⁵ Цитата из начального монолога Фауста ("Фауст", Сцена I. Ночь).

Этого мало: в одно и то же время ему задавали два и три предмета совершенно различные; он диктовал одно стихотворение, писал другое, импровизировал третье, и каждое было прекрасно в своем роде: одно производило восторг, другое трогало до слез, третье морило со смеху; а между тем он, казалось, совсем не занимался своей работою, беспрестанно шутил и разговаривал с присутствующими. Все стихи поэтического создания были у него под руками, как будто шашки на шахматной доске, которые он небрежно передвигал, смотря по надобности.

Наконец утомилось и внимание и изумление слушателей, они страдали за импровизатора; но художник был спокоен и холоден, — в нем не заметно было ни малейшей усталости, — но на лице его видно было не высокое наслаждение поэта, довольного своим творением, а лишь простое самодовольство фокусника, проворством удивляющего толпу. С насмешкою смотрел он на слезы, на смех, им производимые; один из всех присутствующих не плакал, не смеялся; один не верил словам своим и с вдохновением обращался как холодный жрец, давно уже привыкший к таинствам храма.

Еще последний слушатель не вышел из залы, как импровизатор бросился к собиравшему деньги при входе и с жадностию Гарпагона⁸⁶ принялся считать их. Сбор был весьма значителен. Импровизатор еще от роду не видал столько монеты и был вне себя от радости.

Восторг его был простителен. С самых юных лет жестокая бедность стала сжимать его в своих ледяных объятиях, как статуя спартанского тирана⁸⁷. Не песни, а болезненный стон матери убаюкивали младенческий сон его. В минуту рассвета его понятий не в радужной одежде жизнь явилась ему, но хладный остов нужды неподвижною улыбкой приветствовал его развивающуюся фантазию. Природа была к нему немного щедрее судьбы. Она, правда, наделила его творческим даром, но осудила в поте лица отыскивать выражения для поэтических замыслов. Книгопродавцы и журналисты давали ему некоторую плату за его стихотворения, плату, которая могла бы доставить ему достаточное содержание, если б для каждого из них Киприяно не был принужден употреблять бесконечного времени. В те дни редко тусклая мысль, как едва приметная звездочка, зарождалась в его фантазии; но когда и зарождалась, то ясна медленно и долго терялась в тумане; уже после трудов невероятных достигала она до какого-то неясного образа; здесь начиналась новая работа: выражение отлетало от поэта за мириады миров; он не находил слов, а если и находил, то они не клеились; метр не гнулся; привязчивое местоимение хваталось за каждое слово; долговязый глагол путался между именами, проклятая рифма пряталась между несозвучными словами. Каждый стих стоил бедному поэту нескольких изгрызенных перьев, нескольких вырванных волос и обломанных ногтей. Тщетны были его усилия! Часто хотел он бросить ремесло поэта и променять его на самое низкое из ремесл; но насмешливая природа, вместе с творческим даром, дала ему и все причуды поэта: и эту врожденную страсть к независимости, и это непреодолимое отвращение от всякого механического занятия, и эту привычку дожидаться минуты вдохновения, и эту беззаботную неспособность рассчитывать время. Прибавьте к тому всю раздражительность поэта, его природную склонность к роскоши, к этому английскому приволью, к этому маленькому тиранству, которыми, наперекор обществу, природа любит отличать своего собственного аристократа! Он не мог ни переводить, ни работать на срок или по заказу; и между тем как его собратия собирали с публики хорошие деньги за какое-нибудь сочинение, случайно возбуждавшее ее любопытство, — он еще не мог решиться приняться за работу. Книгопродавцы перестали ему заказывать; ни один из журналистов не хотел брать его в сотрудники. Деньги, изредка получаемые несчастным за

⁸⁶ Гарпагон — главный герой комедии Мольера "Скупой" (1668).

⁸⁷ Несомненно, речь идет не о Спарте, а о дорийской колонии Агригент (Сицилия), тиран которой Фаларид (VII–VI вв. до н. э.), по преданию, уничтожал противников в медной статуе быка.

какое-нибудь стихотворение, стоившее ему полугодовой работы, обыкновенно расхватывали заимодавцы, и он снова нуждался в самом необходимом.

В том городе жил доктор по имени Сегелиель. Лет тридцать назад его многие знали за довольно сведущего человека; но тогда он был беден, имел столь малую практику, что решился оставить медицинское ремесло и пустился в торги. Долго он путешествовал, как говорят, по Индии, и наконец возвратился на родину со слитками золота и множеством драгоценных камней, построил огромный дом с обширным парком, завел многочисленную прислугу. С удивлением замечали, что ни лета, ни продолжительное путешествие по знойным климатам не произвели в нем никакой перемены; напротив, он казался моложе, здоровее и свежее прежнего, также не менее удивительным казалось и то, что растения всех климатов уживались в его парке, несмотря на то, что за ними почти не было никакого присмотра. Впрочем, в Сегелиеле не было ничего необыкновенного: он был прекрасный, статный человек, хорошего тона, с черными модными бакенбардами; носил просторное, но щегольское платье; принимал к себе лучшее общество, но сам почти никогда не выходил из своего огромного парка; он давал молодым людям денег взаймы, не требуя отдачи; держал славного повара, чудесные вина, любил сидеть долго за обедом, ложиться рано и вставать поздно. Словом, он жил в самой аристократической, роскошной праздности. Между тем он не оставлял и своего врачебного искусства, хотя принимался за него нехотя, как человек, который не любил беспокоить себя; но когда принимался, то делал чудеса; какая бы ни была болезнь, смертельная ли рана, последнее ли судорожное движение, — доктор Сегелиель даже не пойдя взглянуть на больного: спросит об нем слова два у родных, как бы для проформы, вынет из ящика какой-то водицы, велит принять больному — и на другой день болезни как не бывало. Он не брал денег за лечение, и его бескорыстие, соединенное с чудным его искусством, могло бы привлечь к нему больных всего мира, если бы за излечение он не назначал престранных условий, как например: изъять ему знаки почтения, доходившие до самого подлого унижения; сделать какой-нибудь отвратительный поступок; бросить значительную сумму денег в море; разломать свой дом, оставить свою родину и проч.; носился даже слух, что он иногда требовал такой платы, такой... о которой не сохранило известия целомудренное предание. Эти слухи расхоложали усердие родственников, и с некоторого времени уже никто не прибегал к нему с просьбою: к тому же замечали, что когда просившие не соглашались на предложение доктора, то больной умирал уже непременно; та же участь постигала всякого, кто или заводил тяжбу с доктором, или сказал про него что-нибудь дурное, или просто не понравился ему. От всего этого у доктора Сегелиеля набралось множество врагов: иные стали доискиваться об источнике его невероятного богатства; медики и аптекари говорили, что он не имеет права лечить непозволенными способами; большая часть обвиняли его в величайшей безнравственности, а некоторые даже приписывали ему отравление умерших людей. Общий голос принудил, наконец, полицию потребовать доктора Сегелиеля к допросу. В доме его сделан был строжайший обыск. Слуги забраны. Доктор Сегелиель согласился на все без всякого сопротивления и позволил полицейским делать все, что им было угодно, ни во что не мешался, едва удостоивал их взглядом и только что изредка с презрением улыбался.

В самом деле, в его доме не нашли ничего, кроме золотой посуды, богатых курительниц, покойных мебели, кресел с подушками и рессорами, раздвижных столов с разными затеями, нескольких окруженных ароматами кроватей, утвержденных на деках музыкальных инструментов, — вроде кроватей доктора Грема⁸⁸, за позволение провести ночь на которых он некогда брал сотни стерлингов с английских сластолюбцев; словом, в доме Сегелиеля

⁸⁸ Имеется в виду доктор-шарлатан Джеймс Грэм (1745–1794), который в Адельфи, в Лондоне, в огромном особняке, называемом "Замком здоровья" и снабженном "небесной кроватью", читал за непомерную плату лекции, при этом ему ассистировала полуобнаженная женщина, которую он называл "Богиней здоровья". Имя этой женщины, служившей Грэму идеалом здоровья и красоты, — Эмма Лайон (будущая леди Гамильтон). См.: Timbs. Doctor and Patients. London, 1876.

нашли лишь выдумки богатого человека, любящего чувственные наслаждения, лишь все то, из чего составляется приволье (comfortable) роскошной жизни, но больше ничего, ничего могущего возбудить малейшее подозрение. Все бумаги его состояли из коммерческих переписок с банкирами и знатнейшими купцами всех частей света, нескольких арабских рукописей и кипы бумаг, сверху донизу исписанных цифрами. Сначала эти последние очень обрадовали полицейских чиновников: они думали найти в них цифрованное письмо; но по внимательном осмотре оказалось, что то были простые черновые счета, накопившиеся, по словам Сегелиеля, от долговременных торговых оборотов, что было весьма вероятно. Вообще на все пункты обвинения доктор Сегелиель отвечал весьма ясно, удовлетворительно и без всякого замешательства; во всех словах его и во всех поступках видна была больше досада на то, что его беспокоят из пустяков, нежели боязнь запутаться в своих ответах. Для объяснения богатства он сослался на свои бумаги, по которым можно было видеть всю историю его торговли; торговля эта, правда, ведена была им с каким-то волшебным успехом, но, впрочем, не заключала в себе ни одного преступного действия; медикам и аптекарям отвечал он, что докторский диплом дает ему право лечить, кого и как он хочет; что он никому не навязывается с своим лечением; что не обязан объявлять составление своего лекарства и что, впрочем, они могут разлагать его лекарство, как им угодно; что, не предлагая никому своих услуг, он был вправе назначать какую ему угодно плату; и что если он часто назначал странные условия, которые всякий был волен принять или не принять, то это для того только, чтоб избавиться от докучливой толпы, нарушавшей его спокойствие — единственную цель его желаний. Наконец, при пункте об отравлении доктор возразил, что, как известно всему городу, он большею частью лечил людей, ему совершенно неизвестных; что никогда не спрашивал ни об имени больного, ни об имени того, кто приходил просить об нем, ни даже о месте его жительства; что больные, когда он отказывался лечить, умирали оттого, что прибегали к нему тогда уже, когда находились при последнем издыхании; наконец, что враги его, вероятно, умирали по естественному ходу вещей; причем он доказал очевидными свидетельствами и доводами, что ни он и никто из его дома не имел ни малейшего сношения с покойниками. Люди Сегелиеля, допрошенные поодиночке со всеми судейскими хитростями, подтвердили все его показания от слова до слова. Между тем следствие продолжалось; но все, что ни открывали, все говорило в пользу доктора Сегелиеля. Ученый совет, подвергнув химическому разложению Сегелиелево лекарство, по долгом рассуждении объявил, что это славное лекарство было не иное что, как простая речная вода, и что действие, будто бы ею производимое, должно отнести к сказкам или приписать воображению больных. Сведения, собранные о болезнях людей, в смерти которых обвиняли Сегелиеля, показали, что ни один из них не умер скоропостижно; что большая часть из них умерли от застарелых или наследственных болезней; наконец, при вскрытии трупов людей, об отравлении которых существовали сильнейшие подозрения, не оказалось и тени отравления, а обнаружались только известные и обыкновенные признаки обыкновенных болезней.

Этот процесс, привлечший многочисленное стечение народа в тот город, долго длился, ибо обвинителями была почти половина его жителей; но наконец, как судьи ни были предупреждены против доктора Сегелиеля, принуждены были единогласно объявить, что обвинения, на него внесенные, не имели никакого основания, что доктора Сегелиеля должно освободить от суда и от всякого подозрения, а доносчиков подвергнуть взысканию по законам. По произнесении приговора Сегелиель, наблюдавший до тех пор совершенное равнодушие, казалось, ожил; он немедленно внес в суд несомненные доказательства об убытках, понесенных им от сего процесса, по его обширной торговле, и просил, чтоб они взысканы были с его обвинителей, с которых, сверх того, требовал удовлетворения за бесчестие, ему нанесенное. Никогда еще не видали в нем такой неутомимой деятельности: казалось, он переродился; исчезла его гордость; он сам ходил от судьи к судье, платил несчетные деньги лучшим стряпчим и рассылал гонцов во все края света; словом, употребил все способы, которые находил и в законах, и в своем богатстве, и в своих связях, для

конечного разорения своих обвинителей, всех членов их семейств до последнего, родственников и друзей их. Наконец он достиг своей цели: многие из его обвинителей лишились своих мест — и с тем вместе единственного пропитания; целые имения нескольких семейств отсуждены были в его владение. Ни просьбы, ни слезы разоренных не трогали его души: он с жестокосердием изгонял их из жилищ, истреблял дотла их дома, заведения; вырывал с корнями деревья и бросал жатву в море. Казалось, и природа и судьба помогали его мщению; враги его, все до одного, их отцы, матери, дети умирали мучительною смертью, — то в семействе являлась заразительная горячка и пожирала всех членов его; то возобновлялись старинные, давно уснувшие болезни; малейший ушиб в младенчестве, бездельное уколотье руки, незначущая простуда обращались в болезнь смертельную, и скоро самые имена целых семейств были стерты с лица земли. То же было и с теми, которые избегли от наказания законов. Этого мало: поднималась ли буря, восставал ли вихрь, — тучи проходили мимо замка Сегелиелева и раздражались над домами и житницами его неприятелей, и многие видали, как в это время Сегелиель выходил на террасу своего парка и весело чокался стаканом с своими друзьями.

Это происшествие навело сначала всеобщий ужас, и хотя Сегелиель после своего процесса переселился в город Б..., где снова начал вести столь же роскошную жизнь, как и прежде, но многие из жителей его родины, знавшие подробно все обстоятельства процесса и раздраженные поступками Сегелиеля, не оставили своего плана — погубить. Они обратились к старикам, помнившим еще прежние процессы о чародействе, и, потолковав с ними, составили новый донос, в котором изъясняли, что хотя по существующим законам и нельзя обвинить доктора Сегелиеля, но что нельзя и не видеть во всех его действиях какой-то сверхъестественной силы, и вследствие того просили: придерживаясь к прежним законам о чародействе, снова разыскать все дело. К счастью Сегелиеля, судьи, к которым попала эта просьба, были люди просвещенные: один из них был известен переводом Локка на отечественный язык; другой — весьма важным сочинением о юриспруденции, к которой он применил Кантову систему; третий оказал значительные услуги атомистической химии. Они не могли удержаться от смеха, читая эту странную просьбу, возвратили ее просителям, как недостойную уважения, а один из них, по добродушию, прибавил к тому изъяснение всех случаев, казавшихся просителям столь чудесными; и — благодаря европейскому просвещению — доктор Сегелиель продолжал вести свою роскошную жизнь, собирать у себя все лучшее общество, лечить на предлагаемых им условиях, а враги его продолжали занемогать и умирать по-прежнему.

К этому страшному человеку решился идти наш будущий импровизатор. Как скоро его впустили, он бросился доктору на колени и сказал: "Господин доктор! господин Сегелиель! вы видите пред собою несчастнейшего человека в свете: природа дала мне страсть к стихотворству, но отняла у меня все средства следовать этому влечению. Нет у меня способности мыслить, нет способности выражаться; хочу говорить — слова забываю, хочу писать — еще хуже; не мог же бог осудить меня на такое вечное страдание! Я уверен, что мое несчастье происходит от какой-нибудь болезни, от какой-то нравственной натуги, которую вы можете вылечить".

— Вишь, Адамовы сынки, — сказал доктор (это была его любимая поговорка в веселый час), — Адамовы детки! Все помнят батюшкину привилегию; им бы все без труда доставалось! И получше вас работают на сем свете. Но, впрочем, так уж и быть, — прибавил он, помолчав, — я тебе помогу; да ты ведь знаешь, у меня есть свои условия...

— Какие хотите, господин доктор! — что б вы ни предложили, на все буду согласен; все лучше, нежели умирать ежеминутно.

— И тебя не испугало все, что в нашем городе про меня рассказывают?

— Нет, господин доктор! хуже того положения, в котором я теперь нахожусь, вы не выдумаете. (Доктор засмеялся). Я буду с вами откровенен: не одна поэзия, не одно желание славы привели меня к вам; но и другое чувство, более нежное... Будь я половчее на письме, я бы мог обеспечить мое состояние, и тогда бы моя Шарлотта была ко мне благосклоннее...

Вы понимаете меня, господин доктор?

— Вот это я люблю, — вскричал Сегелиель, — я, как наша матушка инквизиция, до смерти люблю откровенность и полную ко мне доверенность; беда бывает только тому, кто захочет с нами хитрить. Но ты, я вижу, человек прямой и откровенный; и надобно наградить тебя по достоинству. Итак, мы соглашаемся исполнить твою просьбу и дать тебе способность производить без труда; но первым условием нашим будет то, что эта способность никогда тебя не оставит: согласен ли ты на это?

— Вы шутите надо мною, господин Сегелиель!

— Нет, я человек откровенный и не люблю скрывать ничего от людей, мне предающихся. Слушай и пойми меня хорошенько: способность, которую я даю тебе, сделается частью тебя самого; она не оставит тебя ни на минуту в жизни, с тобою будет расти, созревать и умрет вместе с тобою. Согласен ли ты на это?

— Какое же в том сомнение, г. доктор?

— Хорошо. Другое мое условие состоит в следующем: ты будешь все видеть, все знать, все понимать. Согласен ли ты на это?

— Вы, право, шутите, господин доктор! Я не знаю, как благодарить вас... Вместо одного добра вы даете мне два, — как же на это не согласиться!

— Пойми меня хорошенько: ты будешь все знать, все видеть, все понимать.

— Вы благодетельнейший из людей, господин Сегелиель!

— Так ты согласен?

— Без сомнения; нужна вам расписка?

— Не нужно! Это было хорошо в то время, когда не существовало между людьми заемных писем; а теперь люди стали хитры; обойдемся я без расписки; сказанного слова так же топором не вырубешь, как и писанного. Ничто в свете, любезный приятель, ничто не забывается и не уничтожается.

С этими словами Сегелиель положил одну руку на голову поэта, а другую на его сердце, и самым торжественным голосом проговорил:

"От тайных чар прими ты дар: обо всем размышлять, все на свете читать, говорить и писать, красно и легко, слезно и смешно, стихами и в прозе, в тепле и морозе, наяву и во сне, на столе, на песке, ножом и пером, рукой, языком, смеясь и в слезах, на всех языках...".

Сегелиель сунул в руку поэту какую-то бумагу и поворотил его к дверям.

Когда Киприяно вышел от Сегелиеля, то доктор с хохотом закричал: "Пепе! фризую шинель!" — "Агу!" — раздалось со всех полок докторской библиотеки, как во 2-м действии "Фрейшюца"⁸⁹.

Киприяно принял слова Сегелиеля за приказание камердинеру; но его удивило немного, зачем щеголеватому, роскошному доктору такое странное платье; он заглянул в щелочку — и что же увидел: все книги на полках были в движении; из одной рукописи выскочила цифра 8, из другой арабский алеф, потом греческая дельта; еще, еще — и наконец вся комната наполнилась живыми цифрами и буквами; они судорожно сгибались, вытягивались, раздувались, переплетались своими неловкими ногами, прыгали, падали; неисчислимые точки кружились между ними, как инфузории в солнечном микроскопе, и старый халдейский полиграф бил такт с такою силою⁹⁰, что рамы звенели в окошках...

⁸⁹ Имеется в виду крик невидимых духов "А-га-у!" из финальной картины ("Волчье ущелье") 2-го действия названной оперы немецкого композитора К. — М. Вебера (1786–1826). В России эта самая популярная и самая романтическая из опер Вебера шла под названием "Волшебный стрелок".

⁹⁰ В данном контексте халдейский полиграф скорее всего в значении старинной ученой книги. По данным словаря Ф. Голля (Настольный словарь для справок по всем отраслям знания... СПб., 1864), полиграф — это "писавший о различных науках". В переносном значении это может быть сборник ученых статей. На ученый характер книги указывает и эпитет "халдейский". Халдеи — народ, населявший в древности юго-западную часть Вавилонии и славившийся своими познаниями в астрономии и астрологии. Впоследствии в Риме за астрологами закрепилось наименование халдеев.

Испуганный Киприяно бросился бежать опрометью.

Когда он несколько успокоился, то развернул Сегелиелеву рукопись. Это был огромный свиток, сверху донизу исписанный непонятными цифрами. Но едва Киприяно взглянул на них, как, оживленный сверхъестественною силою, понял значение чудесных письмен. В них были расчислены все силы природы: и систематическая жизнь кристалла, и беззаконная фантазия поэта, и магнитное биение земной оси, и страсти инфузория, и нервная система языков, и прихотливое изменение речи; все высокое и трогательное было подведено под арифметическую прогрессию; непредвиденное разложено в Ньютонов бином; поэтический полет определен циклоидой; слово, рождающееся вместе с мыслию, обращено в логарифмы; невольный порыв души приведен в уравнение. Пред Киприяно лежала вся природа, как остов прекрасной женщины, которую прозектор выварил так искусно, что на ней не осталось ни одной живой жилки.

В одно мгновение высокое таинство зарождения мысли показалось Киприяно делом весьма легким и обыкновенным; чертов мост с китайскими погрешками протянулся для него над бездною, отделяющею мысль от выражения, и Киприяно заговорил стихами.

В начале сего рассказа мы уже видели чудный успех Киприяно в его новом ремесле. В торжестве, с полным кошельком, но несколько усталый, он возвратился в свою комнату; хочет освежить запекшиеся уста, смотрит — в стакане не вода, а что-то странное: там два газа борются между собою, и мириады инфузорий плавают между ними; он наливает другой стакан, все то же; бежит к источнику — издали серебром льются студёные волны — приближается опять то же, что и в стакане; кровь поднялась в голову бедного импровизатора, и он в отчаянии бросился на траву, думая во сне забыть свою жажду и горе; но едва он прилег, как вдруг под ушами его раздаётся шум, стук, визг: как будто тысячи молотов бьют об наковальни, как будто шероховатые поршни протираются сквозь груды камней, как будто железные грабли цепляются и скользят по гладкой поверхности. Он встает, смотрит: луна освещает его садик, полосатая тень от садовой решетки тихо шевелится на листьях кустарника, вблизи муравьи строят свой муравейник, все тихо, спокойно; прилег снова — снова начинается шум. Киприяно не мог заснуть более; он провел целую ночь, не смыкая глаз. Утром он побежал к своей Шарлотте искать покоя, поверить ей свою радость и горе. Шарлотта уже знала о торжестве своего Киприяно, ожидала его, принарядилась, приправила свои светло-русые волосы, вплела в них розовую ленточку и с невинным кокетством посматривала в зеркало. Киприяно вбегает, бросается к ней, она улыбается, протягивает к нему руку, — вдруг Киприяно останавливается, уставляет глаза на нее...

И в самом деле было любопытно! Сквозь клетчатую перепонку, как сквозь кисею, Киприяно видел, как трегранная артерия, называемая сердцем, затрепетала в его Шарлотте; как красная кровь покатила из нее и, достигая до волосных сосудов, производила эту нежную белизну, которою он, бывало, так любовался... Несчастный! в прекрасных, исполненных любви глазах ее он видел лишь какую-то камер-обскуру⁹¹, сетчатую плеву, каплю отвратительной жидкости; в ее миловидной поступи — лишь механизм рычагов... Несчастный! он видел и желчный мешочек, и движение пищеприемных снарядов... Несчастный! для него Шарлотта, этот земной идеал, пред которым молилось его вдохновение, сделалась — анатомическим препаратом!

В ужасе оставил ее Киприяно. В ближнем доме находилось изображение Мадонны, к которой, бывало, прибегал Киприяно в минуты отчаяния, которой гармонический облик успокаивал его страждущую душу; он прибежал, бросился на колени, умолял; но увы! для него уже не было картины: краски шевелились на ней, и он в творении художника видел — лишь химическое брожение.

⁹¹ Камер-обскура — закрытый ящик, в передней стенке которого есть отверстие для прохождения лучей света, дающих на противоположной стенке обратное изображение светящегося предмета.

Несчастный страдал до невероятности; все: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, — все чувства, все нервы его получили микроскопическую способность, и в известном фокусе малейшая пылинка, малейшее насекомое, не существующее для нас, теснило его, гнало из мира; щебетание бабочкины крыла раздирало его ухо; самая гладкая поверхность щекотала его; все в природе разлагалось пред ним, но ничто не соединялось в душе его: он все видел, все понимал, но между им и людьми, между им и природою была вечная бездна; ничто в мире не сочувствовало ему.

Хотел ли он в высоком поэтическом произведении забыть самого себя, или в исторических изысканиях набрести на глубокую думу, или отдохнуть умом в стройном философском здании — тщетно: язык его лепетал слова, но мысли его представляли ему совсем другое.

Сквозь тонкую пелену поэтических выражений он видел все механические подставки создания: он чувствовал, как бесился поэт, сколько раз переламывал он стихи, которые казались невольно вылившимися из сердца; в самом патетическом мгновении, когда, казалось, все внутренние силы поэта напрягались и перо его не успевало за словами, а слова за мыслями, Киприяно видел, как поэт протягивал руку за "Академическим словарем"⁹² и отыскивал эффектное слово; как посреди восхитительного изображения тишины и мира душевного поэт драл за уши капризного ребенка, надоедавшего ему своим криком, и зажимал собственные свои уши от действия женина трещоточного могущества.

Читая историю, Киприяно видел, как утешительные высокие помыслы об общей судьбе человечества, о его постоянном совершенствовании, как глубокомысленные догадки о важных подвигах и характере того или другого народа, которые, казалось, сами выливались из исторических изысканий, — в самом деле держались только искусственным сцеплением сих последних, как это сцепление держалось за сцепление авторов, писавших о том же предмете; это сцепление — за искусственное сцепление летописей, а это последнее — за ошибку переписчика, на которую, как на иголку, фокусники поставили целое здание.

Вместо того чтоб удивляться стройности философской системы, Киприяно видел, как в философе зародилось прежде всего желание сказать, что-нибудь новое; потом попало ему счастливое, зазорное выражение; как к этому выражению он приделал мысль, к этой мысли целую главу, к этой главе книгу, а к книге целую систему; там же, где философ, оставляя свою строгую форму, как бы увлеченный сильным чувством, пускался в блестящее отступление, — там Киприяно видел, что это отступление только служило прикрывашкою для среднего термина силлогизма⁹³, которого игру слов чувствовал сам философ.

Музыка перестала существовать для Киприяно; в восторженных созвучиях Генделя и Моцарта он видел только воздушное пространство, наполненное бесчисленными шариками, которые один звук отправлял в одну сторону, другой в другую, третий в третью; в раздирающем сердце вопле гобоя, в резком звуке трубы он видел лишь механическое сотрясение; в пении страдивариусов и амати⁹⁴ — одни животные жилы, по которым скользили конские волосы.

В представлении оперы он чувствовал лишь мучение сочинителя музыки, капельмейстера; слышал, как настраивали инструменты, разучивали роли, словом, ощущал

⁹² Имеется в виду толковый "Словарь Академии Российской", вышедший в 1789–1794 гг. в 6 частях и переизданный в 1806–1822 гг. Ср. у Пушкина: "...Хоть и заглядывал я встарь В Академический словарь" (Евгений Онегин, гл. 1, строфа XXVI).

⁹³ Здесь "средний термин" употреблен в значении формального логического хода, выражения, за которым стоит не чувство, а голый рассудок.

⁹⁴ Имеются в виду скрипки, названные по имени итальянских скрипичных мастеров Амати (1596–1684) и его ученика Страдивариуса (1644–1737). Скрипки этих мастеров до сих пор считаются непревзойденными по звуковым качествам и изяществу формы.

все прелести репетиций; в самых патетических минутах видел бешенство режиссера за кулисами и его споры с статистами и машинистом, крючья, лестницы, веревки и проч. и проч.

Часто вечером измученный Киприяно выбегал из своего дома на улицу: мимо его мелькали блестящие экипажи; люди с веселыми лицами возвращались от дневных забот под мирный домашний кров; в освещенные окна Киприяно смотрел на картины тихого семейного счастья, на отца и мать, окруженных прыгающими малютками, — но он не имел наслаждения завидовать сему счастью; он видел, как чрез реторту общественных условий и приличий, прав и обязанностей, рассудка и правил нравственности — вырабатывался семейственный яд и прижигал все нервы души каждого из членов семейства; он видел, как нежному, попечительному отцу надоедали его дети; как почтительный сын нетерпеливо ожидал родительской кончины; как страстные супруги, держась рука за руку, помышляли: чем бы поскорее отделаться друг от друга? Киприяно обезумел. Оставив свое отечество, думая спастись от самого себя, пробежал он разные страны, но везде и всегда по-прежнему продолжал все видеть и все понимать.

Между тем и коварный дар стихотворства не дремал в Киприяно. едва на минуту замолкнет его микроскопическая способность, как стихи водою польются из уст его; едва удержит свое холодное вдохновение, как снова вся природа оживет перед ним мертвою жизнью — и без одежды, неприличная, как нагая, но обутая женщина, явится в глаза ему. С каким горем он вспоминал о том сладком страдании, когда, бывало, на него находило редкое вдохновение, когда неясные образы носились перед ним, волновались, сливались друг с другом!.. Вот образы яснее, яснее; из ^другого мира медленно, как долгий поцелуй любви, тянется к нему рой пиитических созданий; приблизились, от них пахнет неземной теплотою, и природа сливается с ними в гармонических звуках — как легко, как свежо на душе! Тщетное, тяжкое воспоминание! Напрасно хотел Киприяно пересилить борьбу между враждебными дарами Сегелиеля: едва незаметное впечатление касалось раздраженных органов страдальца, и снова микроскопизм одолевал его, и несозревшая мысль прорывалась в выражение.

Долго скитался Киприяно из страны в страну; иногда нужда снова заставляла его прибегать к пагубному Сегелиелеву дару: дар этот доставлял избыток, а с ним и все вещественные наслаждения жизни; но в каждом из наслаждений был яд, и после каждого нового успеха умножалось его страдание.

Наконец он решился не употреблять более своего дара, заглушить, задавить его, купить его ценою нужды и бедности. Но уж поздно! От долговременного борения расшаталось здание души его; поломались тонкие связи, которыми соединены таинственные стихии мыслей и чувствований, — и они распались, как распадаются кристаллы, проржавленные едкою кислотою; в душе его не осталось ни мыслей, ни чувствований: остались какие-то фантомы, облеченные в одежду слов, для него самого непонятных. Нищета, голод истерзали его тело, — и долго брел он, питаясь милостынею и сам не зная куда...

Я нашел Киприяно в деревне одного степного помещика; там исправлял он должность — шута. В фризовой шинели, подпоясанный красным платком, он беспрестанно говорил стихи на каком-то языке, смешанном из всех языков... Он сам рассказывал мне свою историю и горько жаловался на свою бедность, но еще больше на то, что никто его не понимает; что бьют его, когда он, в пылу поэтического восторга, за недостатком бумаги, изрежет столы своими стихами; а еще более на то, что все смеются над его единственным сладким воспоминанием, которого не мог истребить враждебный дар Сегелиеля, — над его первыми стихами к Шарлотте.

* * *

— Измена, господа! — вскричал Вячеслав. — Фауст нарочно выбрал этот отрывок из

рукописи, вместо ответа на наши вчерашние возражения.

— Ничего не бывало! — отвечал Фауст. — С моей стороны тут не было никакого фокус-покуса; я читал номер за номером; я уверен, что даже хозяева, собирая доставленные им заметки, предоставили учреждение их последовательности лучшему систематику — времени.

Вячеслав. И ты хочешь нас уверить, что просто случай соединил "Бетховена" с "Импровизатором", когда в том и другом одна мысль, но выраженная с противоположных сторон?..

Ростислав. Не знаю, шутил ли с нами Фауст по своему обыкновению, но, признаюсь, случая я еще не заметил в природе. В ней, например, с большою постепенностью связаны царство растительное с царством животным, даже трудно определить, где кончится одно и начинается другое; а между тем одно служит, по-видимому, совершенным отрицанием другому: все важнейшие органы растения на его поверхности; внутри часто совершенная пустота; мочки корня — органы питания, листья — органы дыхания, брачное ложе между душистыми лепестками все снаружи; у животных, напротив, все эти органы бережно скрыты внутри под несколькими покровами, а снаружи видны лишь кожа, волосы, роговое вещество органы менее важные, почти не имеющие чувствительности; мне всегда жизнь животных представлялась ответом на жизнь растений, а человек судьей между ними. Если природа разыгрывает эту драму между своими низшими произведениями, то неужели она предоставляет свои высшие, т. е. человеческие, произведения какому-то случаю. Произведения человека — что бы то ни было: огромное ли пиитическое творение, откровенный ли разговор, беспечная ли заметка путешественника — я уверен, что есть причина, почему одно из этих явлений следует за другим, в том, а не в другом порядке, хотя часто мы не можем ее постигнуть, точно так же, как нам непонятно, почему явления столь противоположные, как ночь и день, следуют одно за другим постоянно.

Виктор. Но прежде следует доказать, действительно ли произведения человека "стоят" на одной степени с произведениями природы, не говорю уже превосходят их.

Ростислав. Без сомнения, превосходят, и по той же причине, почему животное совершеннее растения...

Виктор. Это убеждение очень похвально; только жаль, что человеку никогда не удалось построить такое местоположение, как напр Альпы или берег Средиземного моря, ни достигнуть того совершенства, которое замечается. напр, в тканях растения; ты знаешь, что самое тонкое кружево под микроскопом есть не иное что, как грубая связка веревок, а между тем эпидерма последнего растения поражает правильностью своего расположения.

Ростислав. Ты смешиваешь два совершенно различных состояния человека, две совершенно отдельные степени, ибо в человеке их много. Некоторые ученые доказывали, что пирамида у древних была символом огня (фгаса); это довольно правдоподобно, ибо и огонь и пирамида оканчиваются остроконечном: но, кажется, под символом огня скрывался другой, более глубокий — человек. Посмотри на пламя: в нем есть темная, холодная {* Мюррай опускал на несколько секунд порох в ту темную часть пламени, в которой отделяются газы и которая видна сквозь светлую его оболочку: взрыва не было, и порох даже отсырел.} часть — произведение грубых испарений горящего тела; в нем есть более светлая, где пламя похищает жизненную стихию из атмосферы; {* Кислород.} эта часть лишь окисляет металлы; между обеими частями есть точка — одна точка; но здесь сильнейшая степень жара, которому ничто противостоять не может: здесь платина приходит в калильное состояние, здесь восстанавливаются почти все металлы. {* На этом явлении основано, как известно, действие паяльной или, правильнее, плавильной трубки.} Ты сравниваешь произведения природы с произведениями темной, холодной, бессильной области человека, — и природа торжествует над человеком, униженным до природы; но какие произведения природы могут достигнуть до произведений светлого, пламенного горнила души человеческой? — Дух человека, исходя из одного начала с природою, производит явления, подобные явлениям в природе, но самопроизвольно, безусловно; это сродство или

подобие обмануло старинных теоретиков, которые на нем основали так называемое подражание природе...

Вячеслав. Ты забываешь важную оговорку: подражание изящной природе...

Ростислав. От этой оговорки теория сделалась еще неопределеннее и темнее, ибо с словом изящество в эту теорию втеснялось нечто такое, что разрушило ее вовсе; ибо если необходимо допустить человеку право избирать изящное, то это значит, что в душе его есть своя мерка, на которую он может прикидывать и произведения природы и свои собственные. Тогда зачем же ему природа?

Вячеслав. На первый случай, хоть для того, чтоб сравнить обе мерки, как ты говоришь: свою и находящуюся в природе...

Ростислав. Но, чтоб сравнить их, надобно еще третью мерку, в истине которой человек был бы убежден, — и так до бесконечности; а в последней инстанции последним судиею останется все-таки душа человека...

Вячеслав. Но отчего же человеческие произведения, напр картина, тем более нам нравится, чем она ближе к природе?

Ростислав. Это род оптического обмана; близость к природе есть понятие совершенно относительное; в Рафаэле находят ошибки против анатомии, — но кто замечает их? Если б должно нам было более нравиться то, что ближе к природе, то дерево, напр, Рюисдаля⁹⁵ должно бы уступить первенство дереву, сделанному какою-либо цветочницею. Дагерротип как бы нарочно появился в нашу эпоху⁹⁶, чтоб показать различие между механическим и живым произведением. При появлении дагерротипа материалисты очень обрадовались: "Зачем нам живописцы? зачем вдохновение? Картина будет рисоваться, и гораздо вернее, без вдохновения, простым ремесленником, при пособии нескольких капель иода и ртути. Но что же вышло? в дагерротипе подражание совершенно; а между тем одни и те же предметы (не говорю уж о лице человека, но хоть, напр, дерево) мертвы в дагерротипе и оживают лишь под рукой художника. Наоборот: за несколько тысяч лет пепел покрыл целый город и похоронил его вместе со всеми обстоятельствами, которые могли случиться в минуту бедствия; наш современник, силою своего художнического духа, воскрешает эту минуту и, как волшебник, заставляет вас видеть то, чего, вероятно, ни один человек не видал; между тем картина Брюлова верна:⁹⁷ вас убеждает в том ощущение, которое она производит...

Вячеслав. Согласен, но Брюлов, как Рафаэль, как Микель-Анджело, также, вероятно, срисовывал свои группы с живых моделей, наблюдал извержение огнедышащих гор и другие явления природы...

Ростислав. Так! Но то ли чувство производят на нас в природе изломанная колесница, отшибенное колесо, пепельный дождь, самые лица людей в минуту подобного бедствия, как те же самые предметы в картине Брюлова? Откуда взялась вся прелесть этих предметов, которые в природе не могут иметь никакой прелести?

Фауст. Я не знаю, какую теорию по сему предмету составил себе наш великий художник; но замечу, что живописцы подвергаются оптическому обману, если думают, что они в своих картинах копируют природу; живописец, срисовывая с натуры, — лишь питается ею, как человеческий организм питается грубыми произведениями природы. Но как происходит этот процесс? Вещества, принимаемые нами в пищу, подвергаются живому брожению; лишь тончайшие их части остаются в организме и проходят чрез несколько

⁹⁵ Рюисдаль Якоб (1628–1682) — голландский пейзажист; его пейзажи имеются в Эрмитаже.

⁹⁶ Дагерротипом называется первый технически разработанный способ фотографирования (1839). Назван так по имени своего изобретателя Луи Дагерра (1789–1851).

⁹⁷ Имеется в виду картина Карла Павловича Брюллова (1799–1852) "Последний день Помпеи". Привезенная в августе 1834 г. в Петербург и выставленная для обозрения в Эрмитаже, картина имела шумный успех.

живых превращений, прежде нежели обратятся в нашу плоть: для больного, и еще менее для мертвого организма — пища бесполезна; живой организм долго может обходиться без пищи и жить собственной силой; но из этого не следует, чтоб он совершенно без нее мог обойтись. Все дело в хорошей переварке, которой первое условие: жизненная сила...

Виктор. Ваш разговор, господа, напоминает мне старинный анекдот. Однажды Бенвенуто Челлини, отливая серебряную статую, заметил, что металла мало; боясь, что отливка не удастся, он собрал все домашнее серебро: кубки, ложки, кольца, и бросил в горнило⁹⁸. Какой-то художник, который при отливке медной статуи был остановлен таким же препятствием, вспомнил догадку Бенвенуто и также начал бросать в горнило всю медную домашнюю посуду, — но опоздал: она не успела растопиться — и когда форму обломали, художник с отчаянием увидел, что из груди Венеры выглядывало дно кастрюльки, над глазами торчала ложка, и так далее...

Фауст. Ты совершенно попал на мою мысль: беда художнику, если внутреннее его горнило не в силах расплавить грубую природу и превратить ее в существо более возвышенное. Это необходимо во всех встречах человека с природою: горе ему, если он преклонится пред нею! Ростислав. О, без сомнения! Если б человек не был принужден из природы почерпать средства для своей жизни, то не было бы и повода к преступлениям... Напр, воровство, грабительство именно имеют причиною то, что человек нуждается в произведениях природы.

Фауст. С этим едва ли можно согласиться. Ты сам справедливо заметил, что в человеке есть не только светлая, но и темная область; там зарождаются наклонности, которыми готовятся преступления; иногда в душе человека уже преступление совершилось прежде того, что обыкновенно называют преступлением и что есть не что иное, как порочная наклонность, получившая осязаемую форму. Есть темные страсти — и, следственно, преступления, которые могут совершиться в человеке, даже если б он не был жильцом земного шара, даже если б он не был в сношении с себе подобными: хоть, напр, праздность и гордость, которые (что довольно замечательно) у всех народов, во всех преданиях почитаются матерями всех пороков. Я пойду далее: в природе, собственно, нет зла...

Ростислав. Ты в противоречии с действительностию; стоит взглянуть на естественные явления: нет растения, нет животного, которое не было бы принуждено жить разрушением или страданием какого-либо растения или животного. Если страдание не есть зло, то я не знаю, что разуметь под этим словом.

Виктор. Замечу для потомства, что господа идеалисты точно так же спорят, как и мы, бедные слуги грубой материальной природы... Следственно, идеальный мистический мир не есть еще царство мира...

Фауст. Во-первых, я не идеалист и не мистик: я эпикуреец, потому что ищу, где находится наибольшая сумма наслаждений для человека; я, если хочешь, естествоиспытатель, даже эмпирик, только с тою разницею, что не ограничиваюсь наблюдением одних материальных фактов, но нахожу необходимым разлагать и духовные. Во-вторых, замечу, также для потомства, что как бы ни спорили идеалисты, для них все-таки существует возможность когда-нибудь сойтись, ибо все они тянутся к центру, но каждого из вас, господа материалисты, тянет к какой-нибудь точке на окружности: оттого ваши пути беспрестанно расходятся. Виктор. Может быть! Но, говоря твоим любимым выражением, символ идеальных путей, кажется, суть асимптоты⁹⁹, которые, вечно приближаясь, никогда не сойдутся...

⁹⁸ О подобном случае, но с бронзой, рассказывает Челлини в своих воспоминаниях (см.: Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции. М., 1958, с. 429).

⁹⁹ Асимптота — прямая, к которой точка кривой неограниченно приближается при удалении в бесконечность.

Фауст. Я более согласен с тобою, нежели ты думаешь. Ты прав, и будешь прав до тех пор, пока человек не найдет настоящей квадратуры круга, разумеется, не в геометрическом смысле. {[* Должно вспомнить, что в мистических теориях круг есть символ вещественного мира, а квадрат, треугольник — духовного.]} Но обратимся к нашему вопросу: мы не в таком противоречии с Ростиславом, как кажется; но мы и не согласны друг с другом. Такой род распри, несмотря на свою наружную нелепость, всего чаще бывает между людьми. Чтоб определить, действительно ли нет зла во внешней природе, должно бы прежде определить, что такое зло; это завело бы нас слишком далеко и едва ли не было бы излишним. Для меня гораздо важнее и любопытнее определить, какое действие производит на душу человека одностороннее погружение в материальную природу и как действует аналогия между человеком и его занятиями? — В природе мы замечаем для всякого явления постоянные законы: ты посеял семя, сохранил все условия для его прозябения — оно выросло; забыл одно из этих условий — оно погубило; и так всегда — сегодня как вчера, как завтра. Внешнюю природу не умолишь, ее не тронешь раскаянием, в ней нет прощения: ошибся — расплачивайся, нет спасения, нет отсрочки; один день позабудь поливать любимое дорогое растение, несмотря на всю любовь к нему, несмотря на все сожаление — растение засохнет, и ничем не оживишь его. Этот закон прекрасен в своем месте, т. е. на нижней степени природы; человек, не поднимающийся выше этой степени, пораженный видом сего закона, хотел применить его к явлениям другого рода, напр к нравственным. "Смотрите на природу, наблюдайте ее законы, подражайте ее законам!" говорили энциклопедисты XVIII столетия, и говорят донныне их последователи в XIX веке...

Вячеслав. Однако укажи мне хоть одну систему нравственности, где отвергалось бы раскаяние и, следственно, возможность прощения...

Фауст. К счастью, теоретики по инстинкту часто изменяют логической последовательности. Правда, я не помню, чтоб кто-нибудь прямо отрицал право раскаяния, — но это отрицание истекает непосредственно из многих теорий, напр хоть из Бентамовой, Мальтусовой; оно даже разменялось на мелкую монету: с XVII века ходит по свету басня "Стрекоза и Муравей"¹⁰⁰; она переведена на все языки; ее первую дети выучивают наизусть. Не имела бы она такого успеха в XVIII веке, если б она не была выражением господствующей теории того времени, чего, верно, и в голову не приходило доброму Лафонтену. Обрати мораль этой басни в правило, последуй за его приложениями, и ты дойдешь до того, что, по строгой логике, больного отнюдь не должно лечить: "он болен, следственно он виноват, следственно должен быть наказан!". Такой вывод так же нелеп и так же логически верен, как знаменитая фраза Мальтуса: "Ты опоздал родиться, для тебя нет места на пире природы"; другими словами: "умирай с голода". Это преклонение пред законами вещественной природы, хотя не всегда, к счастью, достигает такой логической ясности, но по аналогии сильно действует на душу человека. Извините, господа материалисты, но закон растения, целиком перенесенный на почву человеческую, обращается в бессмысленный педантизм и сушит сердце. Такого педанта нельзя назвать злым, в собственном смысле этого слова; сухой человек не сделает зла без нужды и сделает его без всякого для себя удовольствия; злой человек сделает зло просто из желания зла, с наслаждением; но самый злой человек способен к состраданию, к раскаянию. Сухой педант, в нашем языке, чрезвычайно верно и глубоко называется деревяшкою; он, сообразно с своею кличкою, никого не любит, ничему не сострадает, ни в чем не раскаивается, но слепо следует так называемому закону природы: растет, вытягивает ветви и корни, заглушая другие растения, — не потому, чтоб он злился на своих соседей, а только потому, что с этой

¹⁰⁰ Басня, написанная французским поэтом Лафонтеном (1621–1695), была переложена затем и на другие языки. Русский вариант басни принадлежит Крылову. Утверждая, что мораль басни основана на преклонении "перед законами вещественной природы", которое "сушит сердце", Одоевский имеет в виду прежде всего финал басни, когда Муравей на просьбу Попрыгуньи-Стрекозы о помощи отвечает "безжалостной" сентенцией: "Ты все пела? это дело: так поди же, попляши!".

стороны теплее и сырее.

Виктор. Ты забываешь, что между так называемыми материалистами и проповедниками законов природы были люди, отличавшиеся высокою филантропиею, как напр Франклин...¹⁰¹

Фауст. Франклину так удалось разыграть свою роль, что до сих пор ее трудно отличить от сущности хитрого дипломата. Прочти его сочинения, и ты ужаснешься этого ложного, гордого смирения, этого постоянного лицемерия и этого эгоизма, скрытого под нравственными апофегмами¹⁰². От Франклина, по прямой линии, происходит филантроп-мануфактурист; я удивляюсь, как это психологическое явление до сих пор не подало мысли комикам; {[* В настоящее время существует уже много комедий на этот предмет.]} это настоящий Тартюф нашего века, ибо деревяшка может быть во всех образах, даже в образе филантропа; эта личина для него всего тягостнее: ему душно под нею; одна наверно рассчитанная выгода может заставить его разыгрывать роль филантропа. Мануфактурист-философ, в этом странном занятии, делает лишь необходимое; далее этой черты он не переходит; он не проникает в существо бедствий, но старается только как-нибудь замазать его, чтоб оно не так бросалось в глаза; он заботится о довольстве и нравственности, даже о религии своих работников, но единственно столько, сколько нужно для безостановочной работы на фабрике. Такая насмешка над самым возвышенным чувством, над христианскою любовию, не остается без наказания, и доказательства тому — совсем не филантропические явления, которые вы найдете в донесениях английскому парламенту о состоянии детей на фабриках, и даже у докторов Юра¹⁰³ и Баббежа¹⁰⁴, этих поборников индустриальной религии, и, наконец, ежедневно в газетах.

Виктор. Ты забываешь, однако, что именно мануфактурной филантропии мы обязаны одним из важнейших нрав XIX века на уважение потомства: исправительною системою тюрем.

Фауст. Я тогда согласился бы с тобою, когда бы в средние века монастыри не были настоящими исправительными заведениями и не достигали своей цели едва ли не с большим успехом, нежели всевозможные исправительные системы уединения, молчания, которые исправляют ли кого — бог весть, но доводят человека до сумасшествия очень верно. {* Особенно система молчания имеет это следствие. Не имея права по целым дням выразить своего сомнения или подозрения своему соседу, заключенный терзается мыслию, что на него что-либо донесли, и на этом пункте сходит с ума.} Думали, что можно исправить человека, как растение, пересадя его в теплицу; кажется, разочли очень верно все законы природы, которые могут на него действовать, свет, воздух, — но забыли одно: силу любви, двигающей горами; пока растение в теплице — оно, кажется, излечилось, исправилось; едва попало на прежнюю почву, все труды над ним потеряны, ибо живой жизни ему не дали. Так не говорите же, господа, что довольно знать на сем свете, не заботясь о том, каким путем пришло это знание.

¹⁰¹ Франклин действительно отличался филантропизмом: был, например, организатором первой в истории общественной "библиотеки для чтения" и первого в Америке общественного госпиталя.

¹⁰² Апофегма — краткое высказывание, изречение.

¹⁰³ Юр Эндрью (1778–1857) — английский химик и экономист. Одна из главных его работ — "Философия фабрики" (1835). Юр отстаивал необходимость удлинения рабочего дня, выступал против фабричного законодательства, ратовал за "полную свободу труда", которая на деле отдавала рабочего (в том числе и рабочих-подростков) неограниченному произволу капиталиста.

¹⁰⁴ Баббеж Чарльз (1792–1871) — английский математик и механик, автор книги "Economy of Machines and Manufactures" (1834), которую Бланки назвал "гимном в честь машин".

НОЧЬ ВОСЬМАЯ

(Продолжение рукописи)

СЕБАСТИЯН БАХ

В одном обществе нам показали человека лет пятидесяти, в черном фраке, сухоощавого, грустного, но с огненною, подвижною физиономиею. Он, как нам сказывали, уже лет двадцать занимается престранным делом: собирает коллекции картин, гравюр, музыкальных сочинений; для этой цели не жалеет он ни денег, ни времени; часто предпринимает дальние путешествия для того только, чтоб отыскать какую-нибудь неопределенную черту, случайно брошенную на бумагу живописцем, а не то — листок, исчерченный музыкантом; целые дни проводит он, разбирая свои сокровища, то по хронологическому, то по систематическому порядку, то по авторам; но чаще всего тщательно всматривается в эти живописные черты, в эти музыкальные фразы; складывает отрывки вместе, замечает их отличительный характер, их сходство и различие. Цель всех его изысканий — доказать, что под этими чертами, под этими гаммами кроется таинственный язык, доселе почти неизвестный, но общий всем художникам, язык, без знания которого, по его мнению, нельзя понять ни поэзии вообще, ни какого-либо изящного произведения, ни характера какого-либо поэта. Наш исследователь хвалился, что ему удалось найти смысл нескольких выражений этого языка и ими объяснить жизнь многих художников; он не шутя уверял, что такое-то движение мелодии означало грусть поэта, другое — радостное для него обстоятельство жизни; такое-то созвучие говорило о восторге; такая-то кривая линия означала молитву; таким-то колоритом выражался темперамент живописца и проч. Чудак преважно рассказывал, что он трудится над составлением словаря этих иероглифов — и уже впоследствии, при этом пособии, издаст исправленные и дополненные биографии разных художников; "ибо, — присовокуплял он с самым настойчивым педантизмом, — эта работа очень многосложна и затруднительна: для совершенного познания внутреннего языка искусств необходимо изучить все без исключения произведения художников, а отнюдь не одних знаменитых, потому что, — прибавлял он, — поэзия всех веков и всех народов есть одно и то же гармоническое произведение; всякий художник прибавляет к нему свою черту, свой звук, свое слово; часто мысль, начатая великим поэтом, договаривается самым посредственным; часто темную мысль, зародившуюся в простолюдине, гений выводит в свет не мерцающий; чаще поэты, разделенные временем и пространством, отвечают друг другу, как отголоски между утесами: развязка "Илиады" хранится в "Комедии" Данте; поэзия Байрона есть лучший комментарий к Шекспиру; тайну Рафаэля ищите в Альберте Дюрере; страсбургская колокольня — пристройка к египетским пирамидам¹⁰⁵; симфонии Бетховена — второе колено симфоний Моцарта... Все художники трудятся над одним делом, все говорят одним языком: оттого все невольно понимают друг друга; но простолюдин должен учиться этому языку, в поте лица отыскивать его выражения... так делаю я, так и вам советую". Впрочем, наш исследователь надеялся скоро привести свою работу к окончанию. Мы упросили его сообщить нам некоторые из его исторических разысканий, и он без труда согласился на нашу просьбу.

Рассказ его был так же странен, как его занятие; он одушевлялся одним чувством, но привычка соединять в себе разнородные ощущения, привычка перечувствовать чувства других производила в его речи сброд познаний и мыслей часто совершенно разнородных; он сердился на то, что ему недостает слов, дабы сделать речь свою нам понятною, и употреблял

¹⁰⁵ С египетскими пирамидами Одоевский сопоставляет Страсбургский собор, замечательный памятник готической архитектуры XIII–XIV вв.

для объяснения все, что ему ни попадалось: и химию, и иероглифику, и медицину, и математику; от пророческого тона он нисходил к самой пустой полемике, от философских рассуждений к гостиним фразам; везде смесь, пестрота, странность. Но, несмотря на все его недостатки, я жалею, что бумага не может сохранить его сердечного убеждения в истине слов, им сказанных, его драматического участия в судьбе художников, его особенного искусства от простого предмета восходить постепенно до сильной мысли и до сильного чувства, его грустную насмешку над обыкновенными занятиями обыкновенных людей.

Когда мы все уселись вокруг него, он окинул все собрание насмешливым взором и начал так:

"Я уверен, милостивые государи, что многие из вас слышали — хоть имя Себастьяна Баха; {[* В то время, когда это писалось, в Москве имя Себастьяна Баха было известно лишь весьма немногим музыкантам¹⁰⁶. Для меня Бах был почти первою учебною музыкальною книгою, которой большую часть я знал наизусть. Ничто тогда меня так не сердило, как наивные отзывы любителей о том, что они и не слыхивали о Бахе.]} даже, может быть, некоторым из вас приносил ваш фортепьянный учитель какую-нибудь сарабанду или жигу, или что-нибудь с таким же варварским названием, доказывал вам, что эта музыка будет очень полезна для выправления ваших пальцев, — и вы играли, играли, проклинали учителя и сочинителя и, верно, спрашивали у самих себя: что за охота была этому немецкому органисту прибирать трудности к трудностям и с насмешкой бросить их в толпу своих потомков, как лук одиссеев?¹⁰⁷ С тех пор, посреди блестящих, искрометных произведений новой школы, вы забыли и Себастьяна Баха, и его однообразные, минорные напевы, или одна мысль о них обдает вас холодом, как будто комментарий к поэме, предисловие к роману, вист посреди концерта, московские газеты {[* В эту эпоху московские газеты ("Московские ведомости") издавались на плохой бумаге, в каком-то старомодном формате и с удивительным во всех отношениях неряшеством. Известен ли читателю характеристический анекдот в ту эпоху, когда "Московские ведомости" увеличили свой формат. Это нововведение весьма не понравилось большей части подписчиков. Один помещик писал из деревни в редакцию: нельзя ли для него одного печатать экземпляры газеты в прежнем формате, обещаясь за то платить вдвое.]} между иностранными журналами в палевой веленовой обертке, с розовыми листочками. Между тем вы встречаете художника с пламенным сердцем, с возвышенным умом, который, в уединении кабинета, изучает творения забытого вами Баха, величает его именем вечно юного... сказать ли? — равного не находит ему в святилище звуков.

Вас удивляет это непонятное пристрастие; вы пробегаете мельком произведения бессмертного; и они вам кажутся гробницею какого-то Псамметиха¹⁰⁸, покрытою иероглифами; между ими и вами ряды веков, разноцветные облака новых произведений: они застилают пред вами таинственный смысл этих символов. Вы спрашиваете портрет Баха, — но искусство, описанное Лафатером¹⁰⁹, искусство переряжать лица великих людей в

¹⁰⁶ Новелла Одоевского о Бахе была по существу первой в России попыткой творчески воссоздать образ великого композитора. Долгое время имя Баха было мало известно не только в России, но и в Германии. Еще в конце XVIII в. Себастьяну Баху на его родине предпочитали "берлинского Баха", его второго сына. Возрождение имени и славы И. С. Баха относится к 20-30-м годам XIX в. и в значительной мере связано с трудами и заслугами Ф. Мендельсона-Бартольди.

¹⁰⁷ Здесь в значении непреодолимого препятствия. Верная жена Одиссея, Пенелопа, чтобы обмануть своих многочисленных "женихов" и оттянуть время, предложила им выявить достойнейшего и для этого померяться силою, выстрелить из огромного лука Одиссея. Никто из претендентов не мог даже натянуть лука Одиссея.

¹⁰⁸ Псамметих — имя трех царей Египта 26-й династии, правившей от 660 до 525 г. до н. э.

¹⁰⁹ Лафатер Иоганн Каспар (1741–1801) — швейцарский писатель и проповедник, автор многотомного сочинения "Физиогномические фрагменты для споспешествования познанию человека и человеческой любви"

карикатуры, впрочем сохраняя всевозможное сходство, еще не исчезло между живописцами, — и вместо Баха вам показывают какого-то брюзгливого старика с насмешливой миной, с большим напудренным париком, — с величием директора департамента. Вы принимаетесь за словари, за историю музыки, — о! не ищите ничего в биографиях Баха: в них поразит вас одно, что Фридрих Великий¹¹⁰, которого поэтическая душа в музыке искала убежища от антипоэтизма своего века и своих собственных мыслей, что насмешливый венценосец преклонял колена пред гармоническим алтарем Себастьяна; биографы Баха, как и других поэтов, описывают жизнь художника, как жизнь всякого другого человека; они расскажут вам, когда он родился, у кого учился, на ком женился; они готовы доказать вам, что Данте принадлежал к партии гибелинов, был гоним гвельфами и оттого написал свою поэму¹¹¹, что Шекспир пристрастился к театру, держа лошадей у подъезда, что Шиллер в пламенных стихах изливал свою душу оттого, что ставил ноги в холодную воду, что Державин был министром юстиции и оттого написал "Вельможу"; для них не существует святая жизнь художника — развитие его творческой силы, эта настоящая его жизнь, которой одни обломки являются в происшествиях ежедневной жизни; а они — они описывают обломки обломков, или... как бы сказать? — какой-то ненужный отсед, оставшийся в химическом кубе, из которого выпарился могучий воздух, приводящий в движение колеса огромной машины. Изуверы! они рисуют золотые кудри поэта — и не видят в нем, подобно Гердеру, священного леса друидов¹¹², за которым совершаются страшные таинства; на костылях входят они во храм искусства, как древле недужные входили в храм эскулапов, впадают в животный сон, пишут грезы на медных досках, во обман потомкам, и забывают о боге храма.

Материалы для жизни художника одни: его произведения. Будь он музыкант, стихотворец, живописец — в них найдете его дух, его характер, его физиономию, в них найдете даже те происшествия, которые ускользнули от метрического пера историков. Трудно выпытать творца из творения, как трудно открыть тайну всесоздателя в глыбах гнейса и кристаллах оксинита¹¹³ гор первородных; но одна вселенная вещает нам о всемогущем, — одни произведения говорят о художнике. Не ищите в его жизни происшествий простолюдина, — их не было; нет минут непоэтических в жизни поэта; все явления бытия освещены для него незаходимым солнцем души его, и она, как Мемнонова статуя¹¹⁴, непрерывно издает гармонические звуки...

(1774–1778). В этом сочинении излагается так называемая теория физиогномики — учение о возможности постигнуть характер и душевные свойства человека по совокупности черт его внешнего облика.

¹¹⁰ Фридрих (II) Великий (1712–1786) — король прусский, находился под известным влиянием французской просветительской культуры, вел переписку с Вольтером. В частной жизни окружал себя писателями и музыкантами.

¹¹¹ Ироническое суждение, основанное на том историческом факте, что в 1302 г. Данте как сторонник гибеллинов (партии, поддерживавшей германских императоров и выступавшей за независимую Флоренцию) был изгнан правящей партией "черных гвельфов" (сторонников власти папы) из Флоренции. В изгнании Данте написал "Божественную комедию".

¹¹² Друидами у древних кельтов назывались жрецы, совершавшие богослужение в лесах. Лес друидов — для Одоевского, как и для Иоганна Готфрида Гердера (1744–1803) — воплощение и символ таинственного и поэтического. О друидах Гердер пишет в работе "Fragmente fiber die neuere deutsche Literatur" (Фрагменты о новой немецкой литературе, — нем.). - Herders Werke in fiinf Banden. Bd. 2. Berlin-Weimar, 1964, S. 28. Интересно, что Гердер видит в друидах носителей поэтического, "орфического" начала немецкого языка.

¹¹³ гнейс... оксинит — горные породы.

¹¹⁴ Имеется в виду колоссальная статуя близ Фив, названная именем Мемнона, который, согласно греческой мифологии, был сыном Авроры и погиб во время Троянской войны от руки Ахиллеса. Как говорится в

* * *

Семейство Бахов сделалось известным в Германии около половины XVI-го столетия. Немецкие писатели, собиравшие материалы о сем семействе, начинают его историю с того времени, когда глава его, Фохт Бах¹¹⁵, гонимый за веру, переселился из Пресбурга в Турингию. Наши господа историки занимаются очень важными делами, — ну что бы им значило доказать, что Фохт Бах принадлежал к славянскому поколению, подобно Гайдну и Плейелю¹¹⁶ (в чем почти нет никакого сомнения), и превратить мое нравственное убеждение в историческое? {[* Довольно любопытно, что эта мысль, наведенная просто характером некоторых мелодий Баха, впоследствии нашла себе действительно некоторое историческое подтверждение. Бах есть не имя, а — прозвище¹¹⁷.]} Ведь им бы стоило только написать статью¹¹⁸, потом другую, да хорошенько испестрить ссылками, а потом сослаться на ту статью, как на дело решенное: ведь они основывают же первые века русской истории на сборнике монаха¹¹⁹, для препровождения времени списывавшего гофмановские повести византийских летописцев! И кто до Нибура¹²⁰ сомневался в существовании Ромула и Нумы Помпилия? Давно ли троянская война выпущена из введений к историям всех

предании, при первом прикосновении лучей солнца статуя издавала мелодичные звуки, как бы приветствуя свою мать-зарю (Аврору).

¹¹⁵ Родоначальником многочисленного музыкального племени Бахов считается Фейт (Фохт) Бах, булочник и большой любитель музыки. Сын его Ганс, его внуки и правнуки были уже музыкантами по профессии, и притом число их было так велико, что со второй половины XVII в. почти все музыкальные должности в Веймаре, Эрфурте и Эйзенахе сделались как бы наследственными в роде Бахов.

¹¹⁶ В соответствии с некоторыми источниками, Иосиф Гайдн (1732–1809) родился в семье славянского (хорватского) происхождения. Подобная же версия существовала и относительно ученика Гайдна — Игнаца Плейеля (1757–1831). Мысль о славянском происхождении Баха высказывалась Одоевским неоднократно, однако основана она более на поэтической вере, на внутренней убежденности, нежели на документально подтвержденных фактах. Такой подход, впрочем, характерен не для одного Одоевского. Ср. отмеченное Б. Ф. Егоровым желание Ап. Григорьева, а также Н. Г. Чернышевского сделать славянином Лессинга (см.: Григорьев Аполлон. Литературная критика. М., 1967, с. 561, примеч. 18).

¹¹⁷ На протяжении XVII и XVIII вв. в Тюрингии жило и работало столько флейтистов, скрипачей и органистов из рода Бахов, что там чуть ли не каждого музыканта стали называть Бахом и каждого Баха — музыкантом (см.: Хубов Георгий. Себастьян Бах. М., 1963, с. 11–15).

¹¹⁸ Ирония Одоевского направлена против ученых историков и особенно против представителей критической, так называемой "скептической школы" в русской историографии начала XIX в.: Каченовского, Шлецера и др.

¹¹⁹ Здесь, возможно, Одоевский имеет в виду тех историков, которые (по его мнению, без достаточных оснований) принимали на веру летописные сказания о призвании князей варяжских в Россию. Это относится и к Карамзину, который в "Истории Государства Российского" (т. I, гл. IV) писал о введении в России самовластия "с общего согласия граждан" и при этом ссылаясь на авторитет "нашего летописца" Нестора (Карамзин Н. История Государства Российского. Т. I. СПб., 1851, с. 112).

¹²⁰ Нибур Бартольд Георг (1776–1831) — немецкий историк античности. С 1811 по 1832 г. выходила в трех частях основная его работа — "Римская история". Нибур был сторонником критического метода в изучении истории, который порой приводил его к крайностям. Одна из таких крайностей отрицание достоверности римской традиции, в частности легенд о Ромуле и Нуме Помпилии.

народов?¹²¹

А это, право, стоит работы. Здесь идет дело не о спорах удельных князьков за дюжину деревянных избышек, не о куньих мордках¹²², но о многочисленном семействе, в продолжение нескольких поколений сохранившем поэтическое чувство, — явление беспримерное в летописях изящных искусств и физиологии. Долго ли нам, вместе с компанией промышленников, поселившихся в Северной Америке, и с европейскими китайцами, которых обыкновенно называют англичанами, почитать поэзию за излишнюю стихию в политическом обществе — и внутреннюю сущность жизни взвешивать на деньги, доказывать, что она ничего не весит, и потом простосердечно удивляться бедствиям общества и бедствиям человека?

В самом деле, чувство религиозное и любовь к гармонии свыше осенили семью Бахов. В безмятежной пристани Фохт посвящал простосердечные дни своим детям и музыке, в течение времени дети его разошлись по разным краям Германии; каждый из них завел свое семейство, каждый вел жизнь тихую и простую, подобно отцу своему, и каждый в храме господнем возвышал души христиан духовною музыкаю; но в назначенный день в году они все соединялись, как разрозненные звуки одного и того же созвучия, посвящали целый день музыке и снова расходились к своим прежним занятиям.

В одном из этих семейств родился Себастьян; вскоре потом умерли отец и мать его: природа сотворила их, чтоб произвести великого мужа, и потом уничтожила, как предметы, более не нужные. Себастьян остался на руках [Иоганна] Христофора¹²³, своего старшего брата.

[Иоганн] Христофор Бах был человек важный в своем околке. Он никогда не забывал, что отец его, Амвросий Бах, был гоф-унд-ратсмузикус в Эйзенахе, а дядя его, [также] Иоганн Христофор Бах, — гоф-унд-штатс-музикус в Арнштадте и что он сам имеет честь быть органистом ордруфской соборной церкви. {[* Себ. Бах род. в Эйзенахе 1685 марта 21, ум 1750 июля 30 (по "Real-Encyklopa'die" — июля 28). Христофор Бах был его Zwillingsbruder. Старший брат Баха назывался: Iohann Cristopf и был органистом в Ордруфе. Reissman, "Von Bach zu Wagner", 1861, Berlin, p. 4.]} Он уважал свое искусство, как почтенную старую женщину, и был с ним вежлив, осторожен и почтителен до чрезвычайности. Бюффон¹²⁴ перенял у Христофора Баха привычку приниматься за работу

¹²¹ В XIX в. в исторической науке было выдвинуто предположение, что троянской войны в действительности не было и что поэтические предания на эту тему являются лишь смутным отражением борьбы греков с местным населением во время колонизации побережья Малой Азии. Последующие раскопки в местах, упомянутых в эпосе Гомера, — и в первую очередь раскопки Трои, осуществленные Генрихом Шлиманом (1822–1890), решительно опровергли эту точку зрения и вернули Трою и троянскую войну истории.

¹²² Так называемые "куньи мордки" были разновидностью кожаных (меховых) денег, получивших распространение на Руси в XII в. Теорию кожаных денег принимали, однако, далеко не все историки. В связи с этой проблемой в исторической науке, современной Одоевскому, возникла оживленная дискуссия. Одним из активных противников теории, утверждавшей существование в древней Руси кожаных денег, был глава скептической школы в русской историографии — М. Т. Каченовский. В 1828 г. в журнале "Вестник Европы" (э 13, с. 17–48) он опубликовал специальную статью на эту тему: "О белых лобках и куньих мордках". Возможно, что Одоевский, иронизируя над историками, занимающимися пустыми предметами, имеет в виду прежде всего эту статью Каченовского.

¹²³ В 1694 г. умерла мать И. С. Баха, а в начале следующего года скончался и отец. Иоганна Себастьяна вместе с другим братом, Иоганном Якобом, взял на воспитание старший брат Иоганн Христоф (1671–1721), органист и школьный учитель в Ордруфе.

¹²⁴ Бюффон Жорж Луи Леклер (1707–1788) — французский ученый-натуралист, автор многотомной "Естественной истории", вышедшей в русском переводе под названием "Всеобщая и частная история естественная графа де Бюффона" (СПб., 1789–1808).

не иначе, как во всем параде. Действительно, Христофор садился за клавикорд или за органы не иначе, как в чулках и башмаках и в пуклях с кошельком, величественно возлегавшим по плисовому оранжевому кафтану, между двумя стразовыми блестящими пуговицами; никогда ни септима, ни нона¹²⁵ без приготовления не вырывались из-под его пальцев; не только в церкви, но даже дома, даже из любопытства Христофор не позволял себе этого в его молодости бывшего нововведения, которое он называл неуважением к искусству. Из музыкальных теоретиков он знал лишь Гаффория¹²⁶ "Opus musicae disciplinae" {*} и держался этой дисциплины, как воинской; 40 лет он прожил органистом одной и той же церкви; 40 лет каждое воскресенье играл почти один и тот же хорал, 40 лет одну и ту же к нему прелюдию — и только по большим праздникам присоединял к ней в некоторых местах один форшлаг и два триллера¹²⁷, и тогда слушатели говорили между собою: "о! сегодня наш Бах разгорячился!". Но зато он был известен за чрезвычайного искусника составлять те музыкальные загадки, которые, по тогдашнему обычаю, задавали музыканты друг другу: никто труднее Христофора не выдумывал хода канону; {*} Знающие музыку догадаются, что здесь дело идет о том, что немцы называют Rathsel-Canon; для не знающих музыки тщетно хотел бы я объяснить значение этого слова.} никто не приискивал ему замысловатее эпиграфа. Неподвижный даже в выборе разговора, он в веселый час обыкновенно говорил только о двух предметах: 1-е, о заданном им каноне с эпиграфом: Sit trium series una, {*. Читателям веберовой "Цецилии" известно, что подобный канон был задан и музыкантам XIX столетия.} в котором голоса должны были идти блошиным шагом и которого не могли разрешить все эйзенахские контрапунктисты, и 2-е, о черной обедне (Messa nigra), сочинении его современника Керля¹²⁸, так названной потому, что в ней были употреблены не одни белые ноты, но и четверти, что тогда почиталось удивительною смелостью. Христофор Бах удивлялся ему, но называл вредным нововведением, которое некогда должно будет вконец разорить музыкальное искусство. Следуя сим-то правилам, Христофор Бах занимался музыкальным воспитанием своего меньшего брата Себастьяна; он любил его, как сына, и потому не давал ему поблажки. Он написал на нотном листочке прелюдию и заставил Себастьяна играть ее по несколько часов в день, не показывая ему никакой другой музыки; а по истечении двух лет перевернул нотный листок вверх ногами и заставил Себастьяна в этом новом виде разыгрывать ту же прелюдию, и также в продолжение двух лет; а чтоб Себастьян не вздумал портить своего вкуса какой-нибудь фантазией, он никогда не забывал запирать своего клавихорда, выходя из дома. По той же причине тщательно скрывал он от Себастьяна все произведения новейших музыкантов, хотя сам уже не совсем следовал правилам Гаффория; но дабы наиболее утвердить Себастьяна в началах чистой гармонии, не давал ему читать никакой другой книги; часто свои объяснения на нее перерывал сильными выходками против итальянцев; в доказательство показывал на приведенную Гаффорием в пример *Litaniae mortuorum discordantes*, {Душераздирающую заупокойную службу (лат.).} музыку, всю составленную из диссонансов, и старался вселить в юную душу Себастьяна ужас к такому беззаконию. Часто слыхали, как Христофор хвалился, что, следуя своей системе, он через 30 лет сделает своего меньшего брата первым органистом в Германии.

¹²⁵ септима... нона — разновидности музыкальных интервалов.

¹²⁶ Гаффори Франкино (1451–1522) — итальянский музыкальный теоретик, знаток теории музыки греков, стремившийся согласовать эту теорию с требованиями современной музыки.

¹²⁷ Форшлаг и триллер представляют собой разновидности мелодических украшений в музыкальном произведении (мелизмов). Форшлаг состоит из одного или нескольких звуков, предвещающих основной звук мелодии; триллер, или трель — многократное, быстрое чередование двух смежных звуков.

¹²⁸ Керль Иоганн-Каспар (1625–1690) — немецкий композитор и органист, имевший влияние на творчество И. С. Баха.

{[* Gaforus, oder Gafurius, как написано в Valthern "Musik. Lexicon", Leipzig, 1732, p. 270. Самый этот лексикон уже библиографическая редкость. На приложенной к лексикону гравюре изображен органист, играющий на органе, и за ним капельмейстер и оркестр, где замечательно, что смычки скрипок, или точнее виол — не прямые, но согнутые, почти как контрабасные; еще любопытны весьма длинные трубы, ныне уже не существующие. На стене висят валторна, теорба¹²⁹ и нечто похожее на рожки. Все музыканты, разумеется, в огромных париках с косами, чулках и башмаках.

Мне удалось видеть лишь два сочинения Гафурия в дивной библиотеке Сергея Александровича Соболевского¹³⁰; оба — суть величайшая библиографическая редкость и высшей важности для истории музыки; одно: *Practice musica Franchini Gafori Londensis*, Milano, 1496, in 4ь, и другое: *Franchini Gafurii... de VHarmonia musicorum instrumentorum opus*, Milano, 1518, in 4ь.}}

Себастьян почитал Христофора, как отца, и, по древнему обычаю, беспрекословно во всем ему повиновался; ему и в мысль не приходило сомневаться в братнем благоразумии; он играл, играл, учил, учил, и прямо, и вверх ногами, четырехлетнюю прелюдию своего наставника: но наконец природа взяла свое: Себастьян заметил у Христофора книгу, в которую последний вписывал различные жиги, сарабанды, мадригалы знаменитых тогда Фроберга¹³¹, Фишера¹³², Пахельбеля¹³³, Букстегуда¹³⁴; в ней также находилась и славная керлева черная обедня, о которой Христофор не мог говорить равнодушно. Часто Себастьян заслушивался, когда брат его медленно, задумываясь на каждой ноте, принимался разыгрывать эти заветные произведения. Однажды он но утерпел и робко, сквозь зубы, попросил Христофора позволить ему испытать свои силы над этими иероглифами.

Христофору показалось такое требование непростительною в молодом человеке самонадеянностью; он с презрением улыбнулся, прикрикнул, притопнул и поставил книгу на прежнее место.

Себастьян был в отчаянии; и днем и ночью недоконченные фразы запрещенной музыки звенели в ушах его; их докончить, разгадать смысл их гармонических соединений — сделалось в нем страстию, болезнию. Однажды ночью, мучимый бессонницею, юный Себастьян напевал потихоньку, стараясь подражать звукам глухого клавихорда, некоторые фразы заветной книги, оставшиеся у него в памяти, но многого он не понимал и многого не помнил. Наконец, выбившись из сил, Себастьян решился на дело страшное: он поднялся потихоньку с постели на цыпочки и, пользуясь светлым лунным сиянием, подошел к шкафу, засунул ручонку в его решетчатые дверцы, выдернул таинственную тетрадь, раскрыл ее...

¹²⁹ Теорба — струнный щипковый инструмент, представлявший собой басовую разновидность лютни; применялся с XVI в.; во второй половине XVIII в. вышел из употребления.

¹³⁰ Начало своей обширной библиотеке С. А. Соболевский (1803–1870), друг Пушкина и В. Одоевского, библиограф, библиофил и поэт, положил во время долгого путешествия за границей (с 1828 г.). О библиотеке С. А. Соболевского см.: В. А. Кунин. История библиотеки Соболевского. — В кн.: Альманах библиофила. М., 1973, с. 78–98.

¹³¹ Фроберг Иоганн-Якоб (1616–1667) — немецкий композитор, один из предшественников И. С. Баха в органном и клавирном исполнительском искусстве.

¹³² Фишер Иоганн (1650–1746) — немецкий композитор, автор многочисленных мадригалов, а также сюит, арий, увертюр, танцев.

¹³³ Пахельбель Иоганн (1653–1706) — немецкий композитор и органист.

¹³⁴ Букстегуд Дитрих (1637–1707) — последний из замечательных мастеров немецкой добаховской музыки. Много в органных произведениях Букстегуде — в его фантазиях, токкатах и пр. — предвещает будущие достижения И. С. Баха.

Кто опишет восторг его? мертвые ноты зазвучали пред ним; то, чего тщетно он отыскивал в неопределенных представлениях памяти, то ясно выговаривалось ими. Целую ночь провел он в этом занятии, с жадностью перевертывая листы, напевая, ударяя пальцами по столу, как бы по клавишам, беспрестанно увлекаясь юным, пламенным порывом и беспрестанно пугаясь каждого своего несколько громкого звука, от которого мог проснуться строгий Христофор. Поутру Себастьян положил книгу на прежнее место, дав себе слово еще раз повторить свое наслаждение. Едва он мог дожидаться ночи и едва она наступила, едва Христофор выкурил и поколотил о стол свою фарфоровую трубку, как Себастьян опять за работу; луна светит, листы перевертываются, пальцы стучат по деревянной доске, трепещущий голос напевает величественные тоны, приготовленные для органа во всем его бесконечном великолепии... Вдруг у Себастьяна рождается мысль сделать это наслаждение еще более сподручным: он достает листы нотной бумаги и, пользуясь слабым светом луны, принимается списывать заветную книгу; ничто его не останавливает, — не рябит в молодых глазах, сон не клонит молодой головы, лишь сердце его бьется и душа рвется за звуками... О, господи, этот восторг был не тот восторг, который находит на нас к концу обеда и проходит с пищеварением, и не тот, который называют наши поэты мимолетным: восторг Себастьяна длился шесть месяцев, ибо шесть месяцев употребил он на свою работу, — и во все это время, каждую ночь, как пламенная дева, приходило к нему знакомое наслаждение; оно не вспыхивало и не гасло, оно тлело тихо, ровным, но сильным огнем, как тлеет металл, очищаясь в плавильном горниле. Вдохновение Себастьяна в это время, как и во все время земного бытия его, было вдохновение, возведенное в степень терпения. Уже работа, изнурившая его силы, испортившая на всю жизнь его зрение, приходила к окончанию, как однажды, когда днем Себастьян хотел полюбоваться на свое сокровище, Христофор вошел в комнату; едва взглянул он на книгу, как угадал хитрость Себастьяна и, несмотря ни на просьбы, ни на горькие его слезы, жестокосердый с хладнокровием бросил в печь долгий и тяжкий труд бедного мальчика. Удивляйтесь, господи, после этого вашему мифологическому Бруту: я здесь рассказываю вам не мертвый вымысел, а живую действительность, которая выше вымысла. Христофор нежно любил своего брата, понимал, как тяжело огорчит он его гениальную душу, отняв у него плод долгой и тяжелой работы, видел его слезы, слышал его стоны, — и все это весело принес в жертву своей системе, своим правилам, своему образу мыслей. Не выше ли он Брута, господи? или по крайней мере не равен ли этот подвиг с знаменитейшими подвигами языческой добродетели?

Но Себастьян не имел нашего высокого понятия об общественных добродетелях, не понял всего величия христофорова поступка: комната завертелась вокруг него, он готов был вслед за своею работою отправить и экземпляр этого проклятого Гаффория, который был всему виною, — а я должен предупредить гг. библиоманов, что этот экземпляр, подвергавшийся столь явной опасности, был ни больше, ни меньше, как напечатанный в Неаполе per Fraciscum de Dine, anno Domini 1480, in 4^ь, то есть editio princeps, {Первое издание (лат.).} и что, может быть, это был тот самый, едва ли не единственный экземпляр, который сохранился до нашего времени. Но бог библиомании, неизвестный древним, спас драгоценное издание; и обратил Немезиду на голову Христофора, который вскоре после сего происшествия умер, как мы увидим ниже. Это также нечто вроде истории Брутов, и я уверен, что оно попадет в какую-нибудь хрестоматию в число поучительных исторических примеров.

Незадолго перед кончиною Христофора настал день, в который Себастьян должен был явиться на так называемую в лютеранской церкви конфирмацию¹³⁵. Христофор Бах пожелал, чтоб это важное происшествие в жизни протестанта случилось при могиле общего отца их, дабы она была, так сказать, свидетелем, что старший брат вполне исполнил

¹³⁵ Конфирмацией называется особый церковный обряд у католиков и протестантов, сопровождающий прием подростков в общину верующих.

родительскую обязанность. Для сего в первый раз завили букли Себастиану, напудрили его, приделали кошелек, сшили ему французский полосатый кафтан из старого бабушкина робронда и повезли в Эйзенах.

Здесь в первый раз Себастиан услышал звуки органа. Когда полное, потрясающее сердце созвучие, как дуновение бури, слетело с готических сводов, — Себастиан позабыл все его окружающее; это созвучие, казалось, оглушило его душу; он не видал ничего — ни великолепного храма, ни рядом с ним стоявших юных исповедниц, почти не понимал слов пастора, отвечал, не принимая никакого участия в словах своих; все нервы его, казалось, наполнились этим воздушным звуком; тело его невольно отделялось от земли... он не мог даже молиться. Христофор сердился и не мог понять, отчего прилежный, смиренный, кроткий, даже робкий Себастиан, столь твердо выучивший катехизис в Ордруфе, хуже всех и как будто с досадою отвечал пастору в Эйзенахе, отчего Себастиан замарал свой кафтан об стену, оставил на башмаке пряжку незастегнутою, был рассеян, невежлив, толкал своих соседей, не уступал места старикам и не умел никому выговорить одну из тех длинных кудрявых фраз, которыми немцы в то время измеряли степень своего уважения. В понятиях Христофора музыка соединялась со всеми семейными и общественными обязанностями: фальшивая квинта и невежливое слово были для него совершенно одно и то же, и он был твердо уверен, что человек, не наблюдающий всеми принятыми обычностями, невежливый, неопрятно одетый, никогда не может быть хорошим музыкантом, и наоборот, — и в добром Христофоре зародилось грустное сомнение: неужели он ошибся в своей системе — или, лучше сказать, в своем брате — и из Себастиана не выйдет ничего путного?

Это сомнение обратилось в уверенность, когда после обедни он повел Себастиана к Банделеру, славному органному мастеру того времени и родственнику семейства Бахов. После обеда веселый Банделер, по старинному обычаю, предложил собеседникам спеть так называемый Quodlibet {Что угодно (лат.).} — род музыки, бывшей тогда в большом употреблении; в ней все участвовавшие пели народные песни, все вместе, но каждый свою, и за величайшее искусство почиталось вести свой голос так, чтоб он, несмотря на разноголосицу, составлял с другими голосами чистую гармонию. Бедный Себастиан попадал беспрестанно в фальшивые квинты, и немудрено: он засматривался, засматривался, увы! не на кроткую и прекрасную Энхен, дочь Банделера, которой живой портрет можете видеть в Эрмитаже, в изображении молодой девушки, нарисованной Лукою Кранахом¹³⁶, — Себастиан засматривался на огромные деревянные и свинцовые трубы, клавиши, педали и другие принадлежности недоконченного органа, находившиеся в столовой комнате; его юный ум, пораженный видом этого хаоса, трудился над разрешением задачи: каким образом столь низкие предметы порождают величественную гармонию? Христофор был в отчаянии.

После обеда старики развеселились, разговорились. Христофор Бах уже выкурил десятую трубку, уже в десятый раз рассказывал анекдот про свой канон и про арнштадтских органистов, и уже в десятый раз все присутствующие принимались смеяться от чистого сердца, — когда заметили, что Себастиан исчез. Общее смятение. Туда, сюда — нет Себастиана; Христофор в первую минуту подумал, что Себастиан, уставший от дневных хлопот, захотел ранее лечь в постелью; но он ошибся: Себастиан не возвращался. Христофор, не нашедши его дома, рассердился, огорчился, выкурил трубку и заснул в обыкновенное время.

И немудрено, что не отыскивали Себастиана. Никому не могло прийти в голову, что он в то время по узким эйзенахским улицам пробирался к соборной церкви. Мысль — рассмотреть, откуда и как происходят те волшебные звуки, которые поразили его душу еще поутру, во время обедни, зародилась в голове Себастиана, и он положил: во что бы то ни стало доставить себе это наслаждение.

¹³⁶ В Эрмитаже и сейчас висит портрет, выполненный кистью немецкого живописца Лукаса Кранаха-старшего (1472–1553), на котором изображена принцесса из Саксонского дома.

Долго искал он входа в церковь. Главные ворота были заперты; уже Себастиан готов был забраться по наружной стене в открытое в двух саженях от земли окошко, не боясь ни сломить головы, ни навлечь на себя подозрения в святотатстве, когда вдруг, к великой радости, он увидел низенькую, не крепко притворенную дверь; он толкнул — дверь отворилась; маленькая круглая лестница представилась глазам его; дрожа от страха и радости, он быстро побежал по ней, шагая через несколько ступеней, и наконец очутился в каком-то узком месте... перед ним ряды колонн, разной величины мехи, готические украшения. Луна, и теперь покровительствовавшая ему, мелькнула в разноцветные стекла полукруглых окошек, и Себастиан едва не вскрикнул от восхищения, когда увидел, что находится на том месте, где поутру видел органиста; смотрит — перед ним и клавиши, — как будто манят его изведать его юные силы; он бросается, сильно ударяет по ним, ждет, как полногласный звук грянет о своды церкви, — но орган, как будто стон гневного мужа раздался, испустил нестройное созвучие по храму и умолкнул. Тщетно Себастиан брал тот и другой аккорд, тщетно трогал то одну, то другую клавиатуру, тщетно выдвигал и вдвигал находившиеся вблизи рукоятки, — орган молчал, и только глухой костяной стук от клавишей, приводивших в движение клапаны труб, как будто насмехался над усилиями юноши. Холод пробежал по жилам Себастиана: он помыслил, что бог наказывает его за святотатство и что органу суждено навсегда молчать под его рукою; эта мысль привела его почти в беспамятство; но наконец он вспомнил виденные им мехи и с улыбкою догадался, что без их движения орган играть не может, что первый звук, им слышанный, происходил от небольшого количества воздуха, оставшегося в каком-либо воздухопроводе; он подосадовал на свое невежество и бросился к мехам; сильною рукою он приводил их в движение и потом опрометью бегал к клавиатуре, чтобы воспользоваться тем количеством воздуха, которое не успевало вылетать из меха, пока он добегал до клавиатуры; но тщетно, — не вполне потрясенные трубы издавали лишь нестройные звуки, и Себастиан обессилел от долгого движения. Чтоб не потерять напрасно плодов своего ночного путешествия, он вознамерился по крайней мере осмотреть это чудное для него произведение искусства. По узкой лестнице, едва приставленной к верхнему этажу органа, он пробрался в его внутренность. С изумлением смотрел он на все его окружавшее: здесь огромные четверугольные трубы, как будто остатки от древнего греческого здания, тянулись стеною одна над другой, а вокруг их ряды готических башен возвышали свои остроконечные металлические колонны; с любопытством рассматривал он воздухопроводы, которые, как жилы огромного организма, соединяли трубы с несметными клапанами клавишей, чудно устроенную машину, не издающую никакого особенного звука, но громкое сотрясение воздуха, соединяющееся со всеми звуками, которому никакой инструмент подражать не может...

Вдруг он смотрит: четверугольные столбы поднимаются с мест своих, соединяются с готическими колоннами, становятся ряд за рядом, еще... еще — и взорам Себастиана явилось бесконечное, дивное здание, которого наяву описать не может бедный язык человеческий. Здесь таинство зодчества соединилось с таинствами гармонии; над обширным, убегающим во все стороны от взора помостом полные созвучия пересекались в образе легких сводов и опирались на бесчисленные ритмические колонны; от тысячи курильниц восходил благоухающий дым и всю внутренность храма наполнял радужным сиянием... Ангелы мелодии носились на легких об лаках его и исчезали в таинственном лобзании; в стройных геометрических линиях воздымались сочетания музыкальных орудий; над святилищем восходили хоры человеческих голосов; разноцветные завесы противозвучий свивались и развивались пред ним, и хроматическая гамма игривым барельефом струилась по карнизу... Все здесь жило гармоническою жизнью, звучало каждое радужное движение, благоухал каждый звук, — и невидимый голос внятно произносил таинственные слова религии и искусства...

Долго длилось сие видение. Пораженный пламенным благоговением, Себастиан упал ниц на землю, и мгновенно звуки усилились, загремели, земля затряслась под ним, и Себастиан проснулся. Величественные звука еще продолжались, с ними сливается говор

голосов ... Себастьян осматривается: дневной свет поражает глаза, — он видит себя во внутренности органа, где вчера он заснул, обессиленный своими трудами.

Себастьян никак не мог верить своего брата, что провел ночь в церкви, играя на органе; невольное движение души, руководившее Себастьяна в сем случае, было непонятно Христофору. Напрасно говорил ему Себастьян о непостижимом чувстве, которое увлекло его, о своем нетерпении, о своем восторге. Христофор отвечал, что ему самому это все известно, что действительно восторг должен существовать в музыканте, как о том пишет и Гаффорий, но что для восторга должно выбирать пристойное время; он доказывал убедительными доводами и примерами, что всякий восторг, всякая страсть должна основываться на правилах благоразумия и пристойного поведения, точно так же, как всякая музыкальная идея — на правилах контрапункта, а не на нарушении всех правил, приличий и обычаев; что увлекаться каким бы то ни было чувством есть дело человека безнравственного и неблаговоспитанного; за сим непосредственно он с новым жаром начинал упрекать Себастьяна, напоминал ему, что ни отцу, ни деду его, ни прадеду никогда не случилось не ночевать дома, и в заключение приписывал все бывшее с Себастьяном выдумке молодого человека, который хочет ею прикрыть какие-нибудь непозволительные шалости.

Это происшествие утвердило Христофора в мысли, что Себастьян — человек погибший, и столько огорчило его, что причинило ему болезнь, от которой он вскорости переселился в вечную жизнь. Себастьян ужаснулся, не нашедши у себя в сердце полного сожаления о потере своего воспитателя.

* * *

Себастьян не возвращался более в Ордруф, но, оставшись в Эйзенахе, посвятил жизнь свою развитию своего музыкального дара. {[* В одну из моих заграничных поездок я нарочно остановился в Эйзенахе и, разумеется, прежде всего спросил: где дом Себастьяна Баха. Трактирный лакей долго не возвращался, но наконец пришел ко мне с известием, что господина Баха в Эйзенахе уже нет. — Где же он? — спросил я. "Говорят, что г. Бах умер", отвечал аккуратный лакей.]} С благоговением он выслушивал уроки разных славных органистов, находившихся в этом городе, но ни один из них не удовлетворял его неумолимой любознательности. Тщетно выспрашивал он у своих учителей тайны гармонии; тщетно спрашивал их, каким образом наше ухо понимает соединения звуков? отчего чувства слуха нельзя поверить никаким другим физическим чувством? отчего такое соединение одних и тех же звуков приводит в восторг, а другое раздражает слух? Учители отвечали ему условными искусственными правилами, но эти правила не удовлетворяли ума его; то чувство о музыке, которое осталось в его душе после таинственного его видения, было ему понятнее, но словами он сам не мог себе дать в нем отчета.

Воспоминание об этом видении не оставляло Себастьяна ни на минуту; он не мог бы вполне даже рассказать его, но впечатление, произведенное этим чувством, жило и мешалось со всеми его мыслями и чувствами и накидывало на них как бы радужное покрывало. Когда он рассказывал о сем Банделеру, которого не переставал посещать после смерти Христофора, старик смеялся и советовал ему не думать о грезах, а употреблять свое время на изучение органного мастерства, уверяя, что оно может доставить ему безбедное на всю жизнь пропитание.

Себастьян, в простоте сердца, почти верил словам Банделера и негодовал на себя, зачем сновидение так часто и против его воли приходит к нему в голову.

В самом деле, Себастьян в скором времени переселился к Банделеру и со всем возможным рвением принялся учиться его ремеслу, а потом и помогать ему. С величайшим рачением он обтачивал клавиши, вымеривал трубы, приделывал поршни, выгибал проволоку, обклеивал клапаны; но часто работа выпадала у него из рук, и он с горестию помышлял о неизмеримом расстоянии, разделявшем чувство, возбужденное в нем

таинственным его видением, от ремесла, на которое он был осужден; смех работников, их пошлые шутки, визг настраиваемых органов выводили его из задумчивости, и он, упрекая себя в своем ребяческом мечтательстве, снова принимался за работу. Банделер не замечал таких горьких минут души Себастьяновой; он видел только его прилежание, и в голове старика вертелись другие мысли: он часто ласкал Себастьяна при своей Энхен, или ласкал свою Энхен при Себастьяне; часто заводил он речь об ее искусстве вести расход и заниматься другим домашним хозяйством, потом о ее набожности, а иногда и о милovidности. Энхен краснела, умильно посматривала на Себастьяна, и с некоторого времени стали замечать в доме, что она с большим рачением начала крахмалить и выглаживать свои манжеты и еще с большим прилежанием и гораздо больше времени, нежели прежде, проводить на кухне и за домашними счетами.

Однажды Банделер объявил своим домашним, что у него будет к обеду старый его товарищ, недавно приехавший в Эйзенах, люнебургский органный мастер Иоганн Албрехт. "Я его до сих пор люблю, — говорил Банделер, — он человек добрый и тихий, истинный христианин, и мог бы даже быть славным органным мастером; но человек странный; за все хватается: мало ему органов, нет! он хочет делать и органы, и клавиxорды, и скрипки, и теорбы; и над всем этим уж мудрит, мудрит — и что же из этого выходит? Слушайте, молодые люди! Закажут ему орган — он возьмет и, нечего сказать, работает рачительно — не месяц, не два, а год и больше, — да не утерпит, вернет в него какую-нибудь новую штуку, к которой не привыкли наши органисты; орган у него и останется на руках; рад, рад, что продаст его за полцены. Скрипку ли станет делать... Вот сосед наш Клоц¹³⁷ — он нашел секрет: возьмет скрипку старого мастера Штейнера¹³⁸, снимет с нее мерку, вырежет доску точь-в-точь по ней, и дужку подгонит, и подставку поставит, и колки вернет, и выйдет у него из рук не скрипка, а чудо; оттого у него скрипки нарасхват берут, не только что в нашей благословенной Германии, но и во Франции, и в Италии — и вот посмотрите, наш сосед какой себе домик выстроил. Старик же Албрехт? — станет он мерку снимать... все вычисляет, да вымеривает, ищет в скрипке какой-то математической пропорции: то снимет с нее четвертую струну, то опять навяжет, то выгнет деку, то выпрямит, то сделает ее вздутою, то плоскою — и уж хлопочет, хлопочет; а что выходит? Поверите ли, вот уж двадцать лет, как ему не удалось сделать ни одной порядочной скрипки. Между тем, время идет, а торговля его никак не подвигается: все он как будто в первый раз заводит мастерскую... Не берите с него примера, молодые люди; худо бывает, когда у человека ум за разум зайдет. Новизна и мудрование в нашем деле, как и во всяком другом, никуда не годятся. Наши отцы, право, не глупые были люди; они все хорошее придумали, а нам уж ничего выдумывать не оставили; дай бог и до них-то добраться!"

При этих словах вошел Иоганн Албрехт. {* В летописях музыки известны три Иоганна Албрехта, явившиеся несколько позже; неизвестно, о котором из них говорит повествователь; впрочем, кажется, у него своя хронология. Мы предоставляем самому читателю поверить ее как следует.} "Кстати, — сказал Банделер, обнимая его, — кстати пришел, мой добрый Иоганн. Я сейчас только бранил тебя и советовал моим молодым людям не подражать тебе".

— Дурно сделал, любезный Карл! — отвечал Албрехт. — Потому что мне в них будет большая нужда. Я приехал просить у тебя помощников для новой и трудной работы...

— Ну, уж верно еще какая-нибудь выдумка! — вскричал Банделер с хохотом.

— Да! выдумка, и которая, подивись, удалась мне...

— Как все твои скрипки...

— Нечто поважнее скрипок; дело идет о совершенно новом регистре {* Орган, как

¹³⁷ Клоц — семейство немецких скрипичных мастеров XVII–XVIII вв.

¹³⁸ Штейнер Якоб (1621–1683) — немецкий скрипичный мастер.

известно, составлен как бы из нескольких оркестров или масс различных инструментов. Деревянные трубы составляют одну массу; металлические другую; каждая из них имеет многие подразделения. Сии подразделения имеют каждое свое наименование: Vox humana, Quintadena и проч. т. п. Сии-то подразделения называются регистрами.} в органе.

— Так! я уже знал это. Нельзя ли сообщить? Поучимся у тебя хоть раз в жизни...

— Ты знаешь, я не люблю говорить на ветер. Вот, за обедом, на свободе, потолкуем о моем новом регистре.

— Посмотрим, посмотрим.

К обеду собралось несколько человек эйзенахских органистов и музыкантов; к ним, по древнему немецкому обычаю, присоединились все ученики Банделера, так что за столом было довольно многочисленное собрание.

Албрехту напомнили о его обещании.

— Вы знаете, мои друзья, — сказал он, — что я уже давно стараюсь проникнуть в таинства гармонии и для этого беспрестанно занимаюсь равными опытами.

— Знаем, знаем, — сказал Банделер, — к сожалению, знаем.

— Как бы то ни было, я почитаю такое занятие необходимым для нашего мастерства...

— В этом-то и беда твоя...

— Дослушай меня терпеливо! Недавно, занимаясь пифагоровыми опытами над монохордом¹³⁹, я сильно рванул толстую, длинную струну, крепко натянутую, и — вообразите себе мое удивление: я заметил, что к звуку, ею изданному, присоединялись другие тоны. Я повторил несколько раз свой опыт — и наконец явственно удостоверился, что эти тоны были: квинта и терция; это наблюдение озарило мой ум ярким светом: итак, подумал я, все в мире приводится к единству — так и должно быть! Во всяком звуке мы слышим целый аккорд. Мелодия есть ряд аккордов; каждый звук есть не иное что, как полная гармония. Я начал над этим думать; думал, думал — наконец решился сделать к органу новый регистр, в котором каждый клавиш открывает несколько трубок, настроенных в полный аккорд, — и этот регистр я назвал мистерией: {* Это слово в нынешних органах превратилось в прозаическое выражение: Mixtures.} ибо, действительно, в нем скрывается важное таинство.

Все старики захохотали, а молодые на ухо стали перешептываться друг с другом. Банделер не утерпел, вскочил с места, открыл клавихорд: "Послушайте, господа, — вскричал он, — какое изобретение нам предлагает наш добрый Албрехт", — и заиграл какую-то комическую народную песню фальшивыми квинтами. Общий смех удвоился; один Себастьян не участвовал в нем, но, вперив глаза на Албрехта, с нетерпением ожидал ответа.

— Смейтесь, как хотите, господа, — но я принужден вам сказать, что мой новый регистр придал такую силу и величие органу, каких у него до сих пор не было.

— Это уж слишком! — проговорил Банделер и, подав знак другим к молчанию, во весь обед не говорил более ни слова об этом предмете.

Когда обед кончился, Банделер отвел Албрехта в сторону от молодых людей и сказал:

— Послушай, мой милый и любезный Иоганн! Не сердись на меня, старого своего сотоварища и соученика; я не хотел тебе говорить при молодых людях; но теперь, наедине, как старый твой друг, говорю тебе; войди в себя, не стыди своих седых волос — неужели ты в самом деле хочешь свой нелепый регистр приделать к органу?..

— Как приделать! — вскричал Албрехт громко. — Да это уже сделано, и повторяю тебе, ни один доселе существовавший орган не может сравниться с моим...

— Послушай меня, Иоганн! Ты знаешь, я лет пятьдесят уже занимаюсь органным мастерством; дет тридцать живу мастером; вот сосед Гартманн тоже; наши отцы, деды наши делали органы, — как же ты хочешь нас уверить в таком деле, которое противно первым

¹³⁹ Монохорд — до XVIII в. в Европе так назывались клавикорды, струнные ударные клавишные музыкальные инструменты. В античности монохордом назывался однострунный щипковый инструмент.

основаниям нашего мастерства?..

— И, однако же, не противно природе!

— Да помилуй; тут не только фальшивые квинты, но совершенная нескладица.

— И между тем эти фальшивые квинты в полном органе составляю! величественную гармонию.

— Да фальшивые квинты...

— Неужели вы думаете, — прервал его Албрехт, — вы, господа, которые в продолжение 50 лет обтачиваете трубы точно так же, как отцы и деды ваши обтачивали, — неужели вы думаете, что это занятие дало вам возможность постигнуть все таинства гармонии? Этих таинств не откроете молотком и пилою: они далеко, далеко в душе человека, как в закрытом сосуде; бог выводит их в мир, они принимают тело и образ не по воле человека, но по воле божией. Вам ли остановить ее действие, потому что вы ее не понимаете?.. Но окончим это. Повторяю, что в к вам пришел с просьбою, к тебе, Карл, и к тебе, Гартманн: я теперь завален работою, мне нужны помощники — ссудите меня несколькими учениками.

— Помилуй! — сказал Банделер, рассерженный. — Да кто же из них согласится пойти к тебе в ученики после всего того, что ты здесь наговорил?

— Если б я смел... — проговорил тихо Себастьян.

— Как? ты, Себастьян? лучший, прилежнейший из моих учеников...

— Мне хотелось бы послушать новый орган господина Албрехта...

— Послушать фальшивые квинты... Неужели ты веришь, что это возможное дело?..

— Фома неверующий! — вскричал Албрехт. — Да поезжай сам в Люнебург там по крайней мере уверишься своими собственными ушами...

— Кто? я? я поеду в Люнебург? зачем? чтобы сказали, что я ничего не смыслю в своем мастерстве, что я такой же чудака, как Албрехт, что я верю его выдумкам, которым поверит разве мальчик, — чтоб все стали смеяться надо мною...

— Не беспокойся; ты будешь в такой компании, над которою не будут смеяться.

Император, в проезд свой через Люнебург, был у меня... 140

— Император?

— Ты знаешь, какой он глубокий знаток музыки. Он слышал мой новый орган и заказал мне такой же для венской соборной церкви; вот условие в 10 тысяч гульденов; вот другие заказы для Дрездена, для Берлина... Теперь веришь ли мне? Я до сих пор не говорил вам об этом и ожидал, что вы поверите словам вашего старого Албрехта...

Руки опустились у присутствующих. После некоторого молчания Клоц подошел к Албрехту и, низко поклонясь ему, сказал: "Хоть я и не занимаюсь органным мастерством, но такое важное открытие заставляет и меня просить вас, господин Албрехт, позволить мне посмотреть на ваш новый регистр и поучиться". Гартманн, не говоря ни слова, тотчас пошел домой приготовляться к отъезду. Один Банделер остался в нерешимости; он отпустил к Албрехту несколько учеников, а с ними и Себастьяна, но сам в Люнебург не поехал.

* * *

Недолго работал Себастьян у Албрехта. Однажды, в праздничный день, когда юноша, сидя за клавихордом, напевал духовные песни, старик незаметно вошел в комнату и долго его слушал. "Себастьян! — наконец сказал он. — Я теперь только узнал тебя; ты не ремесленник; не твое дело обтачивать клавиши; другое, высшее предназначение тебя ожидает. Ты музыкант, Себастьян! — вскричал пламенный старец. — Ты определен на это

140 Если искать точное историческое соответствие, то мог иметься в виду германско-римский император Иосиф I (1678–1711), вступивший на престол в 1705 г.

высокое звание, которого важность немногие понимают. Тебе дано в удел провидение говорить тем языком, на котором человеку понятно божество и на котором душа человека доходит до престола всевышнего. Со временем мы больше поговорим об этом. Теперь же оставь свои ремесленные занятия; я теряю в тебе надежного помощника, но не хочу противоборствовать воле провидения: оно тебя недаром создало.

Тебе, — продолжал Албрехт после некоторого молчания, — тебе трудно будет здесь получить место органиста; у тебя хороший голос — надобно образовать его; Магдалина ходит учиться пению к здешнему пастору: ходи вместе с нею; между тем я постараюсь поместить тебя в хор Михайловской церкви — это обеспечит твое содержание; а ты пока изучай орган — это величественное подобие божия мира: в обоих много таинств; их открыть может одно прилежное изучение". Себастиан бросился к ногам Албрехта.

* * *

С тех пор Себастиан был как родной в доме Иоганна.

* * *

Магдалина была проста и прекрасна. Мать ее, итальянка, передала ей черные лоснистые локоны, которые кудрями вились над северными голубыми глазами; но в этом заключалось все, чем Магдалина отличалась от своих сверстниц. Лишившись матери на третьем году от рождения и воспитанная в простоте старинных немецких нравов, она не знала ничего, кроме своего маленького мира: поутру посмотреть за кухней, потом полить цветы в огороде, после обеда уголок возле окошка и пядьцы, в субботу принять белье, в воскресенье к пастору. Про нее тогдашние люнебургские музыканты говорили, что она похожа на итальянскую тему, обработанную в немецком вкусе. Себастиан ходил с нею учиться петь, как будто с товарищем. На неопытного юношу, воспламененного речами Албрехта, не действовала красота и невинность девушки; в чистой душе его не было места для земного чувства: в ней носились одни звуки, их чудные сочетания, их таинственные отношения к миру. Напротив, гордый юноша еще сердился на прелестную и выговаривал ей, когда ее несозревший голос перерывался на необходимой ноте аккорда или когда она простодушно спрашивала объяснения в музыкальных задачах, которые казались так легкими Себастиану.

Себастиан плавал в своей стихии: албрехтово огромное хранилище книг и нот было ему открыто. Утром он изощрял свои силы на различных инструментах, особливо на клавихорде, или занимался пением; в продолжение дня он выпрашивал у знакомого органиста ключ от церковного органа и там, один, под готическими сводами, изучал таинства чудного инструмента. Лишь алтарь божий, покрытый завесою, внимал ему в величественном безмолвии. Тогда Себастиан вспоминал свое приключение в эйзенахской церкви; снова его младенческое сновидение восставало из-за мрачных углублений храма: с каждым днем оно становилось ему понятнее — и благоговейный ужас находил на душу юноши, сердце его горело, и волосы подымались на голове. Вечеру, возвращаясь домой, он застал Албрехта, уставшего от дневных забот, окруженного учениками; тихо беседовал он с ними, и высокие речи, позлащенные игривым иносказанием, выливались из уст его. Не думайте, однако же, господа, что Албрехт принадлежал к числу тех красноречивых риториков, которые сперва начертят голый скелет, а потом и примутся, для удовольствия почтеннейшей публики, украшать его метафорами, аллегориями, метонимиями и другими конфектами. Язык обыкновенный был потому редок в устах Албрехта, что он не находил в нем слов для выражения своих мыслей: он был принужден искать во всей природе предметов, которые могли бы облечь его чувство, недоговариваемое словом. Есть язык, которым говорит

полудикий, перешедший на первую точку просвещения, когда его только что поразили новые еще неразгаданные мысли; тем же языком говорит и вошедший в святилище тайных наук, желая дать тело предметам, для которых недостаточен язык человека; таким языком говорил и Албрехт, который, может быть, был соединением того и другого; немногие сочувствовали Албрехту и понимали его; другие старались поймать в словах его какое-либо новое руководство для своего мастерства; остальные рассеянно — из почтения — слушали его.

"Было время, — говаривал Албрехт, — от которого нам не осталось ни звука, ни слова, ни очерка: тогда выражение было не нужно человечеству; сладко покоилось оно в невинной, младенческой колыбели и в беспечных снах понимало и бога и природу, настоящее и будущее. Но... всколыхалась колыбель младенца; нежному, неоперенному, как мотыльку в едва раздавшейся личинке, предстала природа грозная, вопрошающая: тщетно юный алкид¹⁴¹ хотел в свой младенческий лепет заковать ее огромные, разнообразные формы; она коснулась главою мира идей, пятою — грубого инстинкта кристаллов, и вызвала человека сравниться с собою. Тогда родились два постоянные, вечные, но опасные, вероломные союзника души человека: мысль и выражение.

Никто не знает, как долго длилась эта первобытная распря: на поле битвы до сих пор остались лишь пирамиды, брошенные в песках Египта; великолепные чертоги, свидетельствующие о древней силе, занесенные илом: остались еще болезни человека, которых тяжкая цепь исчезает во мраке древности. Победенный, но сильный прежнюю силою, человек продолжал эту битву, падал, но с каждым новым падением, как Антей, приобретал новое могущество; уже, казалось, он подчинил себе неборимую, — как вдруг пред душою человека явился новый противник, более страшный, более взыскательный, более докучливый, более недовольный — он сам: с появлением этого сподвижника проснулась и усмиренная на время сила природы. Грозные, неотступные враги с ожесточенней устремились на человека и, как титаны в битве с Зевесом, поражали его громадой страшных вопросов о жизни и смерти, о воле и необходимости, о движении и покое, и тщетно бы доныне философ уклонялся за щит логических заключений, тщетно математик скрывался бы в извилинах спирали и конхоиды¹⁴², — человечество погибло бы, если бы небо не послало ему нового поборника: искусство! Эта могучая, ничем не оборимая сила, отблеск зиждителя, скоро покорила себе и природу, и человека; как Эдип, она угадала все символы двуглавого сфинкса — и это торжественное мгновение жизни человечества люди назвали Орфеем, покоряющим камни силою гармонии. С помощью этой живительной, творческой мощи человек соорудил здание иероглифов, статуй, храмов, "Илиаду" Гомера, "Божественную комедию" Данте, олимпийские гимны и псалмы христианства: он сомкнул в них таинственные силы природы и души своей; заключенные в их великолепных, но тесных темницах, они рвутся из них на свободу, и оттого при взгляде на "Цецилию" Дюрера, на Венеру Медичейскую, со сводов страсбургской колокольни на нас пашет тем дыханием бурным, которое хладом проходит по жилам и погружает душу в священную думу.

Но есть еще высшая степень души человека, которой он не разделяет с природою, которая ускользает из-под резца ваятеля, которую не доскажут пламенные строки стихотворца, — та степень, где душа, гордая своею победой над природою, во всем блеске славы, смиряется пред вышнюю силою, с горьким страданием жаждет перенести себя к подножию ее престола и, как странник среди роскошных наслаждений чуждой земли, вздыхает по отчизне; чувство, возбуждающееся на этой степени, люди назвали

¹⁴¹ Алкид — малая птичка, зимородок; однако было бы возможно и другое истолкование, если бы стояло "Алкид", одно из имен мифического Геракла: "юный великан", "юный Геркулес".

¹⁴² Конхоида — сложная математическая фигура (конхоида кривой — плоская кривая, получающаяся уменьшением или увеличением радиуса вектора каждой точки кривой на одну и ту же величину).

невыразимым; единственный язык сего чувства — музыка: в этой высшей сфере человеческого искусства человек забывав! о бурях земного странствования; в ней, как на высоте Альпов, блещет безоблачное солнце гармонии; одни ее неопределенные, безграничные звуки обнимают беспредельную душу человека; лишь они могут совокупить воедино стихии грусти и радости, разрозненные падением человека, — лишь ими младенчеству сердце и переносит нас в первую невинную колыбель первого невинного человека.

Не ослабевайте же, юноши! Молитесь, сосредоточивайте все познания ума, все силы сердца на усовершенствование орудий сего дивного искусства; в их простых, грубых трубах сокрыто таинство возбуждения возвышеннейших чувств в душе человека; каждый новый шаг их к успеху приближает их к той духовной силе, которой они должны служить выражением; каждый новый шаг их есть новая победа человека над жизнью, над этим призраком, который, смеясь над усилиями ума, с каждым днем становится ужаснее и грозит в прах разрушить скудельный сосуд человека".

Так часто беседовал Албрехт; вокруг его царствовало глубокое безмолвие; лишь изредка вспыхивал уголь погасавшего очага и мгновенно освещал седую голову старца, молодые, свежие лица германских юношей, черные локоны Магдалины, блестящие развалины недоконченных инструментов... Раздавался голос ночного сторожа, старец благословлял присутствующих и оканчивал гармонический день торжественною, звучною молитвою.

Слова Албрехта падали на душу Себастьяна; часто он терялся в их таинственности; он не мог бы даже пересказать их, но понимал чувство, которое они выражали; этим чувством бессознательно возрастала душа его и укреплялась в пламенной внутренней деятельности...

* * *

Годы протекали; Албрехт окончил постройку своих органов, полученные деньги роздал по ученикам или употребил на новые опыты — и, не помышляя об умножении своего достатка, уже снова трудился над каким-то новым усовершенствованием своего любимого инструмента: говорят, что он хотел соединить в нем представителей всех стихий мира — земли и воздуха, воды и огня. Между тем в Лüneбурге только и говорили, что о молодом органисте Бахе; и голос Магдалины развивался с годами: уже она могла разбирать партицию¹⁴³ с первого взгляда, пела и играла себастьянову музыку.

Однажды Албрехт сказал молодому музыканту: "Слушай, Себастьян; тебе уже не у кого учиться в Лüneбурге: ты далеко обогнал всех здешних органистов; но искусство бесконечно: тебе надобно познакомиться с теми, которых место ты некогда должен заступить в музыкальном мире. Я тебе выхлопотал место придворного скрипача в Веймаре¹⁴⁴; оно тебе доставит деньги — необходимую вещь на земле, а деньги доставят тебе возможность побывать в Любеке и Гамбурге, где ты услышишь славных друзей моих: Букстегуда и Рейнкена¹⁴⁵. Мешкать нечего в этом свете; время летит — собирайся в дорогу".

¹⁴³ Партиция, или партита — род вариаций на хоральную мелодию для органа.

¹⁴⁴ Как и в других местах новеллы, вымысел здесь (роль Албрехта в жизни Баха) свободно переплетается с достоверными фактами. Исторически достоверным фактом является то, что Бах действительно жил в Веймаре с 1708 по 1717 г., исполняя должность придворного музыканта, гоф-органиста, помощника капельмейстера и т. д.

¹⁴⁵ Рейнкен Иоганн-Адам (1623–1722) — немецкий композитор и органист. С 1654 г. и до смерти занимал должность органиста в церкви св. Екатерины в Гамбурге.

Сначала это предложение обрадовало Себастьяна: услышать Букстегуда, Рейнкена, которых сочинения он знал почти наизусть, поверить себя, так ли он понимал их высокие мысли; услышать их блистательные импровизации, которых нельзя приковать к бумаге; узнать их способ соединения регистров; испытать свои силы пред этими знаменитыми судьями; распространить свою известность все это в минуту представилось юному воображению; но оставить дом, в котором развился его младенческий талант, дом, в котором все дышало, все жило гармониею; не слышать более Албрехта, попасть снова в среду людей холодных, не понимающих святыни искусства!.. Тут пришла ему в голову и Магдалина с ее черными локонами, с ее голубыми глазами, с ее простосердечной улыбкой. Он так привык к ее мягкому, будто бархатом подернутому голосу; к нему, казалось, приросли все любимые мелодии Себастьяна; она так хорошо помогала ему разыгрывать новые партии; она с таким участием слушала его сочинения; он так любил, чтобы она была перед ним, когда, в грезах импровизации, глаза его неподвижно останавливались на одном и том же месте... Еще недавно она догадалась, что Себастьяновы пальцы не захватывали всех необходимых звуков в аккорде, встала, наклонилась на стул и положила свой маленький пальчик на клавиш... Себастьян задумался; чем больше он думал, тем больше видел, что Магдалина мешалась со всеми происшествиями его музыкальной жизни; он удивлялся, как до сих пор не замечал этого... посмотрел вокруг себя; вот ноты, которые она для него переписывала; вот перо, которое она для него чинила; вот струна, которую она навязала в его отсутствие; вот листок, на котором она записала его импровизацию, без чего эта импровизация навсегда бы потерялась... Из всего этого Себастьян заключил, что Магдалина ему необходима; углубляясь больше в самого себя, он наконец нашел, что чувство, которое он ощущал к Магдалине, было то, что обыкновенно называют любовью. Это открытие его очень изумило: ежедневное обращение в одной и той же сфере мыслей и чувств; ежедневное спокойствие, столь естественное, сродное характеру Себастьяна, даже однообразный порядок занятий в доме Албрехта, все это так приучило душу юноши к тихому, гармоническому бытию; Магдалина была столь стройным, необходимым звуком в этой гармонии, что самая любовь их зародилась, прошла все свои периоды почти незаметно для самих молодых людей, — так полно слилась она со всеми происшествиями их целомудренной жизни. Может быть, Магдалина стала раньше понимать это чувство; но одна разлука могла объяснить его Себастьяну.

"Магдалина! сестрица! — сказал ей Себастьян, запинаясь, когда она вошла в комнату. — Отец твой посылает меня в Веймар... мы не будем вместе... может быть, долго не увидимся: хочешь ли быть моею женою?¹⁴⁶ тогда мы всегда будем вместе".

Магдалина покраснелась, подала ему руку и сказала: — Пойдем к батюшке.

Старик встретил их, улыбаясь:

"Я уже давно предвидел это, — сказал он, — видно, божья воля, прибавил он со вздохом, — бог да благословит вас, дети; искусство вас соединило: пусть оно будет крепкою связью для всего вашего существования. Но только, Себастьян, не слишком прилепляйся к пению; ты слишком часто поешь с Магдалиною: голос исполнен страстей человеческих; незаметно — в минуту самого чистого вдохновения — в голос прорываются звуки из другого, нечистого мира; на человеческом голосе лежит еще печать первого грешного вопля!.. Орган, тебе подвластный, не есть живое орудие; но зато и непричастен заблуждениям нашей воли: он вечно спокоен, бесстрастен, как бесстрастна природа; его

¹⁴⁶ Рассказывая историю женитьбы Баха, Одоевский особенно заметно перемешивает вымысел с правдой. В действительности первым браком Бах был женат в 1707 г. на своей кузине Марии-Барбаре, дочери органиста Иоганна-Михаила Баха. После ее смерти Бах женился вторично (1721 г.) на дочери придворного трубача Вюлькена Анне-Магдалине. Видимо, она — хотя она и не была итальянкой по происхождению — и послужила Одоевскому прототипом для его Магдалины. Реальная Анна-Магдалина была одарена большой музыкальностью. Она была ученицей мужа в игре на клавире, главной певицей в его "семейной капелле", переписчицей нот для мужа (Бах страдал плохим зрением). Их брак был счастливым.

ровные созвучия не покоряются прихотям земного наслаждения; лишь душа, погруженная в тихую, безмолвную молитву, дает душу и его деревянным трубам, и они, торжественно потрясая воздух, выводят пред нею собственное ее величие...".

* * *

Я не буду вам рассказывать, милостивые государи, подробностей о свадьбе Себастьяна, о его поездке в Веймар, о кончине Албрехта, вскоре затем последовавшей, о разных должностях, которые Себастьян занимал в разных городах; о его знакомстве с разными знаменитыми людьми. Все эти подробности вы найдете в различных биографиях Баха, мне — не знаю, как вам — мне любопытнее происшествия внутренней жизни Себастьяна. Чтоб познакомиться с этими происшествиями, есть единственное средство: я вам советую, подобно мне, проиграть всю бахову музыку от начала до конца. Жаль, что умер мой говорливый старик Албрехт: он по крайней мере рассказывал то, что чувствовал Себастьян; когда Себастьян слушал Албрехта, то всегда думал, что себя слушает; сам же словесным языком говорил мало, — он говорил только звуками органа. А вы не можете себе вообразить, как трудно с этого небесного, беспредельного языка переводить на наш сжатый, смешанный с прахом жизни язык. Иногда мне на четыре ноты приходится писать целый том комментарий, и все-таки эти четыре ноты яснее моего тома говорят для того, кто умеет понимать их.

Действительно, Бах знал только одно в этом мире — свое искусство; все в природе и жизни — радость, горе — было понятно ему тогда только, когда проходило сквозь музыкальные звуки; ими он мыслил, ими чувствовал, ими дышал Себастьян; все остальное было для него не нужно а мертво. Я верю тому, что Тальма¹⁴⁷ и в минуту сильнейшей скорби невольно подходил к зеркалу, чтоб посмотреть, какие морщины она произвела на лице его. Таков должен быть художник — таков был Бах; подписывая денежную сделку, он заметил, что буквы его имени составляют оригинальную, богатую мелодию, и написал на нее фугу;

{* Известна бахова фуга на следующий мотив.}

услышав первый крик своего младенца, он обрадовался, но не мог не исследовать, к какого рода гамме принадлежали звуки, им слышанные; узнав о смерти своего истинного друга, он закрыл лицо рукою — и через минуту начал писать погребальный Motetto¹⁴⁸. {Сочинение на библейский текст (итал.).} Не обвиняйте Баха в нечувствительности: он чувствовал, может быть, глубже других, но чувствовал по-своему; это были человеческие чувства, но в мире искусства. Столь же мало он ценил и собственную свою славу; в Гамбурге рассказывали, как столетний органист Рейнкен, услышав Баха, прослезился и сказал с простосердечием: "Я думал, что мое искусство умрет вместе со мною, но ты его воскрешаешь". В Дрездене толковали, как Маршанд, знаменитый органист того времени, вызванный на соперничество с Бахом, испугался и уехал из Дрездена в самый день концерта¹⁴⁹; в Берлине удивлялись, что Фридрих Великий, прочитывая перед началом

¹⁴⁷ Тальма Франсуа-Жозеф (1763–1826) — французский актер-трагик, представитель классицизма в сценическом искусстве.

¹⁴⁸ Motetto, или мотет — жанр старинной вокальной многоголосой музыки на латинский текст.

¹⁴⁹ В 1717 г. придворными кругами в Дрездене было задумано состязание между находившимся там французским органистом Жаном Луи Маршаном (1669–1732) и специально туда вызванным Бахом. Накануне состязания было устроено предварительное знакомство Маршана и Баха. Бах играл на клавире. Его игра произвела на Маршана столь сильное впечатление, что на другой день он покинул Дрезден, так и не явившись на публичное состязание.

своего домашнего концерта список приезжающих в Потсдам, сказал окружающим с видимым беспокойством: "Господа! старший Бах приехал", — со смирением отложил свою флейту, послал тотчас за Бахом, заставил его в дорожном платье переходить от фортепьян к фортепьянам, которые стояли во всех комнатах Потсдамского дворца, дал Себастиану тему для фуги и с благоговением слушал его.

А Себастиан, возвращаясь к своей Магдалине, рассказывал ей, лишь какая счастливая мелодия ему попала в во время импровизации перед Рейнкеном, как сделан соборный орган в Дрездене и как он у короля Фридриха воспользовался расстроенною нотою фортепьяна для ангармонического перехода — и только! Магдалина не спрашивала больше, а Себастиан тотчас садился за клавихорд и играл или пел с нею свои новые сочинения; это был обыкновенный способ разговора между супругами: иначе они не говорили между собою.

Таковы были и все дни его жизни. Утром он писал, потом объяснял своим сыновьям и другим ученикам таинства гармонии или исполнял в церкви должность органиста, ввечеру садился за клавихорд, пел и играл с своей Магдалиной, засыпал спокойно, и во сне ему слышались одни звуки, представлялись одни движения мелодий. В минуты рассеянности он веселил себя, разбирая новую музыку *ad aperturam libri*, {Без подготовки, "с листа" (лат., итал.)} или импровизируя фантазии по цифрованному басу, или, слушая трио, садился за клавихорд, прибавлял новый голос и таким образом превращал трио в настоящий квартет.

Частая игра на органе, беспрестанное размышление о сем инструменте еще более развили ровный, спокойный, величественный характер Баха, Этот характер отражался во всей его жизни, или, лучше сказать, во всей его музыке. В ранних его сочинениях видны еще некоторые жертвы господствовавшему в его время вкусу; но впоследствии Бах отряс и этот прах, привязывавший его к ежедневной жизни, и спокойная душа его вполне напечатлелась в его величественных мелодиях, в его ровном, бесстрастном выражении. Словом, он сделался церковным органом, возведенным на степень человека.

Я уже говорил вам, что на него вдохновение не находило порывами; тихим огнем оно горело в душе его: за клавихордом дома, в хоре своих учеников, в приятельской беседе, за органом в храме — он везде был верен святыне искусства, и никогда земная мысль, земная страсть не прорывались в его звуки; оттого теперь, когда музыка перестала быть молитвою, когда она сделалась выражением мятежных страстей, забавою праздности, приманкою тщеславия — музыка Баха кажется холодною, безжизненною; мы не понимаем ее, как не понимаем бесстрастия мучеников на костре язычества; мы ищем понятного, близкого к нашей лени, к удобствам жизни; нам страшна глубина чувства, как страшна глубина мыслей; мы боимся, чтоб, погрузясь во внутренность души своей, не открыть своего безобразия; смерть оковала все движения нашего сердца — мы боимся жизни! боимся того, что не выражается словами; а что можно ими выразить?.. Не то ощущал Бах, погруженный в развитие своих музыкальных фантазий: вся душа его переселялась в пальцы; покорные его воле, они выражали его чувство в бесчисленных образах; но это чувство было едино, и простейшее его выражение заключалось в нескольких нотах: так едино чувство молитвы, хотя дары ее разнообразно являются в людях.

Не то ощущали и счастливы, внимавшие органу, звучащему под пальцами Баха; не рассеивалось их благоговение игривыми блесками: его сначала выражала мелодия простая, как просто первое чувство младенствующего сердца, — потом, мало-помалу, мелодия развивалась, мужала, порождала другую, ей созвучную, потом третью; все они то сливались между собой в братском лобзании, то рассыпались в разнообразных аккордах; но первое благоговейное чувство не терялось ни на минуту: оно лишь касалось всех движений, всех изгибов сердца, чтоб благодатною росой оживить все силы душевные; когда же были исчерпаны все их многообразные образы, оно снова являлось в простых, но огромных, полных созвучиях, и слушатели выходили из храма с освеженною, с воззванною к жизни и любви душою.

Биографы Баха описывают это гармоническое, ныне потерянное таинство следующим образом: "Во время богослужения, говорят они, Бах брал одну тему и так искусно умел ее

обрабатывать на органе, что она ему доставала часа на два. Сначала была слышна эта тема в форшпиле или в прелюдии; потом Бах обрабатывал ее в виде фуги; потом, посредством различных регистров, обращал он в трио или квартет все ту же тему; за сим следовал хорал, в котором опять была та же тема, расположенная на три или на четыре голоса; наконец, в заключение, следовала новая fuga, опять на ту же тему, но обработанную другим образом и к которой присоединялись две другие. Вот настоящее органное искусство".

Так эти люди переводят на свой язык религиозное вдохновение музыканта!

* * *

Однажды во время богослужения Бах сидел за органом весь погруженный в благоговение, и хор присутствовавших сливался с величественными созвучиями священного инструмента. Вдруг органист невольно вздрогнул, остановился; через минуту он снова продолжал играть, но все заметили, что он был встревожен, что он беспрестанно оборачивался назад и с беспокойным любопытством посматривал на толпу. В середине пения Бах заметил, что к общему хору присоединился голос прекрасный, чистый, но в котором было что-то странное, что-то непохожее на обыкновенное пение: часто он то заливался, как вопль страдания, то резко раздавался, как буйный возглас веселой толпы, то вырывался как будто из мрачной пустыни души, — словом, это был голос не благоговения, не молитвы, в нем было что-то соблазнительное. Опытное ухо Баха тотчас заметило этот новый род выражения; оно было для него ярким, ослепительным цветом на полусветлой картине; оно нарушало общую гармонию; от этого выражения пламенное благоговение переставало быть целомудренным; духовная, легкокрылая молитва тяжелела; в этом выражении была какая-то горькая насмешка над общим таинственным спокойствием — она смутила Баха; тщетно он хотел не слышать ее, тщетно хотел истребить эти земные порывы в громогласных аккордах: страстный, болезненный голос гордо возносился над всем хором и, казалось, осквернял каждое созвучие.

Когда Бах возвратился домой, вслед за ним вошел незнакомец, говоря, что он иностранец, музыкант и пришел принести дань своего уважения знаменитому Баху. То был молодой человек высокого роста с черными, полуденными глазами; против германского обыкновения, он не носил пудры; его черные кудри рассыпались по плечам, обрисовывали его смуглое сухощавое лицо, на котором беспрестанно менялось выражение; но общий характер его лица была какая-то беспокойная задумчивость или рассеянность; его глаза беспрестанно перебегали от предмета к предмету и ни на одном не останавливались; казалось, он боялся чужого внимания, боялся и своих страстей, которые мрачным огнем горели в его томных, подернутых влагою взорах.

— Я родом из Венеции, по имени Франческо, — сказал молодой человек, ученик знаменитого аббата Оливы¹⁵⁰, последователя славного Чести¹⁵¹.

— Чести! — сказал Бах. — Я знаю его музыку; слышал и об аббате Оливе, хотя мало; очень рад познакомиться с вами.

Добродушный и простосердечный Бах, ласково принимавший всех иностранцев, обласкал и молодого человека, расспрашивал его о состоянии музыки в Италии и, наконец, хотя и не любил новой итальянской музыки, но пригласил Франческо познакомиться с новыми произведениями его учителя.

Франческо отважно сел за клавихорд, запел, — и Себастьян тотчас узнал тот голос, который поразил его в церкви, однако же не показал неудовольствия и слушал венецианца со

¹⁵⁰ Аббат Олива — лицо вымышленное.

¹⁵¹ Чести Марк Антонио (1623–1669) — итальянский оперный композитор.

всегдашним своим спокойствием и добродушием.

Тогда только что начинался век новой итальянской музыки, которой последнее развитие мы видим в Россини и его последователях. Кариссими¹⁵², Чести, Кавалли¹⁵³ хотели сбросить несколько уже устаревшие формы своих предшественников, дать пению некоторую свободу; но последователи сих талантов пошли далее: уже пение претворялось в неистовый крик; уже в некоторых местах прибавляли украшения не для самой музыки, но чтоб дать певцу возможность блеснуть своим голосом; изобретение слабело, игривость рулад и трелей заступила место обработанных, полных созвучий. Бах имел понятие об операх Чести и Кавалли; но новый род, в котором пел Франческо, был совершенно неизвестен арнштадтскому органисту. Представьте себе важного Баха, привыкшего к мелодическому спокойствию, привыкшего в каждой ноте видеть математическую необходимость — и слушающего набор звуков, которым итальянское выражение, незнакомое Германии, придавало совершенно особенный характер, причудливый, тревожный. Венецианец пропел несколько арий (это слово уже вводилось тогда в употребление) своего учителя, потом несколько народных канцонетт, обделанных в новом вкусе. Кроткий Бах все слушал терпеливо, только смеялся исподтишка и с притворным смирением замечал, что он не в состоянии ничего написать в таком роде.

Но что сделалось с Магдалиною? Отчего вдруг пропала краска с ее свежего лица? отчего она неподвижно устремила взоры на незнакомца? отчего трепещет она? отчего руки ее холодеют и слезы льются из глаз?

Незнакомец кончил, распрощался с Бахом, просил позволения еще раз посетить его, — а Магдалина все стоит неподвижно, опершись на полурастворенную дверь, и все еще слушает. Незнакомец, уходя, нечаянно взглянул на Магдалину, и холод пробежал по ее нервам.

Когда незнакомец совсем ушел, Бах, не заметивший ничего происшедшего, хотел с Магдалиною пошутить немного насчет своего самонадеянного нового знакомца; но вдруг он видит, что Магдалина бросается к клавиатуре и старается повторить те напевы, те выражения незнакомца, которые остались у ней в памяти. Себастьян подумал сначала, что она передразнивает венецианца, и готов был расхохотаться; но он пришел вне себя от удивления, когда Магдалина, закрыв лицо руками, вскричала:

"Вот музыка, Себастьян! вот настоящая музыка! Я теперь только понимаю музыку! Часто, как будто во сне, я вспоминала те мелодии, которые мать моя напевала, качая меня на руках своих, — но они исчезли из моей памяти; тщетно я хотела их найти в твоей музыке, во всей той музыке, которую я слышу ежедневно, — тщетно! Я чувствовала, что ей чего-то недоставало, — но не могла себе объяснить этого; это был сон, которого подробности забыты, который оставил во мне одно сладкое воспоминание. Лишь теперь я узнала, чего недостает вашей музыке: я вспомнила песни моей матери... Ах, Себастьян! вскричала она, с необыкновенным движением кидаясь на шею к Себастьяну. Брось в огонь все твои фуги, все твои каноны; пиши, бога ради, ниши итальянские канцонетты".

Себастьян [без шуток] подумал, что его Магдалина [просто] помешалась; он посадил ее в кресла, не спорил и обещал все, чего она ни просила.

Незнакомец посетил еще несколько раз нашего органиста. Себастьян был в состоянии выбросить его из окошка; но, видя радость своей Магдалины при каждом его посещении, он был не в силах принять его не ласково.

Однако же Себастьян с удивлением замечал, что в наряде Магдалины явилась какая-то изысканность, что она почти с глаз не спускала молодого венецианца, ловила каждый звук,

¹⁵² Кариссими Якоб (1604–1674) — итальянский композитор, усовершенствовавший речитатив и форму кантаты.

¹⁵³ Кавалли Франческо (1602–1676) — композитор, один из создателей итальянской оперной школы, первым применивший к музыкально-сценическому произведению название опера.

вылетавший из груди его: Себастиану странным казалось, прожив 20 лет с своею женою в полной тишине в согласии, вдруг приняться ревновать ее к человеку, которого она едва знала; но Бах был беспокоен, и слова албрехтовы: "голос исполнен страстей человеческих" невольно отзывались в ушах его.

К несчастью, Бах имел право ревновать в полной силе этого слова, итальянская кровь, в продолжение сорока лет... сорока лет! обманутая воспитанием, образом жизни, привычкою, — вдруг пробудилась при родных звуках; новый, неразгаданный мир открылся Магдалине; полуденные страсти, долго непонятные, долго сжатые в душе ее, развились со всею быстротою пламенной юности; их терзания увеличивались терзанием, которое только может испытать женщина, понявшая любовь уже при закате красоты своей.

Франческо тотчас заметил действие, производимое им на Магдалину. Ему смешно и забавно было влюбиться в себя старую жену знаменитого органиста; лестно было его тщеславию возбуждать такое внимание женщины посреди северных варваров; сладко было его сердцу отметить за насмешки, которыми немецкие музыканты осыпали музыку его школы, в доме их первоклассного таланта перебить дорогу у классической фуги; и когда Магдалина, вне себя, забывая своего мужа, обязанности матери семейства, опершись на клавихорд, устремляла на него пламенные взоры, — насмешливый венецианец также не жалел своих соблазнительных полуденных глаз, старался вспомнить все те напевы, все то выражение, которые приводят в восторг итальянца, — и бедная Магдалина, как дельфийская жрица на треножнике¹⁵⁴, невольно входила в судорожное, убийственное состояние.

Наконец итальянцу наскучила эта комедия: не ему было понять душу Магдалины — он уехал.

Бах был вне себя от радости. Бедный Себастиан! Правда, Франческо не увез Магдалины, но увез спокойствие из тихого жилища смиренного органиста. Бах не узнавал своей Магдалины. Прежде бодрая, деятельная, заботливая о своем хозяйстве — теперь она сидела по целым дням, сложив руки, в глубокой задумчивости и потихоньку напевала Франческины канцонетты. — Тщетно Бах писал для нее и веселые менуеты, и заунывные сарабанды, и фуги *in stilo francese* {во французском стиле (итал.)} — Магдалина слушала их равнодушно, почти с неудовольствием, и говорила: "Прекрасно! а все не то!". — Бах начинал сердиться. Немногие и тогда понимали его музыку; преданный вполне искусству, он не дорожил людским мнением, мало верил похвалам часто пристрастных любителей; не в преходящей моде, но в собственном глубоком чувстве он старался постигнуть тайны искусства; но он привык к участию Магдалины в его музыкальной жизни; ему сладко было ее одобрение: оно укрепляло его самоуверенность. Видеть ее равнодушие, видеть противоречие с целью своей жизни — и видеть его в маленьком кругу своего семейства, в своей жене, в существе, которое в продолжение стольких лет одно с ним чувствовало, одно мыслило, одно пело, — это было несносно для Себастиана.

К этому присоединились и другие неприятности: Магдалина почти оставила свое хозяйство; порядок, к которому привык Бах в своем доме, нарушился; прежде он бывал так спокоен в этом отношении, так свободно предавался своему искусству, зная, что Магдалина заботится о всех его привычках, о всем вещественном жизни, — теперь Себастиан принужден был сам входить во все подробности, на пятидесятом году жизни учиться мелочам, посреди музыкального вдохновения думать о своем платье. Бах сердился.

А Магдалина! Магдалина терзалась, но другим образом. Часто, отерши глаза, вспоминала она о своих обязанностях или раскрывала баховы партии, но ей являлись черные глаза Франческа, в ушах ее отдавались его страстные напевы, и Магдалина с отвращением бросала от себя бесстрастные ноты. Часто ее терзания доходили до иступления; она готова была забыть все, оставить свой дом, бежать вслед за прелестным

¹⁵⁴ Жрицы при храме Аполлона в Дельфах были прорицательницами и изрекали вопрошавшим ответы в состоянии экстаза, сидя на золотом треножнике.

вепециянцем, упасть к его ногам и принести ему в дар свою любовь вместе с своею жизнью; но она взглядывала в зеркало, — равнодушное, оно представляло ей сорокалетние морщины, которые ясно говорили Магдалине, что пора ее миновала, — и Магдалина с воплем и рыданием бросалась на постелю или бежала к мужу и в сильном волнении духа говорила ему: "Себастьян! напиши мне итальянскую канцонетту! неужели ты не можешь написать итальянской канцонетты?" Несчастливая думала, что этим она перенесет на Себастьяна преступную любовь свою к Франческо.

Бах слушал ее и не мог не смеяться; он почитал слова Магдалины прихотью женщины; а для женской ли прихоти мог Себастьян унижить искусство, низвести его на степень фиглярства? Просьбы Магдалины были ему и смешны и оскорбительны. Однажды, чтоб отвязаться от нее, он написал на листке известную тему, которой впоследствии воспользовался Гуммель,¹⁵⁵ но тотчас заметил, как удобно она может образоваться в фугу. Действительно, ему недоставало *cis*-дурной фуги в сочиняемом им тогда *Wohltemperirtes Clavier*, {хорошо темперированный клавир (нем.).} он поставил в ключе шесть дизезов, — и итальянская канцонетта обратилась в фугу для учебного употребления. {* См.: *Clavecin bien tempere, par S. Bach, I partie.* }

Между тем время текло. Магдалина перестала просить у Себастьяна итальянских канцонетт, снова принялась за хозяйство — и Бах успокоился: он мог по-прежнему предаться усовершенствованию своего искусства, — а это одно и надобно ему было в жизни; он полагал, что прихоть Магдалины исчезла совершенно, и хотя она редко, как бы нехотя, разбирала с ним партии, но Бах привык даже и к ее равнодушию: он писал тогда свою знаменитую *Passion's-Musik*¹⁵⁶, {* музыка на евангельский текст, о "страстях господних" (нем.).} был ею доволен — ему не надобно было ничего более.

В то же время новое обстоятельство стало хотя обманом способствовать его семейному спокойствию. Давно уже зрение Баха, изнуренное продолжительными трудами, начинало ослабевать; дошло, наконец, до того, что он не мог более работать вечером; наконец и дневной свет сделался тяжким для Себастьяна; наконец и дневной свет исчез для него. Болезнь Себастьяна пробудила на время Магдалину; она нежно заботилась о бедном слепце, писала музыку под его диктовку, играла ее, водила его под руку в церковь к органу, — казалось, воспоминание о Франческо совсем изгладилось из ее памяти.

Но это была неправда. Чувство, вспыхнувшее в Магдалине, только покрылось пеплом; оно не являлось наружу, но тем сильнее разрывалось в глубине души ее. Слезы Магдалины иссыхали; улетело то пиитическое видение, в котором представлялся ей обольстительный венецианец; она не позволяла себе более напевать его песен; словом, все прекрасное, услаждающее терзания любви, покинуло Магдалину; в ее сердце осталась одна горечь, одна уверенность в невозможности своего счастья, один предел страданиям — могила. И могила приближалась к ней; ее тлетворный воздух истреблял румянец и полноту Магдалины, впивался в грудь ее, застилал лицо морщинами, захватывал ее дыхание...

Бах узнал все это, когда Магдалина была уже на смертной постели¹⁵⁷.

¹⁵⁵ Имеется в виду тема баховской фуги *cis*-dur, которой воспользовался немецкий композитор Ян Непомук Гуммель (1778–1837) в своем ноктюрне *F*-dur. Этот ноктюрн затем обработал (в 1854 г.) близко знавший Гуммеля М. Глинка. В обработке Глинки произведение получило название: "В память дружбы — ноктюрн Гуммеля".

¹⁵⁶ *Passion's-Musik* — или Страсти — относятся к величайшим созданиям Баха. Они представляют собой вокально-драматические произведения, близкие по типу к ораториям, воспроизводящие музыкальными средствами евангельские сюжеты о страданиях Христа. Хотя Страсти относятся к жанру духовной музыки, это не мешает им иметь многие характерные признаки светской, притом народной музыкальной драмы. Особенной известностью пользуются "Страсти по Матфею" Баха (1729).

¹⁵⁷ Еще одно проявление свободной поэтики Одоевского. В действительности жена Баха пережила его на 10 лет и умерла 27 февраля 1760 г.

Эта потеря поразила Себастьяна больше собственного несчастья; с слезами на глазах написал он погребальную молитву и проводил тело Магдалины до кладбища.

Сыновья Себастьяна Баха с честью занимали места органистов в разных городах Германии. Смерть матери соединила все семейство: все сходились к знаменитому старцу, старались утешать, развлекать его музыкой, рассказами; старец слушал все со вниманием, по привычке искал прежней жизни, прежней прелести в сих рассказах, — но почувствовал в первый раз, что ему хотелось чего-то другого: ему хотелось, чтоб кто-нибудь рассказал, как ему горько, посидел возле него без посторонних расспросов, положил бы руку на его рану... Но этих струн не было между ним и окружающими; ему рассказывали похвальные отзывы всей Европы о его музыке, его спрашивали о движении аккордов, ему толковали о разных выгодах и невыгодах капельмейстерской должности... Вскоре Бах сделал страшное открытие: он узнал, что в своем семействе он был — лишь профессор между учениками. Он все нашел в жизни: наслаждение искусства, славу, обожателей — кроме самой жизни; он не нашел существа, которое понимало бы все его движения, предупреждало бы все его желания, — существа, с которым он мог бы говорить не о музыке. Половина души его была мертвым трупом!

Тяжко было Себастьяну; но он еще не унывал: святое пламя искусства еще горело в его сердце, еще наполняло для него мир, — и Бах продолжал учить своих последователей, давать советы при постройке органов и занимать в церкви должность органиста.

Но скоро Бах заметил, что его мысли перестали ему представляться в прежней ясности, что пальцы его слабеют: что прежде казалось ему легким, то теперь было необоримую трудностью; исчезла его ровная, светлая игра; его члены искали успокоения.

Часто он заставлял себя приводить к органу; по-прежнему силою воли хотел он победить неискусство пальцев, по-прежнему хотел громогласными созвучиями пробудить свое засыпавшее вдохновение; иногда с восторгом вспоминал свое младенческое сновидение: ясно оно было ему, вполне понимал он его таинственные образы — и вдруг невольно начинал ожидать, искать голоса Магдалины; но тщетно: чрез его воображение пробежал лишь нечистый, соблазнительный напев венецианца, — голос Магдалины повторял его в углублении сводов, — и Бах в изнеможении упал без чувств...

Скоро Бах уже не мог сойти с кресел; окруженный вечною тьмою, он сидел, сложив руки, опустив голову — без любви, без воспоминаний... Привыкший, как к жизни, к беспрестанному вдохновению, он ждал снова его благодатной росы, как привыкший к опиуму жаждет небесного напитка; воображение его, изнывая, искало звуков, единственного языка, на котором ему была понятна и жизнь души его и жизнь вселенной, — но тщетно: одряхлевшее, оно представляло ему лишь клавиши, трубы, клапаны органа! мертвые, безжизненные, они уж не возбуждали сочувствия: магический свет, проливавший на них радужное сияние, закатился навеки!..

НОЧЬ ДЕВЯТАЯ

Вечернее солнце пылало над величавой рекою; алые облака рассыпались по сизому небу, и каждое светилось стороною, обращенною к солнцу, а другою исчезало в тумане. — Фауст сидел у окна, то перебирая листы старой книги, то смотря, как багровый отблеск речной волны расстилался по стенам комнаты и придавал картинам, статуям, всем неодушевленным предметам трепетание жизни. Наш философ был задумчивее обыкновенного; на лице его не было приметно той постоянной, но не злой насмешки, с которой он задавал загадки молодым людям, его окружавшим, и которых разноречивые мысли столь мало походили на спокойствие уверенности, которым, казалось, обладал добрый чудак. В эту минуту Фауст не расположен был к шутке; его мечты, казалось, были

важны и грустны; когда он перелистывал свою старую книгу — тогда ясность снова сообщалась его взорам; когда он отводил их от книги, как бы желая во внутренности души сосредоточить смысл читанного, — снова грусть появлялась на лице философа.

Дверь отворилась; вошел молодой Ростислав, всегда рассеянный, всегда далекий от настоящей минуты.

Ростислав. Сегодня, когда я собирался к тебе, мне пришли в голову все наши последние разговоры, перемешавшиеся с твоею рукописью... что за энциклопедия! каких вопросов мы не касались!..

Фауст. И какие разрешили, ты хочешь сказать...

Ростислав. Именно! если бы кто-либо нас подслушал и записал наши речи... что бы об нас подумали...

Фауст. Мыслящие люди сказали бы, что по крайней мере наш разговор — не поддельный; педанты доказали бы нам очень убедительно, что разговор должен быть не что иное, как диссертация, логически развитая в драматической форме...

Ростислав. А что, если бы в самом деле на каждый вечер нам определить себе какой-либо один предмет, назначить очередь, кому говорить за другим, положить себе за правило не отступать от предмета, пока мы не рассмотрели его во всей подробности?..

Фауст. Тогда бы мы объявили притязание на полную, стройную систему философии — на что, может быть, надобно иметь право, которого я покуда в нас не признаю. Мне кажется, мы похожи на странников, зашедших ночью в незнакомую землю, о которой они имеют сведения и неподробные и неполные; в сей земле они должны жить и потому изучить ее; но в эту минуту искания всякий систематизм был бы для них делом свыше их сил — и, следовательно, источником заблуждения; все, что они знают об этой стране, — это, что они ее не знают. В эту минуту их может скорее спасти догадка самопроизвольная, бессознательная, инстинктивная — до некоторой степени поэтическая; в эту минуту всего важнее — искренность воли; впоследствии они, может быть, приметят свои заблуждения, оценят свои догадки и, может быть, найдут, что в одной из них и скрывается искомая истина. Но до тех пор покоришься систематизму — и странники сделаются рабами собственного слова¹⁵⁸, актерами; разговор потеряет всю искренность, и, если угодно, всю пользу; он обратится в сцену, на которой всякий говорит не то, что невольно, бессознательно в нем возбудилось речью другого, но старается своей собственной мысли дать самую благообразную форму и посредством хитросплетения слов, всегда более или менее неопределенных, во что бы ни стало предохранить свою речь от возражения. Так и с нами! да, сверх того, есть и другое немалое затруднение, которое мне сию минуту пришло в голову; слова: "единство", "предмет" обыкновенно встречаются в первых параграфах всякой философской книги, как вещи совершенно всякому известные и понятные, но признаюсь, они-то меня и останавливают. Есть ли что-либо неопределеннее слова: единство? разве слово еще более сбивчивое: предмет? — Соединение же этих двух слов составляет для меня нечто вовсе непонятное...

Ростислав. Я не понимаю твоего затруднения; положим, мы избрали себе предметом определить: что такое дерево?.. и будем держаться этого вопроса, не касаясь ни камня, ни

¹⁵⁸ Одоевский, как и большинство других романтиков, русских и немецких, отвергал систему как жесткую схему, мешающую свободному и поэтическому взгляду на вещи, но он же был за систему в смысле признания всеобщей взаимосвязанности и взаимозависимости мировых явлений.

Противниками системы в первом ее значении были все любомудры. Даже наиболее педантичный из них, С. П. Шевырев, писал в 1841 г.: "...дух истины заключается конечно не в системе, органически построенной: система есть более или менее диалектическая хитрость ума; в ее тонкостях и сплетениях часто видны бывают уловки мысли человеческой, признающей противоречие за необходимый закон для того только, чтобы избегнуть упрека в противоречии. Началом Платоновой философии более сочувствовало мыслящее человечество, нежели началам Аристотеля, а между тем Платон был только рапсодист-философ, Аристотель же — творец первой логической системы" (Шевырев С. П. Христианская философия. Беседы Баадера. — Москвитянин, 1841, ч. III, № 6, с. 380–381).

животного, ни искусства, и так далее...

Фауст. Тщетная мечта! С чего начать, чтоб не удалиться ни на шаг от избранного предмета? Один начинает говорить о жизни дерева; ему возражают, что он удаляется от предмета, ибо жизнь дерева есть лишь одно из явлений этого предмета, и предварительно надобно определить, что понимать под словом: жизнь? Другой предлагает начать прямо с описания частей дерева; здесь новые вопросы: начать ли с корней, как органов питания? начать ли с органов дыхания — листьев? Один уверяет, что надобно начать с коры — как внешней оболочки, прежде всего поражающей наши чувства. Другой столь же основательно доказывает, что надобно начинать с сердцевины, как центральной части дерева; тогда рождается вопрос: что такое центральная часть и существует ли она в дереве? Предлагают, чтоб кончить эти споры, действовать отрицательно, то есть прежде всего показать, отчего дерево не есть ни камень, ни животное; но тут естественно рождается вопрос: что такое камень? что такое животное? и с каждым новым предметом начинается та же история, что и с деревом... и не достанет ни веков, ни жизни миллионов людей для того, чтоб определить: с чего начать, чтоб говорить о дереве? ибо в этот вопрос войдут все науки, вся природа... и оттого, кажется, все споры, в продолжение веков возбуждающиеся в человечестве, приводятся к одному и тому же вопросу: с чего начать? или, лучше сказать, к другому, еще высшему: что такое начало? что такое знание? и наконец: возможно ли знание? — А этот вопрос есть предел науки, которая называется философией...

Ростислав. Если бы и так... то нам ли пугаться этого вопроса, нам ли, которых половина жизни протекла в трудах над этою страшною, но отрадною наукою.

Фауст. Согласен; кажется, мы то и делаем. Но возможно ли для этой науки, как и для всякой другой, то, что называется стройною логическою формою, — это вопрос иной.

Ростислав. Следственно, ты не допускаешь возможности логического построения мыслей?

Фауст. Я пока не допускаю того, чтоб люди, говоря между собою, совершенно понимали друг друга... Я не могу войти здесь в разбор тех начал, на которых для меня основано это убеждение; но, кажется, до него можно дойти и другими путями. Испытаю. Хорошо было Кондильяку¹⁵⁹; для него вся философия состояла в искусстве рассуждать; он забыл только одно: что глупцы и сумасшедшие часто очень логически рассуждают; одного они не могут себе логически доказать: сумасшедший, что он сумасшедший, глупец, что он глуп. К сожалению, я не знаю, каким образом каждый из нас может доказать себе, что он действительно в здравом уме, что он, например, не принимает части за целое, целое за часть, движение за покой и покой за движение, точно так же, как тот чудак, который, ходя по комнате, держался за стенку, полагая, что он вечно на корабле в бурную погоду; пока не открыт этот способ доказательства, до тех пор, по моему мнению, каждый разговор, каждая речь есть обман, в который мы впадаем сами и вводим других; мы думаем, что говорим об одном предмете, когда вместо того говорим о совершенно различных предметах...

Ростислав. Но тогда не было бы возможности двум людям никогда в чем-либо согласиться, а между тем это случается...

Фауст. Весьма редко, а если и случается, то, кажется, совсем иным процессом, далеко не логическим. Два человека могут согласно верить, или, если угодно, чувствовать истину, но никогда согласно думать о ней, и тем менее свое согласие выразить словами. Объясню тебе это весьма простым примером: кто из нас не знает, что такое металл? Каждый, даже не учившийся минералогии или химии, знает, что значит, когда говорят: "такое-то тело есть металл". В старинных химиях находились весьма подробные определения металла и отличий его от других минералов. Новейшие химики принуждены были отказаться от определения: что такое металл? И действительно, невозможно: чем отличается металл от других тел?

¹⁵⁹ Кондильяк Этьен Бонно, де (1715–1780) — французский философ, выводивший знание из известного опыта; проявлял большой интерес к проблемам языка.

крепостию, — но алмаз крепче металла; ковкостию, — тогда куда отнести ртуть? тем, что он простое тело? но простых тел более полсотни; блеском? но сера, слюда имеют металлический блеск в известных обстоятельствах; наконец, к довершению бед, открыли тело, имеющее в своих соединениях все свойства металлов, и между тем этого тела никто не видал; химия не может уловить его, оно почти не существует — это, как знаешь, металл аммоний. А между тем мы понимаем друг друга, когда говорим о металлах, и отнюдь не смешиваем этого тела с другими. Что ж это значит? что мы к данному слову присовокупляем еще какое-то понятие, не выражаемое словами, понятие, сообщенное нам не внешним предметом, но самобытно и безусловно исшедшее из нашего духа. Я привел в пример слово простое, означающее предмет простой; но что же должно происходить в наших словах, когда мы говорим о понятиях неосязаемых, о понятиях, заключающих в себе тысячу других понятий, каковы, например, понятия нравственные. Полное вавилонское смешение языков! Отсюда частью проистекает мое убеждение, что мы говорим не словами, но чем-то, что находится вне слов и для чего слова служат только загадками, которые иногда, но отнюдь не постоянно, наводят нас на мысль, заставляют нас догадываться, пробуждают в нас нашу мысль, но отнюдь не выражают ее. Оттого, чем подробнее мы хотим изложить какое-либо понятие, тем более мы должны употреблять слов или неопределенных знаков, словом, чем яснее, т. е. чем материальное хотим выразить нашу мысль, тем более она теряет определенности. В этом смысле, может быть, и говорил Сократ: "все, что я знаю, это — что ничего не знаю", а отнюдь не в духовном смысле, как обыкновенно полагают; ибо речь внутренняя всегда понятна для людей, находящихся в некоторой степени симпатии; в этом был убежден и Сократ — и тому доказательство: он не молчал. Одно условие понимать друг друга: говорить искренно и от полноты душевной; тогда всякое слово получает ясность от своего высшего источника. Когда два или три человека говорят от души, они не останавливаются на большей или меньшей полноте своих слов; между ними образуется внутренняя гармония; внутренняя сила одного возбуждает внутреннюю силу другого; их соединения, как соединение организмов в магнетическом процессе, возвышает их силу; они оба дружно с быстротою неисчислимою переходят целые миры различных понятий и согласно достигают искомой мысли; если этот переход выразить словами, то, по их несовершенству, они едва означат лишь конечные грани: точку отправления и точку покоя; внутренняя нить, их связывающая, для слов недоступна. Оттого в живом, откровенном, искреннем разговоре, кажется, нет логической связи, а между тем лишь при этом гармоническом столкновении внутренних сил человека рождаются нежданно самые глубокие наблюдения, как заметил мимоходом Гете. { * "Wilhelm Meisters Lehrjahre" } Этот гармонический процесс объяснить словами еще труднее, нежели объяснить, что такое металл; на этот процесс обыкновенно не обращают внимания, а между тем он так важен, что без предварительного изучения этого процесса — всякое философическое понятие, выраженное словами, есть не иное что, как простой звук, могущий иметь тысячи произвольных значений; словом, без предварительного изучения процесса выражения мыслей — никакая философия невозможна¹⁶⁰, ибо при первом шаге она должна уже употребить этот процесс, а между тем явления, до некоторой степени однородные с этим процессом, у нас ежедневно пред глазами; возьмем пример самый простой: кто не знает, что лучший способ убеждения не логика, но так называемое нравственное влияние; отсюда различие между речью импровизированною и речью читаемою; отсюда простое слово: "вперед", произнесенное опытным полководцем, действует на воинов сильнее самой лучшей диссертации; отсюда, например, чудное действие речей Наполеона, которые в чтении — лишь набор напыщенных слов; отсюда, наконец, прелесть дружеской, откровенной беседы и нестерпимая тоска чопорного разговора.

¹⁶⁰ Здесь Одоевский предвещает развитие "метаязыковых" изучений в XX в., т. е. исследование не только научных объектов, но и методов анализа этих объектов.

Ростислав. Знаешь ли, что ты своими словами уничтожаешь возможность всякой науки, всякого изучения?

Фауст. Нет, я спасаю науку от того камня, который швыряется ей под ноги скептицизмом и догматизмом. Впрочем, не я начал. Шеллинг, в первый год текущего столетия, бросил в мир одну глубокую мысль, как задачу для юного века, задачу, которой разработка должна наложить на него характерическую печать и гораздо вернее выразить его внутреннее значение в эпохах мира, нежели всевозможные паровики, винты, колеса и другие индустриальные игрушки. Он отличил безусловное, самобытное, свободное самовоззрение души — от того воззрения души, которое подчиняется, например, математическим, уже построенным фигурам; он признал основу всей философии — во внутреннем чувстве, он назвал первым знанием — знание того акта нашей души, когда она обращается на самую себя и есть вместе и предмет и зритель; {*} словом, он укрепил первый, самый трудный шаг науки на самом неопровержимом, на самом явном явлении и тем, как бы по предчувствию, положил вечную преграду для всех искусственных систем, которые, подобно гегелизму¹⁶¹, начинают науку не с действительного факта, но, например, с чистой идеи, с отвлечения отвлечения.

{* См. Hegel's Encyclopedic der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, 19 u 24. Tubingen 19 и 24. Тюбинген (нем.), 1827.}

{* Вот подлинные слова Шеллинга: "Единственный предмет трансцендентальной философии есть внутреннее чувство, и предмет ее никогда не может быть, как в математике, предметом внешнего воззрения (*Anschauung*). — Предмет математики столько же не вне знания, как и предмет философии. Все существо математики основано на воззрении; она существует лишь в воззрении; но в воззрении внешнем. Оттого математик не занимается самовоззрением (актом построения), но только тем, что уже построено, что всегда может проявляться во внешность, тогда как философия вникает лишь в самый акт построения, в акт совершенно внутренних.

Сверх того, предметы в философии существуют тогда только, когда они суть произведения самобытные, свободные. — Нельзя принудить к внутреннему воззрению сих предметов, как можно принудить к внешнему воззрению математической фигуры: действительность математической фигуры основана на внешнем чувстве; точно так же действительность философического понятия основана на внутреннем". "*System des transcendentalen Idealismus*", 4. Tubingen, 1800.} _

Не знаю, ошибаюсь ли я, но мне кажется, что великий мыслитель, произнося великую мысль, живо чувствовал тот раздор между мыслию и словом, который, по моему убеждению, играет столь важную роль в жизни человечества. "Упрек в темноте, говорит он, {*} *Schelling's System des transcendentalen Idealismus*, p. 51.} который делают философии, происходит не от ее действительной темноты, но оттого, что не всякому дан тот орган, которым она может быть схвачена". Если так, то что значит слово, употребляемое нами для выражения мысли? Изменяемая форма, ясная для одного, менее понятная для другого, вовсе непонятная для третьего!

Ростислав. Так! Я согласен с тобою в том, что может относиться к высшим положениям философии, но в других подчиненных науках...

Фауст. Философия есть наука науки; ее основное положение не может быть вполне выражено словом, ибо как бы слово ни было совершенно, между им и мыслию будет всегда *minimum* разницы, которое дифференцируется смотря по философскому органу, о котором

¹⁶¹ Критическое отношение к "гегелизму" свойственно не только Одоевскому, но и некоторым другим любомудрам. С. П. Шевырев писал И. Аксакову в 1862 г.: "Когда я возвратился в Россию (в начале 30-х годов, — Е. М.) и принял кафедру, учение Гегеля начало сильно распространяться у нас. Я следил за гегелевой философией по книгам, которые тогда выходили... — я оставался во все время моего университетского поприща постоянным и добросовестным противником гегелева учения" (см.: Ковалевский М. Шеллингианство и гегельянство в России. — Вестник Европы, 1915, № 11, с. 162, 163).

говорит Шеллинг; довести сей *minimum* разницы до нуля — есть в настоящую минуту высшая задача философии; до разрешения этой задачи, какое бы положение ни было взято за первоначальное (и чем выше оно, тем труднее), оно, проходя сквозь слова, будет иметь столько же смыслов, сколько голов человеческих... Это положение, приспособленное к какой-либо отдельной отрасли знаний человеческих, вносит и в нее свой изменяющийся, шаткий характер; отсюда логическое построение этой отдельной отрасли становится ложным, обманчивым, основанным на шатком значении употребленных слов...

Ростислав. Следственно, еще раз, по-твоему, никакая наука, никакое знание невозможно...

Фауст. Нет! если б я сказал, то я бы спорил против действительности; всякое знание возможно — ибо возможно первоначальное знание, т. е. знание акта самовоззрения; но как это знание есть знание внутреннее, инстинктивное, не извне, но из собственной сущности души порожденное, — то таковы должны быть и все знания человека. Оттого я не признаю возможности существования наук, искусственно построенных учеными, я не понимаю науки, которая называлась бы философией, историей, химией, физикою... это оторванные, изуродованные части одного стройного организма, одной и той же науки, которая живет в душе человека и которой форма должна разнообразиться, смотря по его философскому органу, или, другими словами, по сущности его духа. В этой науке также должны соединяться все науки, существующие под различными названиями, как в телесном организме соединяются все формы природы, а не одни химические, не одни математические и так далее. Словом, каждый человек должен образовать свою науку из существа своего индивидуального духа. Следственно, изучение не должно состоять в логическом построении тех или других знаний (это роскошь, пособие для памяти — не более, если еще пособие); оно должно состоять в постоянном интегрировании духа, в возвышении его, — другими словами, в увеличении его самобытной деятельности. Вопрос о том, до какой степени и каким образом возможно это возвышение, каким образом оно может проливать свет на все неизмеримое царство знания, — этот вопрос важен, и я не могу теперь отвечать на него вполне; укажу только на некоторые отдельные его разрешения. {[* Дифференцирование в простейшем смысле есть путь от многоугольника к кругу; интегрирование — путь от круга к многоугольнику. Фауст недаром употребляет эти выражения: в мистике все чувственное выражается кругом; духовное — единицею, которой проявления: линия и треугольник, играющий столь важную роль в мистических книгах. Отсюда в кабалистике значение числ: 6 и 9, встречающихся постоянно, между прочим, у Сен-Мартена; шесть 6 есть торжество единицы над кругом, разрушение чувственного; девять 9 торжество чувственного над духовным — разрушение духовного.]} Так, напр, для меня совершенно ясно, что эта деятельность не возбудится тем или другим фактом, тем или другим силлогизмом, ибо силлогизмом можно доказать, но не уверить; но что эта деятельность может быть возбуждена, между прочим, путем эстетическим, т. е. "посредством непонятого начала, как говорит Шеллинг, {* Ibidem, pag. 457.} которое невольно, и даже против воли, соединяет предметы с познанием". Эстетическая деятельность проникает до души не посредством искусственного логического построения мыслей, но непосредственно; ее условие есть то особое состояние, которое называется вдохновением, — состояние, понятное только тому, кто имеет орган сего состояния, но имеющее необъяснимую привилегию действовать и на тех, у кого этот орган на низшей степени. Низшие степени предполагают существование высших степеней сего чудного духовного процесса — и Шеллинг...

(Входят Вячеслав и Виктор).

Вячеслав. Так! толкуют о Шеллинге! поздравляю вас, господа, учитесь снова, Шеллинг вовсе переменил свою систему...

Фауст (к Ростиславу). Не правду ли я говорил, что язык человеческий есть предатель его мысли и что мы друг друга не понимаем? Так Шеллинг вовсе изменил свои мысли, не правда ли? и вы верите этому?

Виктор. Во всех журналах, даже в ваших философских...

Фауст. Знаю! знаю! — есть люди, для которых всякая неудача есть истинное наслаждение; они радуются опечатке в роскошном издании; фальшивой ноте у отличного музыканта; грамматической ошибке у искусного писателя; когда неудачи нет, они, по доброте сердца, ее предполагают, — все-таки слаще. Успокойтесь, господа, великий мыслитель нашего века не переменил своей теории. Вас обманывают слова: слова похожи на морскую зрительную трубу, которая колеблется в руках у стоящего на палубе; в этой трубе есть для глаза некоторое ограниченное поле, но на этом поле предметы меняются беспрестанно, смотря по положению глаза; он видит много предметов, но ни одного явственно; к сожалению, слова наши еще хуже этого оптического инструмента — не на что и опереть их! мысли скользят под фокусом слова! мыслитель сказал одно — для слушателя выходит нечто другое; мыслитель избирает лучшее слово для той же мысли, силится приковать слово к значению мысли нитями других слов — а вы, господа, думаете, что он переменил и самую мысль! оптический обман! оптический обман!

Вячеслав. Это очень утешительно для самолюбия господ философов, но еще следует доказать...

Фауст. Я даю слово доказать это убеждение, как скоро явятся в свет новые лекции Шеллинга¹⁶².

Виктор. Ну, а что же знаменитая рукопись? какую еще сказку расскажут нам твои эксцентрические путешественники?

Фауст. Рукопись кончена.

Вячеслав. Как кончена? — Стало быть, это был пух! эти господа брались, кажется, прояснить все тайны мира духовного и вещественного, а дело ограничилось только какими-то идеальными биографиями каких-то чудаков, которые бы спокойно могли пробыть в полной неизвестности без всякого изъяна для человеческой истории.

Фауст. Мне кажется, что мои друзья видели неразрывную, живую связь между всеми этими лицами — идеальными или нет, не в том дело.

Виктор. Признаюсь в моей непроницательности: я этой связи не заметил.

Фауст. Мне она кажется довольно явную; но если вы сомневаетесь в ней, я прочту вам еще несколько листков, которых я не хотел было читать, ибо они не что иное, как жертва систематическому характеру века, которому мало мысли безграничной, неопределенной, — а непременно надобно что-нибудь такое, чтоб можно было ощупать. Так слушайте ж! вот вам систематическое оглавление всей рукописи и даже эпилог к ней.

Фауст читал:

Судилице. Подсудимый! понял ли ты себя? нашел ли ты себя? что сделал ты с своею жизнью?

Пиранези. Я обошел вселенную; я начал с востока, возвратился с запада. Везде я искал самого себя! Я искал себя в пучинах океана, в кристаллах гор первородных, в сиянии солнца — все охватил в мои могучие объятия — и, пораженный собственною моею силою, я забыл о людях и не поделился с ними моею жизнью!

Судилице. Подсудимый! твоя жизнь принадлежала людям, а не тебе!

Экономист. Я отдал душу мою людям; моя жизнь развилась пышным, роскошным цветом — я отдал его людям: люди оборвали, растерзали его — и он исчез прежде, нежели я надышался его упоительным запахом. В горячей любви к ним, я сошел в мрачный кладезь науки, я исчерпал его до изнеможения сил, думая утолить жажду человечества; но предо

¹⁶² Имеются в виду лекции, которые Шеллинг начал читать в 1841 г. в Берлинском университете. В этих лекциях Шеллинг излагал свою "философию мифологии и откровения", противостоящую не только философии Гегеля, но и собственной "философии тождества". Изложения нового учения Шеллинга, о котором ходило много толков, ждали с нетерпением не только его сторонники в Германии, но и в России. В статье 1815 г. "Обозрение современного состояния литературы" И. Киреевский писал, что с "новой системой Шеллинга" "соединялось столько великих ожиданий, основанных на глубочайшей потребности духа человеческого" (Киреевский И. В. Полн. собр. соч. Т. I. М., 1911, с. 128).

мною был сосуд данаид!¹⁶³ я не наполнил его, — лишь забыл о себе.

Судилище. Подсудимый! жизнь твоя принадлежала тебе, а не людям.

Город без имени. Я много занимался моею жизнью; я расчел ее по математической формуле и, заметив, что всякое высокое чувство, всякая поэзия, всякий энтузиазм, всякая вера не входит в мое уравнение, я принял их за нуль и, чтобы жить спокойно и удобно, увидел необходимость без них обойтись; но отринутое мною чувство сожгло меня самого, и я поздно увидел, что в моем уравнении забыта важная буква...

Судилище. Подсудимый! твоя жизнь принадлежала не тебе, но чувству.

Бетховен. Душа моя жила в громогласных созвучиях чувства; в нем думал я собрать все силы природы и воссоздать душу человека... я изнемог недоговоренным чувством.

Судилище. Подсудимый! жизнь твоя принадлежала тебе, а не чувству.

Импровизатор. Я страстно любил жизнь мою — я хотел и науку, и искусство, и поэзию, и любовь закласть на жертвеннике моей жизни; я лицемерно преклонял колени пред их алтарями — и пламя его опалило меня.

Судилище. Подсудимый! жизнь твоя принадлежала искусству, а не тебе!

Себастьян Бах. Нет! Я не лицемерил моему искусству! В нем я хотел сосредоточить всю жизнь мою, ему я принес в жертву все дарования, данные мне провидением, отдал все семейные радости, все, что веселит последнего простолюдина...

Судилище. Подсудимый! жизнь твоя принадлежала тебе, а не искусству.

Сегелиель. Что это за забавное судилище? Помилуйте, да на что ж это похоже; оно на каждом шагу себе противоречит: то живи для себя, то для искусства, то для себя, то для науки, то для себя, то для людей. Ему просто хочется обманывать нас! — Что ни говори, как ни называй вещи, какое на себя ни надевай платье — все я остается я и все делается для этого я. Не верьте, господа, этому судилищу, оно само не знает, чего от нас требует.

Судилище. Подсудимый! ты укрываешься от меня. Я вижу твои символы — но тебя, тебя я не вижу. Где ты? кто ты? отвечай мне.

Голос в неизмеримой бездне. Для меня нет полного выражения!

ЭПИЛОГ

Ростислав. То есть, эти господа разными окольными дорогами дошли опять до того, с чего начали, то есть до рокового вопроса о значении жизни...

Вячеслав. Нет, они, кажется, по предчувствию, что ли, хотели доказать любимую фаустову мысль о том, что мы не можем выражать своих мыслей и что, говоря, мы друг друга не понимаем...

Фауст. Твои слова могут служить одним из доказательств моей, как ты говоришь, любимой мысли. Я часто обращаюсь к ней, — но, видно, не довольно ясно выражаюсь, несмотря на все мои усилия: и немудрено — я должен для доказательства, что орудие не годится, употреблять то же самое орудие. Это все равно, как бы поверять неверный аршин тем же самым аршином, или голодному питаться своим голодом. Нет, я не говорю, чтоб слова наши вовсе не годились для выражения мысли, — но утверждаю, что тождество между мыслию и словом простирается лишь до некоторой степени; определить эту степень действительно невозможно посредством слов — ее должно ощутить в себе.

Вячеслав. Так пробуди же во мне это ощущение.

Фауст. Не могу — если оно само в тебе не пробуждается; можно человека навести на это ощущение, указывая на разные психологические, физиологические и физические явления; но произвести это ощущение в другом без собственного его внутреннего процесса

¹⁶³ Согласно мифическому преданию дочери царя Данаия в первую брачную ночь убили своих мужей. За это они были осуждены в подземном царстве наполнять водой бездонную бочку. Выражение "сосуд данаид" стало синонимом бессмысленного и бесплодного труда.

— нет возможности; точно так же, как можно человека навести на идею красоты, совершенства, гармонии; но дать ощупать эту идею невозможно, ибо полного выражения этой идеи не найдешь в природе, — она лишь в голове Рафаэля, Моцарта и других людей в этом роде.

Виктор. Если так, то и никакие твои физические явления не могут служить для выражения мысли, а ты когда-то сказал, что в природе буквы постоянные, стереотипные. Уж воля твоя, для меня всего яснее слово или цифра, нежели все эти сравнения и метафоры, которыми ты и твоя рукопись так щедро нас наделяешь.

Фауст. Ты напрасно хочешь обвинить меня в противоречии; действительно, буквы природы постояннее букв человеческих, и вот тому доказательство: в природе дерево всегда ясно и вполне выговаривает свое слово — дерево, под какими бы именами оно ни существовало в языке человеческом; между тем, к уничижению нашей гордости, — нет слова, нами произносимого, которое бы не имело тысячи различных смыслов и не подавало повода к спорам. Дерево было деревом для всякого от начала веков; но вспомни хоть одно слово, выражающее нравственное понятие, которого бы смысл не изменялся почти с каждым годом. Слово "изящество" то ли значило для людей прошлого века, что для людей нынешнего? добродетель язычника — была бы преступлением в наше время; вспомни злоупотребление слов: равенство, свобода, нравственность. Этого мало; несколько сажень земли — и смысл слов переменяется: баранта, вендетта¹⁶⁴, все роды кровавой мести — в некоторых странах значат: долг, мужество, честь.

Виктор. Я согласен, что эта неопределенность выражений существует в метафизике, но кто в этом виноват? отчего этой неопределенности не существует в точных науках? здесь каждое слово определено, потому что предмет его определен, осязаем.

Фауст. Совершенная правда — и тому доказательство: например, бесконечность, величины бесконечно великие и бесконечно малые, математическая точка — словом, все те основания, с которых должна бы начинаться математика; в химии рекомендую слова: сродство, катализис, простое тело; не говоря о других науках, где идет дело о живой природе. Вспомни слова Биша¹⁶⁵ — великого экспериментатора, опытного физика, убитого анатомическими опытами, которого кто-то, и не совсем без основания, поставил наряду с Наполеоном. Биша должен был сознаться, что "для тел органических надобно выдумать новый язык, ибо все слова, которые мы переносим из физических наук в животную или растительную экономию, напоминают нам такие понятия, которые вовсе не соответствуют физиологическим явлениям". {* Bichat, "Recherches physiologiques sur la vie et la mort", Paris, 1829, p. 108.} Когда мы говорим, мы каждым словом вздымаем прах тысячи смыслов, присвоенных этому слову и веками, и различными странами, и даже отдельными людьми. В природе этого нет, ибо в природе нет воли; она — произведение вечной необходимости; растение цело за тысячу лет, как оно цветет сегодня. Оттого, когда мы хотим нашему слову дать характер определенный, мы невольно хватаемся за определенную букву природы, как за постоянный символ живой мысли, однородной с нашею мыслию; мы стараемся нашей мысли дать ту прочную одежду, которой сами сотворить не умеем, ибо не умеем направить нашей воли по таким же прочным законам, по которым действует природа.

Виктор. Еще противоречие: не сам ли ты еще недавно силился убедить нас, что произведение природы гораздо ниже произведений человеческих... теперь выходит наоборот...

¹⁶⁴ Род мести, выражающейся в захвате скота или какого-либо другого имущества; распространена преимущественно среди кочевых народов; вендетта — обычай кровной мести, распространенной главным образом в Сардинии и на Копейке.

¹⁶⁵ Биша Мари Франсуа Ксавье (1771–1802) — французский врач, анатом и физиолог. Был создателем гистологии; его труды сыграли значительную роль в развитии биологии и медицины. Умер вследствие несчастного случая в молодые годы.

Фауст. Опять спор в словах! заметь, что я сказал таким же, но не тем же законам природы; как скоро человек хочет подражать природе, — он всегда ниже ее; но он всегда выше, когда творит своей внутреннею силою; что нужды, что он для своих потребностей пользуется теми удобствами, которые он находит в природе! в парке у богатого владельца есть и хижины, и развалины, и луга, но из этого не следует, чтобы он спал на траве или жил в хижине: у него есть свои чертоги, — и главное дело, чтоб владелец-то был богат сам по себе.

Вячеслав. В чем же может заключаться это богатство, или, оставя сравнения, когда же человек может вполне выразить свою мысль?

Фауст. Когда его воля достигла до той степени высоты, где она уверена в своей искренности.

Вячеслав. Но чем уверится она в этой искренности?

Фауст. Тем же процессом, которым математик уверяется, что а может быть равно б, ибо этой аксиомы он не может доказать ничем существующим в природе; в природе человек может найти лишь сходство, но равенства — никогда; эта идея безусловно существует в человеке...

Виктор. Как? равенства двух предметов не существует в природе? я вижу два листа на дереве: вижу, что они оба зелены, оба остроконечны, оба растут на дереве — и заключаю, что они равны между собою; это равенство прикладываю к другим предметам и так далее...

Фауст. По какому праву? ты не можешь не видеть, что как бы два листа ни были сходны между собою, между ними нет математического равенства, что между ними есть *minimum* разницы...

Виктор. Согласен.

Фауст. Если ты видишь этот *minimum* разницы, следовательно, сам замечаешь, что есть нечто в предмете, что противоречит идее совершенного равенства; следовательно, ты берешь из природы, чего в ней не заметил; и я снова спрашиваю: по какому праву? другими словами: откуда?

Виктор. Посредством отвлечения...

Фауст. Но отвлечение есть процесс, которым мы сжимаем в одну форму тысячи различных свойств предмета; нельзя сжать того, чего нет; если нет в природе совершенного равенства — то неоткуда ему взяться и в твое отвлечение. Ты хочешь сделать верное сокращение какой-нибудь книги; если ты к своему сокращению прибавил мысли, которых нет в книге, — твое сокращение неверно, ты обманываешь и себя и других; так и со всеми так называемыми отвлечениями. Они сжимают несколько частных понятий и прибавляют к ним новое — откуда же взялось оно? Словом, если мы имеем идею равенства, красоты, совершенного добра и проч. т. п. — то они существуют в нас сами собою, безусловно, и мы лишь как мерку прикладываем их к видимым предметам. Это говорил еще Платон, и я не постигаю, как можно до сих пор толковать о деле, столь ясном.

Ростислав. Мы отделились от вопроса: дело шло — о выражении мыслей. Признаюсь, убеждение Фауста весьма меня беспокоит; оно потрясает все здание наших наук, ибо они все — выражаются словами...

Фауст. Большею частию, — но не все.

Вячеслав. Как не все? но чем же? нельзя ли без загадок...

Фауст. Вопрос: может ли быть наука, не выражаемая словами, — завел бы нас слишком далеко; я пока настаиваю только на том, чтоб мы не слишком доверяли нашим словам и не думали, что наши мысли вполне выражаются словами; недаром эта настойчивость пугает Ростислава; дело довольно важное, и от него происходит довольно бед на земле.

Вячеслав. Вольтер уже давным-давно говорил об этом...

Фауст. У Вольтера была сумасбродная и преступная цель, и потому он видел только одну сторону вопроса, одно то, что мог он употребить как оружие против предмета своей ненависти. Между тем, никто так не пользовался двусмысленностью слов, как сам Вольтер; все его мнения завернуты в эту оболочку. — Здесь дело другое; двусмысленность слов — большое неудобство; но бессмысленность еще важнее, и слов последнего рода гораздо

больше в обращении — благодаря, между прочим, и Вольтеру...

Вячеслав. Не слишком ли строго, особенно в отношении к такому человеку, у которого нельзя отнять гениальности...

Фауст. Я знаю существо, у которого еще менее можно отнять права на гениальность...

Вячеслав. Кто же такое...

Фауст. Его называют иногда Луцифером.

Вячеслав. Я не имею чести его знать...

Фауст. Тем хуже; мистики говорят, что он больше всего знаком с теми, которые его не знают...

Вячеслав. Был уговор: без мистицизма.

Фауст. Шутки в сторону, я не знаю никого, кроме этого господина, который мог бы с такою ловкостью пустить по свету, например, следующие бессмысленные слова: факт, чистый опыт, положительные знания, точные науки и проч. т. п. Этими словами человечество пробавляется уже не первый век, не присваивая им ровно никакого смысла; например, в воспитании говорят: сделайте милость, без теории, а побольше фактов, фактов; голова дитяти набивается фактами; эти факты толкаются в его юном мозгу без всякой связи; один ребенок глуп, — другой, усиливаясь найти какую-нибудь связь в этом хаосе, сам себе составляет теорию, да какую! — говорят: "дурно учили!" совершенно согласен. В ученом мире то и дело вы слышите: сделайте милость, без умозрений, а опыт, чистый опыт; между тем, известен только один совершенно чистый опыт, без малейшей примеси теории и вполне достойный названия опыта: медик лечил портного от горячки; больной, при смерти, просит напоследях покушать ветчины; медик, видя, что уже спасти больного нельзя, соглашается на его желание; больной покушал ветчины — и выздоровел. Медик тщательно внес в свою записную книжку следующее опытное наблюдение: "ветчина — успешное средство от горячки". Через несколько времени тому же медику случилось лечить сапожника также от горячки; опираясь на опыт, врач предписал больному ветчину — больной умер; медик, на основании правила: записывать факт как он есть, не примешивая никаких умствований, — прибавил к прежней отметке следующее примечание: "средство полезное лишь для портных, но не для сапожников". — Скажите, не такого ли рода наблюдений требуют эти господа, когда толкуют о чистом опыте; если бы опытный наблюдатель продолжал собирать свои опытные наблюдения — то со временем из них бы составилось то, что называют теперь наукою...

Виктор. Шутка не дело...

Фауст. И дело не шутка, а я думаю, что эти господа просто шутят...

Виктор. Но, помилуй! Можно ли сравнивать всех людей, занимающихся опытами, — с глупцом, который записывал все, что ему кидалось в глаза, без всякого разбора...

Фауст. Извините! разбор уж предполагает какую-нибудь теорию, а как по-вашему теория может быть следствием лишь чистых опытов, то мой медик имел полное право внести свое наблюдение в памятную книжку. Я не сравниваю эмпириков с этим медиком, — потому что они, говоря одно, делают другое; каждый из них, вопреки своей теории, имел теорию, так что, действительно, в их устах чистый опыт — есть слово без мысли. Но пойдем далее: часто в слове есть мысль, допустим, даже всем понятная, всем ясная; проходит время, смысл слова изменяется, но слово остается; таково, например, слово: нравственность; высоко было это слово в устах — хоть Конфуция; что сделали из него его потомки? слово осталось — но оно теперь значит у них не иное что, как наружная форма приличия; затем — обман, коварство, разврат всякого рода сделались чем-то посторонним. Любопытна эта страна вообще и важная указка для формалистов. Недаром ею восхищались философы XVIII века; она точь-в-точь приходилась по мерке их разрушительному учению; все в ней высказано, выражено; есть форма всего; есть форма просвещения, форма военного искусства; даже форма пороха и огнестрельных орудий — но сущность сгнила, и сгнила так, что трехсотмиллионное государство может рухнуть от малейшего европейского натиска.

{* Легкая победа англичан над китайцами ¹⁶⁶ доказала справедливость этого замечания, написанного еще в 1838 г.}

Загляните в историю, в это кладбище фактов — и вы увидите, что значат одни слова, когда смысл их не опирается на внутреннее достоинство человека. Что значат все эти скопища людей, эти домашние раздоры, мятежи — как не спор о словах, не имеющих значения, как, например, хоть форма общественная; не ходя далеко — вспомните о французской революции¹⁶⁷; люди поднялись против угнетения, против деспотизма, как они его называли, — пролиты реки крови; и наконец сбывшись на деле мечты Руссо и Вольтера; люди, к величайшему удовольствию, добились до республиканских форм, а с ними — до Робеспьера и других господ того же разбора, которые, под защиту тех же самых форм, показали на деле, а не на словах, что значит угнетение и варварство. Вот шутки, которые разыгрываются на свете по милости слов! Ими живет царство лжи!

Вячеслав. Прекрасно! но если с одной стороны — ложь, то с противоположной должна быть истина; и потому мне бы очень было любопытно узнать, каким способом человеку можно обойтись без слов. Например, я бы желал знать, чего добились твои приятели, сочинители читанной тобою рукописи, которые подобно тебе были убеждены в вреде этого снадобья. К чему довели их прыжки через язык человеческий?

Фауст. Мои молодые друзья были люди своего времени. Сегодня между бумагами я нашел кстати род заключения к их путешествию; оно недлинно, но довольно замечательно, по точке зрения, до которой дошли мои мечтатели также жертвы слова! Им принадлежит одна честь: они открыли врага — но победить его было не их дело, и, может быть, и не наше. Слушайте:

"Нас спросят: "Чем же кончилось ваше путешествие?" — Путешествием. Не окончив его, мы состарились тою старостию, которая в XIX веке начинается с колыбели, — страданием. Ничто не спасло нас от него: тщетны были определенная наука одного, неопределенное искусство другого. Тщетно мы измеряли шагами пустыню души человеческой, тщетно с верою мы стонали и плакали в преддверьях ее храмов, тщетно с горькою насмешкою рассматривали их развалины, — безмолвна была пустыня и не раздралась еще завеса святилища! Мы останавливали проходящих, мы вопрошали их о знаменитых вестниках неба, на минуту являвшихся на земле, они указывали нам на невидимые часы веков и отвечали: "страдание! страдание!" Вдали алела заря какого-то непонятого солнца; но вокруг нас веял ветер полуночи, холод проникал до костей, и мы повторяли: "страдание!" Не для нас эта заря, не для нас это солнце! Не согреть ему наше окостенелое сердце! Для нас одно солнце — страдание! — Эти листки опалены его жгучею теплотою!

Было время, когда скептицизм почитался самою ужасною мыслию, которую когда-либо изобретала душа человека; эта мысль убила все в своем веке: и веру, и науку, и искусство; она возмутила народы, как пески морские; она увенчала кипарисным венцом клеветников провидения вместе с светителями мира; она заставила людей искать, как надежной пристани, разрушения, зла и ничтожества. Но есть еще чувство ужаснейшее самого скептицизма, — может быть, более благое в своих последствиях, но зато более мучительное для тех, которые осуждены испытать его.

Скептицизм есть, в некотором смысле, мир своего рода, мир, имеющий свои законы, — словом, мир замкнутый, до некоторой степени мир спокойный.

У скептицизма есть удовлетворенное желание — ничего не желать; исполненная

¹⁶⁶ Имеется в виду так называемая первая "опиумная" война (1840–1842), завершившаяся унижительным для Китая Нанкинским договором, который положил начало открытой империалистической экспансии в Китай.

¹⁶⁷ В духе европейского либерализма Одоевский враждебно относился к якобинской диктатуре во время Великой французской революции 1789–1794 гг. (ср. примеч. 6 на с. 307–308 и примеч. 41 на с. 309).

надежда — ничего не надеяться; успокоенная деятельность — ничего не искать; есть и вера — ничему не верить. Но отличительный характер настоящего мгновения — не есть собственно скептицизм, но желание выйти из скептицизма, чему-либо верить, чего-либо надеяться, чего-либо искать желание ничем не удовлетворяемое и потому мучительное до невыразимости. Куда ни обращает свой грустный взор друг человечества — все опровергнуто, все поругано, все осмеяно: нет жизни в науке, нет святости в искусстве! что мы говорим, нет мнения, которого бы противное не было подтверждено всеми доказательствами, возможными для человека. Такие несчастные эпохи противоречия оканчиваются тем, что называется синкретизмом, то есть соединением в безобразную систему, вопреки уму, всех самых противоречащих мнений; такие примеры нередки в истории: когда, в последних веках древнего мира, все системы, все мнения были потрясены, тогда просвещеннейшие люди того времени спокойно соединяли самые противоречащие отрывки Аристотеля, Платона и еврейских преданий. В нынешней старой Европе мы видим то же...

Горькое и странное зрелище! Мнение против мнения, власть против власти, престол против престола, и вокруг сего раздора — убийственное, насмешливое равнодушие! Науки, вместо того чтобы стремиться к тому единству, которое одно может возратить им их мощную силу, науки раздробились в прах летучий, общая связь их потерялась, нет в них органической жизни; старый Запад, как младенец, видит одни части, одни признаки — общее для него непостижимо и невозможно; частные факты, наблюдения, второстепенные причины — скопляются в безмерном количестве; для чего? с какою целью? — узнать их, не только изучить, не только проверить, было невозможною уже во времена Лейбница; что ж ныне, — когда скоро изучение незаметного насекомого завладеет названием науки, когда скоро и на нее человек посвятит жизнь свою, забывая все подлунное; ученые отказались от всесоединяющей силы ума человеческого; они еще не наскучили наблюдать, следить за природою, но верят лишь случаю, от случая ожидают они вдохновения истины, — они молятся случаю. *Eventus magister stultorum.* {Случай — учитель неразумного (лат.).} Уже в том видят возвышение науки, когда она обращается в ремесло!.. и слово язычника: "Мы ничего не знаем!"¹⁶⁸ глубоко напечатлелось на всех творениях нашего века!.. наука погибает.

В искусстве давно уже истребилось его значение; оно уже не переносится в тот чудесный мир, в котором, бывало, отдыхал человек от грусти здешнего мира; поэт потерял свою силу; он потерял веру в самого себя — и люди уже не верят ему; он сам издевается над своим вдохновением — и лишь этой насмешкою вымалывает внимание толпы... искусство погибает.

Религиозное чувство на Западе? — оно было бы давно уже забыто, если б его внешний язык еще не остался для украшения, как готическая архитектура, или иероглифы на мебели, или для корыстных видов людей, которые пользуются этим языком, как новизною. Западный храм — политическая арена; его религиозное чувство — условный знак мелких партий. Религиозное чувство погибает!

Погибают три главные деятели общественной жизни! Осмелимся же выговорить слово, которое, может быть, теперь многим покажется странным и через несколько времени — слишком простым: Запад гибнет!

Так! он гибнет! Пока он собирает свои мелочные сокровища, пока предается своему отчаянию — время бежит, а у времени есть собственная жизнь, отличная от жизни народов; оно бежит, скоро обгонит старую, одряхлевшую Европу — и, может быть, покроет ее теми же слоями недвижимого пепла, которыми покрыты огромные здания народов древней Америки — народов без имени.

¹⁶⁸ Подразумеваются слова Сократа: "Я знаю только то, что ничего не знаю". Интересное истолкование этих слов, в духе стихотворения Тютчева "Silentium", см. на с. 135.

Неужли в самом деле такая судьба ожидает это гордое средоточие десяти веков просвещения? Неужли как дым разлетятся изумительные произведения древней науки и древнего искусства? Неужли заглохнут, не распустившись, живые растения, посеянные гениями-просветителями?

Иногда, в счастливые мгновения, кажется, само провидение возбуждает в человеке уснувшее чувство веры и любви к науке и искусству; иногда долго, вдалеке от бурь мира, хранит оно народ, долженствующий доказать снова путь, с которого совратилось человечество, и занять первое место между народами. Но один новый, один невинный народ достоин сего великого подвига; в нем одном, или посредством его, еще возможно зарождение нового света, обнимающего все сферы ума и общественной жизни. {[*
* Внимательный читатель заметит, что в этих строках вся теория славянофилизма, появившегося во 2-й половине текущего столетия¹⁶⁹.]}

Когда азийские царства, которых имена, как грозные привидения, являются нам на страницах истории, в кровавой борьбе спорили о первенстве мира, свет истины тихо возрастал в пустыне евреев; когда науки и искусство Египта погасли в разврате, — Греция обновила их силу в своих объятиях; когда дух отчаяния заразил все общественные стихии гордого Рима, — христиане, этот народ народов, спасли человечество от гибели; когда в конце средних веков ослабевшая деятельность духа готова была поглотить сама себя, — новые части света дали новую пищу и новые силы ослабевшему старцу и продлили его искусственную жизнь.

О, верьте! будет призванный из народа юного, свежего, непричастного преступлениям старого мира! Будет достойный взлелеять в душе своей высокую тайну и восставить светильник на свещницу, и путники изумятся, каким образом разрешение задачи было так близко, так ясно — и так долго скрывалось от глаз человека.

Где же ныне шестая часть света, определенная провидением на великий подвиг? Где ныне народ, хранящий в себе тайну спасения мира? Где сей призванный... где он? Куда увлекло нас высокое чувство народной гордости? Не этим ли языком говорили все народы, вступавшие на поприще жизни? Они также мечтали видеть в себе разрешение всех тайн человека, зародыш и залог блаженства вселенной!

Что, если?... страшная мысль! но позабудем о ней! полководец, готовясь на смертный бой, не говорит о гибели! он вспоминает предания мудрых, заблуждения неудачных.

Много царств улеглось на широкой груди орла русского! В минуту страха и смерти один русский меч рассек узел, связывавший трепетную Европу, — и блеск русского меча донныне грозно светится посреди мрачного хаоса старого мира... Все явления природы суть символы одно другому: Европа назвала русского избавителем! в этом имени таится другое, еще высшее звание, которого могущество должно проникнуть все сферы общественной жизни: не одно тело должны спасти мы — но и душу Европы!

Мы поставлены на рубеже двух миров: протекшего и будущего; мы новы и свежи; мы непричастны преступлениям старой Европы; пред нами разыгрывается ее странная, таинственная драма, которой разгадка, может быть, таится в глубине русского духа; мы — только свидетели; мы равнодушны, ибо уже привыкли к этому странному зрелищу; мы беспристрастны, ибо часто можем предугадать развязку, ибо часто узнаем пародию вместе с трагедией... Нет, недаром провидение водит нас на эти сатурналии, как некогда спартанцы водили своих юношей смотреть на опьянелых варваров!

Велико наше звание и труден подвиг! Все должны оживить мы! Наш дух вписать в историю ума человеческого, как имя наше вписано на скрижалях победы. Другая, высшая победа — победа науки, искусства и веры — ожидает нас на развалинах дряхлой Европы. Увы! может быть, не нашему поколению принадлежит это великое дело! Мы еще слишком близки к зрелищу, которое было пред нашими глазами!.. Мы еще надеялись, мы еще

¹⁶⁹ Одоевский здесь неточен: теория славянофильства появилась в 40-е годы.

ожидали прекрасного от Европы! На нашей одежде еще остались знаки праха, ею возмущенного. Мы еще разделяем ее страдания! Мы еще не уединились в свою самобытность. Мы струна не настроенная — мы еще не поняли того звука, который мы должны занимать во всеобщей гармонии. {[* Теперь с этим, может быть, другие славянофилы не согласятся, — но тогда сомнение еще дозволялось.]} Все эти страдания — удел века или удел человечества? мы еще не знаем! Несчастные, мы даже готовы верить, что таков удел человечества! Страшная, ледяная мысль! она преследует нас, она проникла в кровь нашу, она растет, она мужает вместе с нами! мы заражены! один гроб исцелит нашу заразу.

Тебя, новое поколение, тебя ждет новое солнце, тебя! — а ты не поймешь наших страданий! ты не поймешь нашего века противоречий! ты не поймешь этого столпотворения, в котором смешались все понятия и каждое слово получило противоположное себе значение! ты не поймешь, как мы жили без верований, как мы жили одним страданием! ты будешь смеяться над нами! — Не презирай нас! мы были скудельным сосудом, который провидение бросило в первое горнило, чтоб очистить грехи отцов наших; для тебя оно сохранило искусный чекан, чтобы возвести тебя на свое пиршество.

Соедини же в себе опытность старца с силою юноши; не щадя сил, выноси сокровища науки из-под колеблющихся развалин Европы — и, вперя глаза свои в последние судорожные движения издыхающей, углубись внутрь себя! в себе, в собственном чувстве ищи вдохновения, изведи в мир свою собственную, непрививную деятельность, и в святом триединстве веры, науки и искусства ты найдешь то спокойствие, о котором молились отцы твои. Деятельность принадлежит России!"

— Если бы их устами, да мед пить, — сказал Ростислав.

— Разумеется, — возразил Вячеслав, — но согласитесь, господа, что за пафос!..

— Фразы и фразы, вот и все! — произнес Виктор диктаторским тоном.

— Согласен, что фразы, — отвечал Фауст, — но мои покойники жили в веке фраз, — тогда не говорили иначе; нынче те же фразы, только с претензией на краткость, на сжатость; сделались ли они оттого яснее? — Бог знает. Со времени Бентама фразы мало-помалу все сжимались и наконец обратились в одну гласную букву: я. Что может быть короче? но едва ли фраза в этом виде сделалась яснее десятка бентамовых томов, где она выражена на каждой странице длинными периодами. — Я, признаюсь, люблю фразы; в фразах человек иногда забудет свое ремесло актера и проговорится от души, а что проговаривается от души, то бывает иногда истиной, хотя часто сам говорящий того не заметил.

Виктор. Да что ж истинного в филиппике твоих покойников? в самом деле что ли Запад погибает? что за вздор! Напротив, когда, в какую эпоху он был так богат силами и средствами жизни, как в нынешнюю? Все в нем движется: железные дороги пересекают его из края в край; промышленность дошла до чудесного; война сделалась невозможностью; личная безопасность ограждена; школы размножаются; тюрьмы смягчаются; науки идут исполинскими шагами; съезды ученых делают малейшее открытие достоянием всей Европы; а сила, вещественная сила такова, что весь мир преклоняется пред Западом. Где же признаки падения, гибели?

Фауст. Я бы на это мог тебе отвечать словами натуралистов, политиков, медиков — о том, что высшее развитие сил какого бы то ни было организма есть начало его конца; но я лучше хочу согласиться с тобою, что мнение моих друзей о Западе преувеличено; я собственно не вижу в нем признака близкого падения, но потому только, что не вижу и того высшего развития сил, о котором ты говоришь; подождем аэростата — и тогда увидим. Касательно оценки текущего времени я буду несколько невежливее моих друзей; они характер настоящей эпохи назвали синкретизмом, я осмелюсь сказать, что ее характер просто — ложь, какой еще не бывало в прежней истории мира.

Виктор. Нечего церемониться; Шлецер прежде тебя сказал в детской книжке, "что род

человеческий еще вообще очень глуп". {* Шлецерова история для детей, кн. 2.¹⁷⁰

Вячеслав. То есть, Шлецеру этими словами хотелось сказать: "как я умен" или "я один умен".

Ростислав. Это тайный смысл каждого слова, произносимого человеком...

Вячеслав. Оттого и Фауст уверен, что он один в свете искренен...

Фауст. Нет, к сожалению, я еще далек от этой уверенности, я еще не имею на нее права, ибо считаю эту уверенность высшим благом, которое может быть доступно человеку. Ложь столькими покровами охватывает его с первой минуты рождения, что борьба с нею поглощает все его силы. Эти покровы кровяными жилами приросли к человеческому организму. Часто, с плачем и воплем срывая их с своей внутренности, после долгих, неизмеримых страданий, истомленный, обессиленный — думаешь, что достигнул до сердцевины души своей, — ничего не бывало! там новый покров, кровавый, безобразный, пятнающий чистоту воли, и... снова начинается та же работа. У меня притязание на одну привилегию: я бы хотел не обманывать и не обманываться; но, еще раз, не знаю, имею ли и на нее право!

Вячеслав. Успокойся. Эту привилегию ты разделяешь со всем родом человеческим.

Фауст. Полно, так ли? всегда человек обманывал себя и обманывал других, но лишь в наше время он достигнул до такого совершенства, что желает быть обманутым.

Виктор. В наше время? Напротив! Когда, в какую эпоху действительность, очевидность, правда были в таком ходу, как ныне? Уж теперь ничего не выиграешь поверхностными соображениями, аналогиями, приблизительными наблюдениями: ныне требуют точности, цифр, фактов — они одни обращают на себя внимание...

Фауст. То есть, соскучив толковать, как бы поправить свое зрение и вычистить очки, — больные оттолкнули от себя это досадное, беспокойное подозрение и без околичностей решили, что их зрение совершенно здорово и очки совершенно чисты; оттого один видит предметы зелеными, другой красными, пока не придет третий и не станет уверять, что предметы ни зеленые, ни красные, а синие. За ними приходит человек, который или тщательно соберет все эти показания, так, просто для справки, или заключит, что в предмете соединено все вместе: и зеленое и красное и синее; тот и другой в полном убеждении, что из собрания многих лжей может, наконец, составиться истина, точно так же, как физики прошедшего века доказывали, что солнечный свет состоит из всех грубых цветов, им порождаемых. В этом я и вижу беду; нет опаснее сумасшедшего, который вовсе не подозревает, что он сумасшедший. Нет опаснее обманщика, который имеет вид откровенного человека.

Виктор. Но где же эти обманы? и преимущественно в нашем веке?

Фауст. Повторяю: не только люди обманывают друг друга, но даже знают, что они обмануты.

Вячеслав. По крайней мере, в этом знании ты не отказываешь нашему веку?

Фауст. В том беда, а не шутка. [Мы нашли искусство обманывать и, что еще страннее, обманываться — сознательно.] Было время, когда, если человек оскорблен другим, то они подерутся и убьют друг друга очень просто. Теперь, в наш век, просвещенные люди точно так же оскорбляют друг друга, точно так же дерутся и точно так же убивают, но с прибавкой: один почитает другого подлецом, но, вызывая на поединок, уверяет в своем искреннем почтении и преданности. Было время, когда человек напивался вином и опиумом — не зная их губительного влияния на здоровье; теперь человек это очень хорошо знает и, однако, напивается тем и другим. [Древний грек или римлянин верил или не верил оракулу, Палладе, Зевсу; теперь мы знаем, что оракул лжет, а все-таки ему верим. Девять на десять так называемых римских католиков не верят ни в непогрешительность папы, ни в

¹⁷⁰ Имеется в виду книга: Schlozer Vorbereitung zur Weltgeschichte für Kinder, 1779 (2-я часть книги вышла в 1806 г.). — Книга Шлецера неоднократно переводилась в России. Первый перевод, сделанный Э. Энгельсоном, вышел под названием: Корень всемирной истории для детей Соч Г. Шлецера. СПб., 1789.

добросовестность иезуитов, и десять на десять готовы хоть на ножи за то и другое.] Мы так свыклись с ложью, что эти явления кажутся нам делом отнюдь не странным. Не угодно ли посмотреть их братцев и сестриц на земном шаре. Например, хоть в представительных государствах, — не говорим о других, — только и речи, что о воле народа, о всеобщем желании; но все знают, что это желание только нескольких спекуляторов; говорят: общее благо — все знают, что дело идет о выгоде нескольких купцов или, если угодно, акционерских и других компаний. Куда бежит эта толпа народа? — выбирать себе законодателей — кого-то выберут? успокойтесь, это все знают — того, за кого больше заплачено. Что это за скопище? говорят о злоупотреблениях, о необходимости новых мер... о гибели отечества, — толпа волнуется вокруг ораторов... ничего! это врачи без больных и адвокаты без процессов, им нечем жить, а вот заварится кровавая каша, то, может быть, и им достанется ложка: это и сами ораторы и все слушатели знают. Куда идут эти почтенные мужи? в далекие страны, для просвещения полудиких. Какой подвиг самоотвержения! ничего не бывало; дело в том, чтобы сбыть бумажные чулки несколькими дюжинами больше, — это все знают, и сами миссионеры. Вот произносится вечная обоюдная клятва, страшное дело! — ничего, все знают, что при совершении брачного обряда с намерением упущено то, без чего брак, при случае, может почтяться небывалым. Мирный судья захватил в таверне несколько человек, все спокойны, ибо все знают, что свидетели при деле сродни судье и получают за явку узаконенную плату и что только из того были все хлопоты; где-то говорят горячо о необходимости поддержать хлебную промышленность, какие факты! какие доводы! — но все знают, что дело идет лишь о пользе нескольких монополистов, вокруг которых соседи умирают с голода; философ с кафедры обещается открыть всю истину, но все знают, что он ее не знает и не скажет, а между тем его слушают; в гостиной являются чета супругов, братья, члены семейства и говорят друг про друга величайшие нежности, но и они и все знают, что они друг друга терпеть не могут и дожидаются, как сказал Пушкин:

Когда же черт возьмет тебя?¹⁷¹

Журналист до истощения сил уверяет в своей беспристрастии, но все читатели очень хорошо знают, что во вчерашнем заседании акционерской компании журналу определено быть того мнения, а не другого. {[* Намек на "Times".]} Человек, вынесенный невежественною толпою на первое место страны, говорит этой толпе невероятные комплименты — все знают, что это неправда, все знают, что он так говорит потому только, что иначе ему бы не усидеть, но однако слушают с удовольствием. Один мой знакомый говорил в шутку: "что за льстец этот Б++; в глаза льстит без малейшего стыда; но что будешь делать! знаю, что лжет, а приятно!". В этих немногих словах вся характеристика века. Когда необходимость доводит до откровенности, тогда ее нагота прикрывается из благоприличия словами, часто совершенно противоположного значения; один государственный муж выразился так: "наши отцы касались этого вопроса с такою мудрою терпимостью (tolerance), что до сих пор он никогда не возмущал общего спокойствия, и я равно никогда не допущу в этом деле нововведений". {[* Прокламация фан-Бурена¹⁷² 4 марта 1837.]} К чему относилось это прекрасное слово: терпимость? вы подумаете — к вероисповеданиям или к чему-нибудь подобному. Нет! просто к возмутительному рабству негров и беспощадному самоуправству южных американских плантаторов! — Терпимость в этом смысле! образец изобретательности! Неоцененная игра слов! и, к сожалению, не первая и не последняя. Если все это, господа, не ложь — то мы понимаем что-то совершенно различное под этим словом.

Виктор. Нет! но ты смешиваешь ложь с словом приличие, которое, конечно, играет важную роль в нашем веке, — и тем лучше — это признак его просвещения...

¹⁷¹ Слова из "Евгения Онегина" (гл. 1, строфа I).

¹⁷² фан-Бурен, или ван Бурен, Мартин (1782–1862) — президент США с 1837 по 1841 г. Его программа, особенно в вопросе о рабстве, носила подчеркнуто консервативный характер.

Вячеслав. Умный человек сказал: лицемерие есть невольная дань уважения, которую порок приносит добродетели¹⁷³. {* Рошфуко.}

Фауст. Я знаю изречение еще лучше: язык дан человеку на то, чтобы скрывать его мысли... {* Талейран¹⁷⁴.}

Виктор. Уж если пошло на цитаты, то я напому о весьма глубокой мысли, ныне опростонародившейся: *toutes les verites ne sont pas bonnes a dire* — я не знаю, как перевести это по-русски; переводят: не всякая правда кстати, но это не то...

Фауст. К счастью, не то! наш девственный язык не позволил разлечь себя этой развращенною нелепостию; {*** Фауст в своем увлечении забывает, что наш язык принял же в себя выражения: законная взятка, честный доходец, забывает и всю терминологию крепостного права.} он не дал места ее общему, безусловному смыслу, — наш язык, насильно приняв иноземную гостью, стеснил ее в случайность: некстати — не в пору, — и бережно сохранил свое самобытное, врожденное, глубокое, хотя и простое слово: "хлеб-соль ешь, а правду режь". На эту поговорку можно написать целый курс нравственности, которая, разумеется, не войдет в бентамовы рамки; в них место только первой, хлебной половине нашего честного присловья. — Так вот до чего вы дошли, господа эмпирики, господа фактисты, люди положительные! вы спрятали слово ложь под словом приличие, как ребенок голову в подушки, и думаете, что вас не видно! что в слове, когда смысл его уничтожает, пугает душу человека? где же ваша любовь к очевидности, к ясности, к фактам, к цифрам? эта любовь только до некоторой степени, — а там — да здравствует ложь! — о! вы правы! спрячьте вашу ложь, закройте ее, закрасьте, замажьте ее, — потому что если кто вам покажет ее лицом к лицу, то вы возненавидите себя за ваше безобразие...

Виктор. Все, что ты говоришь, очень справедливо в некотором смысле...

Фауст. В некотором смысле! еще платице на ложь! рядите, рядите, господа, вашу воспитанницу, или воспитательницу...

Виктор. Да как ни называй, ложь, приличие, дух времени — все равно; дело в том, что при пособии этого снадобья Запад вышел из мрака средних веков, возвысился до той степени, где мы его видим теперь; сделался рассадником изобретений, искусств, наук... главное — цель, а не средства...

Фауст. По крайней мере ты соглашаешься, что рассадник завелся при пособии синкретического снадобья, чтобы сказать благоприличнее, — добрый знак! — Цель достигнута, ты говоришь?

Виктор. Достигается...

Фауст. Посмотрим же, чего достигли, — древо по плоду познается. Повторяю, мысли моих покойных друзей о Западе преувеличены, — но... прислушайся к самим западным писателям, приглядишься к западным фактам, — не к одному, но ко всем без исключения; прислушайся к крикам отчаяния, которые раздаются в современной литературе...

Виктор. Это ничего не доказывает; как можно ссылаться на показания самых болтливых людей в человеческом роде, на литераторов? им, известно, нужно одно: произвести эффект чем бы то ни было — правдой или неправдой...

Фауст. Так! но нельзя отрицать, что в произведениях литературных, особенно в романе, отражается если не жизнь общественная, то по крайней мере состояние духа пишущих людей, хотя и болтливых, как ты говоришь, но все-таки составляющих цвет общества.

Вячеслав. О! без сомнения, — что ни говори, печать — дело великое, это оселок и весьма верный! Сколько людей считались умными в свете, даже гениями, — казалось, они

¹⁷³ из книги французского писателя Франсуа Ларошфуко (1613–1680) "Максимы и моральные размышления" (1665).

¹⁷⁴ Талейран Шарль Морис (1754–1838) — французский политический деятель; прославился беспринципностью, возведенной им в своего рода принцип.

проглотили всю земную мудрость, — но их личина спадала при первых строках, ими напечатанных; неожиданно открывалось, что предполагаемые глубокие мысли не что иное, как пара ребяческих фраз, остроумие — натянутый набор слов, ученость — ниже гимназического курса, а логика — хаос...

Фауст. Я согласен с тобою, но с некоторыми ограничениями... впрочем, это в сторону; я говорил о литературе, как об одном из термометров духовного состояния общества; этот термометр показывает: неодолимую тоску (*malaise*), господствующую на Западе, отсутствие всякого общего верования, надежду без упования, отрицание без всякого утверждения. Посмотрим на другие термометры. — Виктор упоминал о чудесах промышленности нашего века. Запад есть мир мануфактурный; Кетле ¹⁷⁵ был невольно приведен своими добросовестными статистическими таблицами до следующих заключений: 1-е, что число преступлений гораздо значительнее в промышленных, нежели в земледельческих местностях; {* *Quetelet, "Sur l'Homme, ou Essai de Physique sociale", Bruxelles, 1836, t. I, p. 215.*} 2-е, что нищета гораздо сильнее в странах мануфактурных, нежели где-либо, ибо малейшее политическое обстоятельство, малейший застой в сбыте повергает тысячи людей в нищету и приводит их к преступлениям. {* *Ibidem, t. II, p. 211.*} Современная промышленность действительно производит чудеса: на фабриках, как вам известно, употребляют большое число детей ниже одиннадцатилетнего возраста, даже до шести лет, по самой простой причине, потому что им платить дешевле; как фабричную машину невыгодно останавливать на ночь, ибо время — капитал, то на фабриках работают днем и ночью; каждая партия одиннадцать часов в сутки; к концу работы бедные дети до того утомляются, что не могут держаться на ногах, падают от усталости и засыпают так, что их можно разбудить только бичом; честные промышленники, чтобы помочь этому неудобству, сделали чудное "изобретение: они выдумали сапоги из жести, которые мешают бедным детям даже падать от усталости...

Виктор. Это частный случай, который ничего не доказывает...

Фауст. Имей терпение хоть пробежать парламентские исследования с 1832 по 1834 год и другие документы, {* *Factories inquiry. First report; second report; supplementary report, 1832–1834, 4 v. in-folio.*} то ли ты найдешь там? везде один ответ: десятилетние дети на работе по одиннадцати часов в сутки; усталость до утомления; распухнувшие ноги; спинная болезнь; недостаток сна, от которого всегдашнее полусонное состояние; {* Кажется, это полусонное состояние очень удобно для фабрик. Новейшие газеты наполнены описанием снотворного состава, которым западные фабриканты усмиряют детей слишком резвых.} наконец, что всего важнее — невозможность какого-либо воспитания, какого-либо образования, тем менее нравственного, ибо после одиннадцатичасовой работы нет времени для школы; а если бы и нашлось это время, то физическое и нравственное состояние детей таково, что ученье для них бесполезно; комиссары парламента открыли, что большая часть фабричных работников не умеют ни читать, ни писать — и прежде времени поражены старческою немощью; это уж не сказка, а официальное дело.

Виктор. Однако же доктор Юр доказал, что самое пребывание на фабрике способствует образованию работников...

Фауст. Я помню это место — это такой пуф, что его нельзя читать без смеха и без сожаления. Многоученый доктор Юр, горячий поборник бумажных мотков, хватается за все, чтоб защитить предмет своего обожания: он говорит о необходимости для работника смотреть на термометр, который будто бы "вместе с гигрометром открывает ему тайны природы, закрытые другим людям; он каждый день имеет случай, — продолжает филантроп-мануфактурист, — наблюдать расширение твердых тел, происходящее от возвышения температуры, на огромных паровых трубах, нагревающих комнаты... получать

¹⁷⁵ Кетле Адольф (1796–1874) — бельгийский статистик, астроном и физик, сыграл большую роль в организации статистического учета. По его инициативе созывались международные статистические конгрессы.

сведения в практической механике из самой прядильной машины...". {* "Philosophie des manufactures", par Andrew Ure, 2 vol. in-12, Bruxelles; traduit sous yeux de l'auteur; ch. I, p. 36 et sqq. } Вот образец положительности! мануфактурный философ полагает, что можно знания ввернуть в голову человека, как винт в стену, без всякого предварительного приготовления, которое бы могло развить умственные понятия человека до той степени, где отдельные знания делаются ему доступными...

Виктор. Но ты должен согласиться, что ежедневное обращение с машинами, с термометром не может несколько не развить умственных способностей человека...

Фауст. Так: если он гений; пред другими же целый век будет вертеться колесо и висеть термометр — и они ничего не поймут ни в том, ни в другом. Тысячи людей смотрели, как паром поднимается крышка с чайника, — но одного Уатса¹⁷⁶ это наблюдение привело к паровой машине" Англичанин Гельс¹⁷⁷ (Hales), один из знаменитейших химических ремесленников семнадцатого века, даже изобрел снаряд для собирания газов; он их, так сказать, щупал руками, но не узнал их, принимал их за один и тот же воздух с некоторыми примесями. Для гения не нужно школы; но все не гении не могут обойтись, по крайней мере, без первоначального воспитания. Да и все это мечта! стоит взглянуть на прядильную мануфактуру! ты знаешь, есть ли возможность тому, кто должен ежеминутно смотреть за сотнями обрывающихся ниток, — производить наблюдения над термометром и углубляться в механику? уже не говорю о тех несчастных, которых единственное занятие в продолжение полусуток — ползать на четвереньках под машиною и подбирать хлопки, — ибо в этом состоит вся работа детей; каким образом они в это время занимаются термометрическими и гигрометрическими наблюдениями — это известно одному доктору Юру! Впрочем, кажется, глубокое размышление над винтами и колесами самопрядильни не открыли и самому доктору Юру тайн природы, довольно известных другим смертным; на замечание одного умного" лондонского врача, который без церемонии сказал, что ночная работа — гибель для здоровья и особенно в детском возрасте препятствует правильному развитию тела, доктор Юр насмешливо и с чувством оскорбленного достоинства доказывает медицинскому факультету, что машины сильно" освещены газом и, следовательно, ночная работа не может быть вредна детям...

Ростислав. Неужели ты не шутишь?

Фауст. Загляни во вторую главу второго тома "Философии мануфактур"; {* Ibidem, pag. 149.} этот ответ показывает, что доктору Юру вовсе не известно одно и" самых простых положений физиологии о влиянии ночи на организм животных. Только мануфактурному философу дозволено такое невероятное, непростительное невежество — зато доктор Юр человек положительный и считается авторитетом в прядильном и вообще мануфактурном мире...

Ростислав. Хоть упоминает ли он о нравственном образовании несчастных детей на фабриках?..

Фауст. Он вообще очень хвалит фабричное нравственное воспитание, чему я нашел у него и доказательство: "если главный работник на шерстяной фабрике, — говорит он, {* Ibidem, t. I, p. 13.} — человек трезвый и порядочный, то он не имеет нужды мучить (harasser) своих маленьких помощников... на если он предан горячим напиткам или вспыльчив, то поступает с ними тирански... когда он, возвращаясь из трактира, запоздает, то, чтоб нагнать время, пускает машину с такою быстротою, что его помощники не успевают ему помогать... тогда он немилосердно бьет их длинным катком (billy rollet)..." — чем не воспитание?

¹⁷⁶ Уатс — имеется в виду Уатт Джемс (1736–1819), который с 1763 г., работая механиком университета в г. Глазго, занялся усовершенствованием парового двигателя Т. Ньюкомена, а в 1784 г. изобрел универсальную паровую машину.

¹⁷⁷ Гельс, или Гейлс Стивен (1677–1761) — английский ботаник и химик, один из первых представителей экспериментального естествознания. Был создателем многих экспериментальных приборов и аппаратов.

бедные дети в полной власти у взрослого пьяного негодяя — но ведь это лишь в продолжение одиннадцати часов в день! Впрочем, доктор Юр не шутя уверяет, что это случается только на шерстяных фабриках, но отнюдь не на бумажных, { * Там же. } и надеется, что новые усовершенствования на шерстяных фабриках устранят эту маленькую неприятность.

Виктор. Но ты берешь только случайности...

Фауст. Эти случайности на всех фабриках Запада...

Виктор. Ты указываешь лишь на одну сторону...

Фауст. Тебе угодно другую; вот она: Карл Дюпень¹⁷⁸ торжественно объявил с парламентской трибуны, что "на 10000 рекрут в мануфактурных департаментах Франции представляется 8900 больных и уродов, а в земледельческих лишь 4000". { * См. газеты тридцатых годов. }

Виктор. Это все темная сторона; должно брать в расчет и силу обстоятельств, как, например, огромную производительность Запада, которая, естественно, понижает цены на фабричные произведения и заставляет производить дешевле и в меньшее время; оттого все эти ночные работы, употребление детей, утомление... без того большая часть фабрикантов бы разорились...

Фауст. Я не вижу нужды в этой непомерной производительности...

Виктор. Помилуй! ты хочешь ограничить свободу промышленности...

Фауст. Я не вижу нужды в этой беспредельной свободе...

Виктор. Но без нее не будет соревнования...

Фауст. Я не вижу нужды в этом так называемом соревновании... как? люди алчные к выгоде стараются всеми силами потопить один другого, чтобы сбыть свое изделие, и для того жертвуют всеми человеческими чувствами, счастьем, нравственностью, здоровьем целых поколений, — и потому только, что Адаму Смиту вздумалось назвать эту проделку соревнованием, свободою промышленности — люди не смеют и прикоснуться к этой святыне? О, ложь бесстыдная, позорная!

Виктор. Я согласен, что настоящее состояние западной промышленности представляет много странного и печального, — но не в ней одной заключается Запад. Вспомни, что Запад — колыбель нашего просвещения, что на Запад ходят учиться, что Запад истинный храм наук...

Фауст. Обширный вопрос! об нем можно говорить до завтрашней ночи! Чтоб не распространяться вдаль — я спрошу только: какие именно науки подвинулись в этом храме? Я вижу движение на Западе, вижу безмерную трату сил, вижу множество приемов полезных и бесполезных — им не худо учиться; думать, что новая наука далеко оставила за собою древнюю, — это вопрос другой; новая наука увеличила ль хоть на волос благоденствие человека? это вопрос третий.

Виктор. Послушай: отрицать просвещение Запада — дело невозможное; ты этого не докажешь...

Фауст. Я не отрицаю его и даже признаю, что нам еще многому остается учиться на Западе, но я хотел бы привести это просвещение в настоящую оценку. Успехи в политической экономии и общественном благоустройстве мы уже видели и видим каждый день; дело дошло до того, что один добрый чужак¹⁷⁹ предложил перевернуть весь

¹⁷⁸ Карл Дюпень — имеется в виду Дюпен Пьер-Шарль-Франсуа (1784–1873), французский математик и экономист, большую часть жизни посвятивший статистическим исследованиям. Неоднократный депутат парламента, Дюпен часто выступал там с речами на темы экономики.

¹⁷⁹ Имеется в виду французский социалист-утопист Шарль Фурье (1772–1837), предложивший теорию правильного и целесообразного направления страстей и соответствующую этой теории общественную организацию. "Дело не в том, — писал Фурье, — что этот новый порядок должен был что-либо изменить в страстях; это не было бы возможно ни для бога, ни для людей: но можно изменить ход страстей, не изменяя ничего в их природе" (Фурье Шарль. Избр. соч. Т. I. М. — Л., 1951, с. 101).

общественный быт и испытать, не лучше ли будет, вместо обуздания страстей, дать им полный разгул и еще подстрекать их; а этот чудак был человек неглупый: нелепость, до которой дошел он, доказывает, что уже нет выхода из того круга, в который забрела западная наука. В науках физических приложений много, но что именно принадлежит новому веку... сомнительно.

Виктор. Мысль приписывать все изобретения древним очень стара, о ней написаны сотни книг...

Фауст. Стало быть, в ней есть нечто справедливое; вам известно мое убеждение: я не могу поверить, чтобы наука могла подвинуться далеко, когда ученые ее тянут в разные стороны! В этом путешествии они могут наткнуться на новое, но только наткнуться; старики, кажется, тянули в одну сторону — и оттого повозка шла проворнее...

Виктор и Вячеслав. Доказательства! Доказательства!

Фауст. Вы знаете книгу, над которой я теперь тружусь; ее цель напомнить о позабытых знаниях, — нечто вроде сочинения Панцироля¹⁸⁰ "Do rebus deperditis"; {"О потерянных вещах" (лат.).} но мимоходом она, неожиданно для меня самого, доказала, что все наши физические знания были известны, во-первых, алхимикам, магам и другим людям этого разбора, далее в элевзинском храме¹⁸¹, а еще далее у жрецов египетских. Ограничусь теперь только некоторыми намеками. Когда мы достоверно знаем, что тот или другой: предмет существовал в данное время, то мы должны заключить, что существовали и средства произвести его; видя деревянный дом, мы заключаем, что бруссы были деревьями, что они вырублены железом, что железо было выковано, что железо добыто из руды, что руда была разработана, и так далее. Все важнейшие химические соединения, без которых наша, наука не могла бы сдвинуться с места, достались нам от алхимиков: алкоголь, металлы, важнейшие кислоты, щелочи, соли; их существование необходимо предполагает знания по крайней мере столь же обширные, как в наше время, если бы даже самые процессы и снаряды и не были подробно описаны; для меня это ясно, как дважды два четыре.

Виктор. Сохранилась история одного открытия, которое может служить разгадкой, каким образом могли быть сделаны многие другие, без пособия особенных знаний. Финикийские купцы без всякой химии, а случайно открыли стекло, раскладывая огонь на берегу для своего обеда.

Фауст. Плиний¹⁸² сохранил эту сказку вместе со многими другими. По его словам, "торговцы употребили вместо столов для обеда куски нитра, {* Glebas nitri, — Plinii Hist natur, lib XXXVI, с. 65, — селитра? поташ? натр?} находившегося на их корабле; нитр, подверженный действию огня вместе с береговым песком, полился прозрачными струями, и таково была происхождение стекла". Дело в том, что этого никогда не могло случиться, не во гнев Плинию: стекло при столь малом жаре и на открытом месте никак не могло образоваться — и по самой простой причине: для плавки стекла необходима температура не костра, но плавильной печи; что ни говори, а существование стекла в древности указывает на огромные предварительные знания, которые одни могли довести до фабрикации стекла; открытию состава стекла, открытию пропорции веществ, в него входящих, должны были бы,

¹⁸⁰ Панцироль (Панцироли) Гвядо (1523–1599) — итальянский правовед, ученый и писатель, автор сочинений на различные темы. Одно из наиболее известных его сочинений, вышедшее в 1599 г., носит название "Rerum memorabilium deperditarum libri" и посвящено искусствам и знаниям, утраченным или позабытым в новейшие времена. Это сочинение, видимо, и имеет в виду Одоевский.

¹⁸¹ Элевзинский храм — древнегреческий храм в 20 км от Афин, где происходили религиозные празднества (так называемые элевзинские мистерии) в честь богини Деметры и дочери ее Персефоны.

¹⁸² Плиний Старший (23–79) — древнеримский писатель и ученый, автор многотомной "Естественной истории", своеобразной энциклопедии научных знаний.

судя по-нашему, предшествовать тысячи опытов; да не забудем и эластического, вовсе нам непонятого стекла, о котором ясно говорит Плиний и, кажется, Светоний...¹⁸³

Вячеслав. Возвышать древних, чтобы унижить новейших — на это была мода и прошла!..

Фауст. Я не утверждаю, что все возможные открытия принадлежат древним; но нельзя забыть, например, предание о Нуме Помпилии¹⁸⁴, ученике пифагорейцев, который будто бы посредством таинственных обрядов сводил гром на землю¹⁸⁵; название Юпитера Елицием, то есть притягивателем; { * Eliciant coelo te, Jupiter, uncle minores // Nunc quoque te celebrant, Eliciumque vocant говорит Овидий — lib. 3, v. 328. Jupiter Elicius — ab eliciendo give extrahendo. См. Дютана¹⁸⁶. } рассказ Тита Ливия { * Lib. I, c. 20. Ср. также Plinii, lib. I, c. 53, de fulminis evocandis. } о Тулле Гостилии, который, подражая Нуме и забыв нечто в обряде, был поражен молнией¹⁸⁷, — рассказ, напоминающий в точности смерть Рикмана¹⁸⁸ посреди опытов над громоотводом, описанную Ломоносовым; нельзя забыть и обстоятельства, которыми сопровождалась египетские инициации и которыми объясняются слова Эсхила: { * В последней части трилогии об Оресте: "Эвмениды". } "одна Минерва знает, где хранятся громы"¹⁸⁹; бальзамирование, описанное Геродотом¹⁹⁰, показывает, что египтянам был известен креозот, до которого мы едва добрались после многолетних усилий; отдаленность времени, истребление и искажение письменных памятников препятствуют в сем случае дать осязать истину; но я утверждаю, по крайней мере, что мы не двинулись ни на шаг в знании природы со времени бедственного направления наук, произведенного Бэконом

¹⁸³ Светоний Гай Транквилл (ок. 70-160) — римский писатель и историк, автор сочинения "Жизнеописания двенадцати цезарей".

¹⁸⁴ Нума Помпилий — царствовал в Риме, согласно преданию, в 715–672 гг. до н. э. Ему приписывается религиозное устройство Рима, создание жреческой коллегии, календаря и т. д. Предание о том, что Нума Помпилий был учеником Пифагора, отверг уже Тит Ливий, который в своей Истории отметил, что Пифагор жил столетие спустя после Нумы (см.: Историки Рима. М., 1970, с. 157).

¹⁸⁵ У Тита Ливия (кн. I, гл. 18–20) весьма осторожно говорится, что Нума Помпилий сам совершал священнодействия в честь Юпитера; о том, что он вызывал гром, можно лишь догадываться, поскольку он испрашивал предзнаменований именно у Юпитера.

¹⁸⁶ Дютан Луи (1730–1812) — французский филолог и гуманист, автор труда "Розыскания о происхождении открытий, приписываемых народам нового времени" (Recherches sur l'origine des decouvertes attribuees aux modernes), 1766–1812.

¹⁸⁷ О Тулле Гостилии, царствовавшем в Риме, согласно преданию, с 672 по 640 г. до н. э., Тит Ливий пишет: "Передают, что царь сам, разбирая записки Нумы, узнал из них о неких тайных жертвоприношениях Юпитеру Элицию и всецело отдался этим священнодействиям, но то ли начал, то ли повел дело не по уставу; и не только что никакое знамение не было ему явлено, но неверный обряд разгневал Юпитера, и Тулл, пораженный молнией, сгорел вместе с домом..." (Историки Рима, с. 171).

¹⁸⁸ Рикман (Рихман) Георг Вильгельм (1711–1753) — петербургский физик, друг Ломоносова, погиб во время опытов 26 июля 1753 г. Обстоятельства его гибели описывает Ломоносов в письме к И. И. Шувалову от того же числа (Ломоносов М. В. Соч. М. — Л., 1961, с. 509–510).

¹⁸⁹ цитата из трагедии "Эвмениды", строки 829–831.

¹⁹⁰ Древнегреческий историк Геродот (484 — около 430 гг. до н. э.) описывает бальзамирование в своей "Истории" (кн. 2, гл. 86–88), но там и намек нет на креозот, продукт перегонки угля или гудрона, применяемый для предохранения от гниения.

Веруламским¹⁹¹, а еще более его последователями. Кто будет иметь терпение прочесть творения алхимиков, тот легко убедится в истине этого странного с первого раза утверждения; все нынешние химические знания находятся не только в Алберте Великом¹⁹², Рогере Баконе¹⁹³, Раймонде Луллии¹⁹⁴, Василии Валентине¹⁹⁵, Парацельсии и в других чудных людях сего разряда, но эти знания были столько разработаны, что встречаются и в алхимиках меньшей величины. Ты найдешь, например, в "Космополите" {* В новейшем 1723 г. переводе: "Cosmopolite ou Nouvelle lumiere chymique", p. 26.} опыт замораживания воды посредством серной кислоты, что предполагает существование снарядов, предполагающих в свою очередь обширную опытность. Азот был известен Рогеру Бакону; даже в книге под именем Артефия {* *Artephii antiquissimi philosophi de arte occulta atque lapide philosophorum liber secretus, in-4ь, 1612.*} замечается знание свойства газов; не только у Василия Валентина, но и у Гильдебранда {* "*Magiae naturalis*". Р. И. Hortus deliciarum, durch Wolfgangum Hildebrandum, 1625, in-4ь¹⁹⁶ разделяется посредством огня и производит огненное тело или два воздухообразных тела", — не ясно ли здесь означены: кислород и водород, открытием которых мы так гордимся? Для меня нет сомнения, что под наименованиями стихий — огня, воздуха, воды и земли — у древних скрывались понятия, соответствующие нашим четырем простым телам: кислороду, азоту, водороду и углероду; {* Вот сие любопытное, донныне едва ли замеченное место у Платона, по переводу Аста: "Terra quidem concurrans cum igne dissoluta ab ejus acie fertur, sive in ipso igne soluta fuerit (металл?), sive in aeris (окисел?), sive in aquae mole (соли?), dum concurrentes forte ejus partes rursusque

¹⁹¹ Имеется в виду Френсис Бэкон (1561–1626), английский философ, родоначальник английского материализма и опытных наук нового времени, оказавший большое влияние на воззрения Локка и французских просветителей-материалистов. Отрицательное отношение Одоевского к нему и к его последователям связано с общим его неприятием последовательного материализма.

¹⁹² Алберт Великий (1193–1280) — доминиканский монах, ученый-алхимик. Отличался энциклопедической образованностью, одно время был профессором, затем занимал высокие церковные должности. В своих трудах основывался на воззрениях Аристотеля, сочетая их с церковными преданиями и собственными оригинальными идеями. В научном познании большую роль отводил наблюдению, в то же время верил в магию и астрологию и считал истинными многие рассказы о чудесах.

¹⁹³ Бакон (Бэкон Роджер, 1214–1294) — францисканский монах, алхимик. Придавал большое значение опыту, но опытом считал не только вещественный эксперимент, но и веру. Бэкону приписывают книгу "Изображение алхимии", которая пользовалась большой популярностью в средние века.

¹⁹⁴ Лулл Раймонд (1235–1315) — францисканский монах, алхимик и богослов. В XIV и XV вв. ему приписывали получение "философского камня". В соответствии с воззрениями Лулла, истинный алхимик вносит стройный порядок в мир взаимных превращений веществ, при этом он объединяет в себе и ученого, и философа, и творца-художника.

¹⁹⁵ Василий (Вазилий) Валентин — автор сочинений, вышедших около 1600 г. (книги по алхимии, "Галиграфия", "Триумфальная колесница Антимония" и "Завещание"), который выдавал себя сам или был выдан одним из своих издателей за монаха XV в. Имя автора — своеобразная литературная мистификация, которая была в духе того времени: псевдоним имел аллегорическое толкование, намекая на оба "блага", которые в соответствии с учением алхимиков получал всякий владевший "камнем мудрости" — власть (*basilius* — царственный) и силу (*valentinus* — сильный).

¹⁹⁶ Книга эта, впервые изданная, по-видимому, в 1611 г., выдержала на протяжении нескольких лет ряд переизданий (1612, 1616, 1618, 1625 гг.), что свидетельствует о ее большой популярности. В книге собраны сведения из самых различных областей знаний: астрономии, математики, естественных наук, алхимии и т. д. В ней приводятся каббалистические знаки и даются их толкования. Об авторе или, точнее, составителе книги Вольфганге Гильдебранде до нас дошли самые скудные сведения. Годы его жизни можно назвать лишь приблизительно: конец XVI — начало XVII в. Место жительства — Тюрингия. Его основная профессия — нотариус.

inter se ipsae copulatae terra evadant: neque enim in aliam umquam speciem transeant. Aqua autem ab igne vel etiam ab aere divisa potest fieri composita unum ignis corpus et duo aeris. De aeris vero particulis ex una parte dissoluta duo existent corpora ignis". Plat. op., t. 5. p. 197. Ed. As. 1822 Org", l. 1, c. 70.}

Виктор. Но что же делали твои алхимики? разве также не угорали возле своих печей, также не собирали факты? если даже египетские храмы были не иное что, как физические лаборатории, то, вероятно, и там следовали Бэконову правилу...

Фауст. С тою разницею, что древние, а равно большая часть алхимиков знали, куда они идут; материальный опыт был для них последнею ступенькою в изыскании истины; со времени бэконовского направления люди начинают с этой ступеньки и идут, что говорится — напропалую, сами не зная куда и зачем... Оттого алхимики открыли так, между делом, все то, без чего мы теперь пошевелинуться не можем, — а мы — лишь винты, да колеса для бумажных колпаков...

Виктор. Все так! допустим, что все нынешние знания были известны и древним и средним векам, что мы подбираем только крохи с их роскошного стола, — но дело в том, что этот стол был для немногих, и для весьма немногих, тогда как теперь наука — словно общий стол в богатой гостинице, приходи, кто хочет...

Фауст. С этим я согласен, хотя замечу, что двери в этой гостинице не довольно широки, и стол не всякому по деньгам. Действительно, в древнем и среднем мире наука была тайною, известною лишь жрецам или адептам; и донныне существуют тайны в разных технических производствах — по очень простой причине: по корыстолюбию изобретателей; ты знаешь, сколько времени (с начала 18-го века) состав синьки был тайною, хотя им производили значительную торговлю; лишь в конце 18-го века Шель¹⁹⁷ и Бертолет¹⁹⁸ обнародовали состав водородо-синеродной кислоты¹⁹⁹; для стариков эта тайна была необходимостью; они понимали странную надпись в храме Изиды: "не открывай тайны под страхом наказания персиком" — и знали, почему персиковое дерево посвящено было богу молчания, — что между прочим показывает, что древние знали прежде нас и водородо-синеродную кислоту. {* Acide prussique; известно, что этот ужасный яд можно добыть и из персиковых косточек, к счастью с большим трудом во всяком случае. (См. Hoefler, "Hist d l Chim").} Платон беспрестанно останавливается и оговаривается, касаясь предметов, которые ему были известны как посвященному; необходимость этой тайны так была важна в средние веки, что Рогер Бакон, самый откровенный из алхимиков, назвав селитру и серу, входящие в состав пороха, скрывает слово "уголь" под весьма темной анаграммой: him voro vir can utriet (читают: carbonum pulvere), наконец, почти в наше время некто в Лондоне, объявивший намерение открыть тайну составления золота, был найден убитым в своей комнате. {* См. "Geschichte der Alchemie", von Schmieder, Halle, 1832. Hoefler, ibidem.} Но чем теснее был кружок этих людей, тем удивительнее, что они без всех наших пособий, книг, словарей, снарядов, журналов, съездов открыли прежде нас все наши открытия...

Вячеслав. Я так не вижу тут ничего чудного: алхимики искали вздора: философского камня, — а случайно набрали на разные открытия...

Фауст. Знаешь ли, что надобно для того, чтобы случайно что-нибудь найти?

Вячеслав. Ряд опытов...

Фауст. И глаза... в обширном смысле этого слова!.. иначе мы будем походить на работника, образующегося по системе доктора Юра.

¹⁹⁷ Шель Карл Вильгельм (1742–1786) — шведский химик.

¹⁹⁸ Бертоле Клод Луи (1748–1822) — французский химик, врач по образованию. С 1814 г. в его имении Аркей близ Парижа по его инициативе периодически собирались ученые-химики для сообщения о своих работах и для научных обсуждений.

¹⁹⁹ Водородо-синеродная кислота — синильная кислота.

Виктор. Что ни говори, но невозможно, чтобы эти тысячи специальных опытов, которые ныне производятся тысячами людей во всех краях мира, по всем отраслям естествознания, не довели бы, наконец, до открытия настоящей теории природы...

Фауст. И тому доказательство: метеорология; ее явления у всех перед глазами, наблюдения сего рода возможны ежедневно, ежечасно... и до чего дошла она? до отрицательного ответа? — Метеорологи могут доказать только одно: что все бывшие донные объяснения (выведенные из прямых опытов) ложны и что мы, в настоящем состоянии науки, не можем объяснить даже образования снега, града, дождя, направления ветра и проч... {* Пулье²⁰⁰, Кемтц²⁰¹, Араго²⁰². Эта книга — не ученая диссертация; подводить на каждом шагу цитаты значило бы обременять ее излишним балластом; и без того здесь много ссылок, хотя автор ограничивался лишь совершенно необходимыми. Для тех читателей, которые поверят автору — цитаты не нужны; для других — он впоследствии может открыть целый арсенал цитат, на которых основаны указания, в сей книге содержащиеся. } За метеорологию и все другие науки, при настоящем направлении, тянутся к тому же результату. Не помню, кто-то заметил весьма справедливо, что эти господа похожи на физиолога, который бы выпустил из человека всю кровь до капли, чтоб лучше объяснить ему состав и действие крови. От безверия в возможность общих начал, от навыка довольствоваться второстепенными, случайными причинами, от непривычки к высшему движению духа произошли два зла: первое зло — уверенность, что всякое ощущение души тогда только действительно существует, когда может быть выражено словами; таким образом то, что не подходит под ту или другую материальную форму, названо мечтою; эта уверенность так сильна, что ее не могут поколебать ежедневные явления, ее видимо отрицающие. Кто не толкует о медицинском глазе (*oeil medicinal*)? Спросите у медика, обладающего сим даром: как он напал прямо на причину болезни? почему он предписал именно такой, а не другой способ лечения? — и часто вы приведете самого ученого медика в затруднение. В одном Китае требуют, чтобы врач непременно приискал болезнь своего пациента в официальных медицинских книгах и лечил бы в точности по описанию, — я нахожу это весьма логическим: если все может быть выражено словами, то следует только следовать этим словам, и дело в шляпе; ведь было же время, когда думали, что посредством пиитики и реторики можно человека научить поэзии! Парижская Академия еще недавно требовала, чтобы ей дали ощупать действие животного магнетизма²⁰³; кто восстает против таких требований, тот идет против логики. — Другое зло: гибельная специальность, которая ныне почитается единственным путем к знанию, — и обращает человека в камер-обскуру, вечно наведенную на один и тот же предмет; целые годы она отражает его без всякого сознания, зачем и для чего и в какой связи этот предмет с другими? — еще до сих пор есть

200 Пулье (Пуйе) Клод (1790–1868) — французский физик. Ему принадлежит ряд изобретений в области экспериментальной физики: первый гальванометр, призма для получения интерференции света и т. д.

201 Кемтц Людвиг Фридрих (1801–1867) — физик, метеоролог, доктор медицины; с 1844 г. — профессор Дерптского университета, с 1866 г. — член С. — Петербургской академии наук и директор Главной физической обсерватории.

202 Араго Доминик Франсуа (1786–1853) — французский физик, астроном, метеоролог и географ.

203 Животный магнетизм иначе назывался месмеризмом, по имени Месмера (1733–1815), защищавшего идею "магнитной силы", которую человек черпает из вселенной и истечение которой оказывает резкое влияние на других людей. Теория Месмера пользовалась шумным успехом в конце XVIII и в начале XIX в. Вместе с тем она вызвала к себе скептическое отношение со стороны ряда ученых. В 1784 г., когда Месмер находился в Париже, Парижская академия наук по специальному указу короля создала особую комиссию для исследования относящихся к магнетизму явлений. Комиссия, в которую входили среди прочих Лавуазье и Франклин, пришла к заключению, что никакого животного магнетизма не существует и что явления месмеризма в значительной мере сводятся к шарлатанству.

люди, которые уверены, что чудеса английской промышленности происходят оттого, что там если человек делает винт, то делает его целую жизнь и ничего, кроме этого винта, в мире не знает. Для этих господ сосредоточенность внимания — эта высшая духовная сила, могущая втянуть в свою сферу всю природу и доступная лишь высшему духу, — есть не иное что, как машинка, которая колотит целые годы по одному и тому же месту. От этих двух зол раздор и разрозненность в науке и в жизни; от них — анархия, споры нескончаемые и труды бессвязные; от них бессилие человека пред природой. Коснитесь какого угодно предмета, самого отвлеченного или самого простого житейского; соберите ответы людей специальных — этих кандидатов в немогузнайки, как говорил Суворов; этот повальный обыск может быть довольно любопытен:

"Скажите мне, сделайте милость, химический состав тех или других веществ, употребляемых в пищу, какое может иметь влияние на организм человека и, следовательно, на один из источников общественного богатства?" Извините, это не по моей части; я занимаюсь лишь финансовою наукою.

"Скажите, нельзя ли объяснить некоторые исторические происшествия влиянием химического состава веществ, в разные времена употреблявшихся в пищу человеком?" — Извините, я не могу развлекаться изучением истории — я химик.

"Скажите, действительно ли изящные искусства и в особенности музыка имеют такое сильное влияние на смягчение нравов — и какой именно род музыки?" — Помилуйте, ведь музыка так, забава, игрушка — когда мне ею заниматься? — я юрист.

"Скажите, не может ли нынешняя ваша постоянно страстная, или блистательная музыка нарушить равновесие нравственных стихий, от которых зависит устройство общества?" — Извините, этот вопрос от меня слишком далек — я играю на скрипке.

"Не можете ли мне объяснить значение обрядов, которые наблюдались в древности жрецами Цибелы²⁰⁴ или Земли?" — Извините, филология до меня не касается — я агроном.

"Скажите, нет ли между древними процессами земледелия таких опытов, которые ныне забыты и которые бы не худо было повторить?" — Извините, я не сельский хозяин, — я филолог.

"Не знаете ли, чему приписать особенное размножение и часто появление тех или других насекомых в том или другом году? — не замечено ли в истории каких-нибудь периодов в этих явлениях? не осталось ли об этом какого-либо хоть темного предания в климатерических годах, о которых толковали астрологи?" — Извините, я космологию вообще не занимаюсь — я рассматриваю мошек в микроскоп и, признаюсь, не без успеха, — я открыл с десятков совершенно новых пород.

"Скажите, не заметили ль вы отношения между отклонениями магнитной стрелки и необыкновенным урожаем²⁰⁵ того или другого растения или особенно смертностью между животными?" — Извините, я не могу входить в такие частности — я посвятил себя чисто магнетическим наблюдениям.

"Скажите, милостивый государь, до какой степени распространение теорий за и против врожденных идей в платоновом смысле может иметь влияние на административные меры в том или другом государстве?" — Какой странный вопрос! он слишком далек от меня — я чиновник, бюрократ.

²⁰⁴ Цибела (Кибела) — первоначально фригийская богиня, олицетворение матери-природы; в Греции была отождествлена с критской матерью Зевса, Реєю, и называлась "великой матерью богов". В Риме (с 204 г. до н. э.) культ Цибелы под именем "великой матери" сделался государственным, им заведовала особая коллегия жрецов. Среди таинств и обрядов, совершаемых в честь богини, много народу привлекали искупительные жертвы Цибелы — так называемые тавроболии и криоболии (посвящение в культ путем орошения бычьей или бараньей кровью).

²⁰⁵ Одоевский предугадал здесь проблему, которой всерьез занялись лишь во второй половине XX в., - проблему воздействия периодов солнечной активности на животный и растительный мир Земли.

"А вы, милостивый государь, не можете ли мне сказать, до какой степени гармоническое построение души человеческой должно быть принимаемо в соображение при полицейском устройстве города?" — Это, кажется, принадлежит к камеральным наукам, а я преподаю логику и ретику.

"Скажите, нет ли возможности по наружным формам растения определить его внутренние свойства, как писал об этом Раймонд Луллий, — например, то или другое его лечебное свойство?" — Это собственно было бы медицинский предмет, я же занимаюсь только ботанической классификацией, а Раймонда Луллия мне не удавалось читать — я не библиоман.

"Не заметили ли вы аналогии в наружных формах растений, имеющих одинаковое лечебное действие? — нельзя ли при пособии этого явления составить более правильную, более постоянную систему растительного царства и на основании такой системы прямо искать еще не открытого растения, или в данном растении — того или другого вещества, а не наудачу?" — Это бы очень усилило наши средства, и пример тому хинина, которую гораздо удобнее употреблять, нежели самую хину; что же касается до аналогии, о которой вы говорите, то ее нельзя не заметить; так, например, большая часть ядовитых растений имеют нечто общее в своей физиономии; я не могу однако ж взяться за разработку этого предмета: это дело ботаников, а я — практический медик.

"Скажите по крайней мере, что такое жинсенк²⁰⁶, это странное растение, которое в Китае продается на вес золота и которому приписывают такую чудную силу?" — Я могу вам сказать: это — *Rapax quinquefolium*, из семейства диоспирей; какие же свойства этого растения, о том спросите у химиков, а я — ботаник.

"Скажите, какой состав этого странного растения, какое его действие на организм и как его употребляют?" — Всего вернее, что оно состоит из кислорода, водорода, углерода и, может быть, азота; какое же его действие, спросите у ориенталистов или у путешественников.

"Вы, милостивый государь, один из немногих людей, которые долго жили в Китае, вы человек образованный, скажите, что такое это растение и как его употребляют?" — Слышал я об нем, что его несколько родов, из которых один очень обыкновенный и не производит никакого действия, но другой очень редкий — или {* Возможно, описка — "и"? — Ред.} как я сам видел, действительно спасает самых трудных больных. Какое различие между этими родами и в каких случаях употребляют тот или другой, я не мог этого изучить — потому что не занимаюсь естественными науками: я лингвист и ориенталист.

"Милостивый государь, вы так хорошо пишете, — что бы вам написать книгу человеческим языком, которая бы сделала для всякого привлекательными и доступными физические знания". — Что делать? это не мой предмет! я занимаюсь только изящною литературою.

"Вы, милостивый государь, вы так глубоко изучили физику и естественную историю, — что бы вам исправить варварскую физическую номенклатуру, которая отталкивает читателей и делает лучшие физические сочинения непонятными для всякого не физика". — Что делать? это не мой предмет! я не литератор.

"Я слышал, милостивый государь, что вы напечатали вашу книгу о дифференциальном и интегральном исчислении; говорят, что если вникнуть в ваши формулы, то в них найдется объяснение почти всех физических, химических, этнографических явлений! как я рад, что вы наконец напечатали вашу книгу!" — Что пользы! ее едва ли прочтут десять человек, — а поймут едва ли трое в целом мире.

"А вы, милостивый государь, — вы, который по существу вашей науки должны иметь обо всем сведения, скажите, отчего разбрелись все ученые в разные стороны и каждый

²⁰⁶ Жинсенк — то же, что жень-шень, "корень жизни", растение, сок которого является тонизирующим средством.

говорит языком, которого другой не понимает? отчего мы все изучили, все описали и — почти ничего не знаем?" — Извините, это не мой предмет; я только собираю факты — я статистик!..

Вячеслав. Будет! будет! если ты намерен собирать все недомолвки ученого мира, то можешь проговорить до скончания века...

Фауст. Я ищу: не сольются ли где-нибудь эти капельки крови, которые так усердно выпускаются этими господами из всех жил природы, каждый из своей?

Виктор. Успокойся! они начинают сливаться: например, утверждено тожество электричества, гальванизма, магнетизма...

Фауст. Пора! об этом Шеллинг говорил уже лет 30 тому... что ж далее?..

Виктор. Тебе бы все хотелось философского камня! этим, к сожалению, наш век угодить тебе не может... точно так же, как ни магией, ни кабалой, ни астрологией...

Фауст. Спроси у Берцелия²⁰⁷, Дюма²⁰⁸, Распайля²⁰⁹ и у других химиков, принимают ли они наверное металлы за простые тела и станут ли они теперь смеяться над тем, кто бы стал отыскивать не философский камень — нет! как можно в XIX-м веке! нет! а радикал металлов, — то есть именно то, чего искали алхимики! — правда, они называли предмет своих исканий очень странными именами: Меркурием, квинтэссенциею, девственной землею, — что совершенно непростительно с их стороны. — Скажу вам, господа, маленький секрет, только держите его про себя, — а не то скажут, что я, не в шутку, занимаюсь алхимиею. В новейшей химии есть одно несчастное простое тело, называемое азотом; это вещество служит очистительным козлицем для химических грехов; когда химик не знает, что он такое нашел, — тогда это не знаю он называет или потерей, или азотом, смотря по обстоятельствам; азот в наше время, несмотря на то, что об нем говорят беспрестанно, есть вещество совершенно отрицательное; если химикам попадет газ, который не имеет свойств ни одного из известных им газов, — то его называют азотом. Вот вам мой секрет: мне сдается, что азот не только был известен алхимикам, но что даже он для них был — сложное тело. Когда в этом убедятся и наши химики, тогда останется один шаг до металлического газа — или так называемого ныне, с ужимкою, — радикала металлов. Теперь я могу сказать, как некогда алхимики в конце загадочной страницы: "Сын мой! я открыл тебе важную тайну!". — Все это хорошо, — только вот что худо: когда это совершится, то, боюсь, люди точно так же будут смеяться над нашими атомами, изомерией, каталитическою силою, может быть, даже над нашими окислами, окисями, недокисями, перекисями и другими изящными именами, — точно так же, как мы смеемся над Меркурием, зеленым и красным драконом алхимиков...

Вячеслав. Разумеется, науки совершенствуются — и как знать, где они остановятся...

Фауст. Обман слов — по крайней мере, в нашем веке. Я вижу в нем одно: мы трудились, трудились — и опять дошли до того же, что до нас было известно. По-моему: незачем было ходить так далеко...

Виктор. По крайней мере мы оставим нашим потомкам богатые материалы, опыты, сделанные при пособии таких снарядов, об утонченности которых наши предшественники не могли иметь никакого понятия...

Фауст. Не знаю, к чему послужила выставка этих прекрасных, выполированных игрушек, которые называются физическими снарядами?.. У Архимеда для определения

²⁰⁷ Верцелий (Берцелиус) Иоганн Якоб (1779–1848) — шведский химик, ввел в обиход знаки атомов химических элементов, дав химикам тот международный язык, которым они пользуются и донныне. Развил атомную теорию и способствовал ее распространению в химии.

²⁰⁸ Дюма Жан (1800–1884) — французский химик, выступавший против атомной теории, которая, по его мнению, отжила свой век.

²⁰⁹ Распайль Франс Винсент (1794–1878) — французский естествоиспытатель и химик.

плотности тел был очень незавидный снаряд — вода; у Галилея для открытия законов движения маятника — снарядом была люстра, висевшая в церкви; для Ньютона, говорят, — яблоко...

Вячеслав. Но хоть из милости оставь что-нибудь нашему времени. Неужли все ученые, трудившиеся в продолжение целого столетия с половиною, не стоял? ни малейшего внимания?..

Фауст. О, нет! я этого не говорю! как не уважать ученых! как не уважать трудов и страданий немногих высоких деятелей, ощутивших в себе необходимость единства науки и не понятых современниками! Как, даже в низшей сфере деятелей, не изумляться тому мужеству, с которым они часто приносят в жертву науке и труд, и спокойствие жизни, и самую жизнь! Ученый для меня то же, что воин; я даже собираюсь написать прелюбопытную книгу: "О мужестве ученых", начиная с смиренного антиквария или филолога, который каждый день, мало-помалу, впивает в себя все зародыши болезней, грозящих его затворнической жизни, — до химика, который, несмотря на всю свою опытность, никогда не может поручиться, что он выйдет живой из лаборатории; начиная от Плиния-старшего, убитого в сражении с вулканом, до Рикмана, застреленного громовым отводом, Дюлона, потерявшего глаз в борьбе с хлором, Парана Дюшателе, проводившего недели по колени в сточных ямах, заражавших весь город, до Александра Гумбольдта, спускавшегося в рудники²¹⁰, чтоб испытать на себе действие асфикции, прикладывая себе шпанские мухи для гальванических опытов, до всех жертв плавиковой, гидрокислотной кислоты... и уверяю вас, что никого не забуду. Но чем более я уважаю труды ученых, тем более [- еще раз —] скорблю об этой безмерной и напрасной трате раздробленных сил, которая замечается теперь на Западе; тем более скорблю, что наука более столетия все упрямее бредет по трудной, тернистой дороге и доходит лишь до мелких ремесленных приложений, которые, при другом пути, пришли бы сами собою, — или до простого механического записывания фактов, без цели, почти без надежды, подобно метеорологии... скорблю, что мы еще не вышли из пеленок восемнадцатого века, что еще не сбросили с себя постыдного ига энциклопедистов и материалистов, что общая, живая связь наук потерялась и что истинное начало знания все более и более забывается...

Вячеслав. По крайней мере ты не будешь отвергать успехов истории в наше время, потому что без нее ты сам бы не мог сделать шага в твоей атаке против нашего века...

Фауст. История! история еще не существует.

Виктор. Позволь хоть в этом усомниться! когда, в каком веке более обращалось внимания на историю? когда исторические сокровища подвергались такой усиленной разработке?

Фауст. И все-таки история как наука не существует! Главное условно всякой науки: знать свое будущее, т. е. знать, чем бы она могла быть, если бы она достигла своей цели. Химия, физика, медицина, несмотря на все их настоящее несовершенство, знают, чем они

²¹⁰ Одоевский неизменно отдавал должное мужеству ученых. Он собирал даже материал по этому вопросу. В его рукописях находится автограф, который имеет заголовок "Муж. ученых". В нем записаны рассказы о химике Конте, который потерял зрение от взрыва кислорода с водородом, о Куппеле, который для того, чтобы найти фосфор, обрек себя на долгие опыты над уриною, и т. д. (см.: Сакулин, ч. 1, с. 485). В комментируемом тексте приводятся другие примеры мужества ученых.

Плиний Старший погиб в 79 г. при извержении Везувия. Его смерть описана племянником, историком римской культуры Плинием Младшим в письме к историку Тациту.

О смерти Рихмана см. в примеч. 25 на с. 297. Дюлонг Пьер Луи (1745–1833) — французский химик и врач, открывший в 1811 г. хлористый азот. При работах с этим легко взрывающимся веществом он потерял глаз и несколько пальцев. Паран-Дюшателе Алексис-Жан-Батист (1790–1836) — французский врач, долгое время работавший в парижской больнице для бедных. Посвятил себя изучению общественной гигиены. Приведенный эпизод из жизни А. Гумбольдта (1769–1859) относится, видимо, к тому времени, когда он был назначен начальником горного дела в Ансбахе в Байрейте (1792). На этой должности он сильно двинул вперед разработку различных руд и улучшил условия их добывания.

могут быть, — следственно, к чему они идут, — история и этого не знает: подобно ботанике, метеорологии, статистике, она накладывает камень на камень, не зная, какое выйдет здание, свод или пирамида, или просто развалина, да еще и выйдет ли что-нибудь.

Вячеслав. Ты смешиваешь историю с хронологией, с летописью... время летописей прошло; какой историк со времен Вольтерова "Опыта о нравах народных"²¹¹ ("Essai sur les mœurs") не старается соединять исторические факты так, чтоб сделать возможными общие выводы?

Фауст. Правда! потребность одной общей, живой теории ощущается, с каждым днем более и более, лучшими умами века, везде: в истории, как и в других науках; но с историею случилось то же, что с метеоролиею. Она очень подробно описала, что молния есть электрическая искра, сопровождаемая громом; с другой стороны, опытом найдено расстояние, пробегаемое звуком; из этих фактов сделаны весьма основательные выводы: что чем дальше гроза, чем больше проходит времени между появлением молнии и звуком грома, тем человеку безопаснее; эта теория обратилась в аксиому; под нее стали подводить все встречавшиеся явления; добрые люди, учившиеся наукам, и до сих пор считают по пульсу время, пробегающее между молниєю и громом, и с уверенностью объявляют удивленному простолыдину, что гроза от него на столько-то верст! Прекрасно! чего лучше! вот что значит верное наблюдение фактов и теории, не на мечтах, а на фактах основанная! Но вот что очень огорчило господ опытных теоретиков: представились другие факты, а именно — люди, животные, здания были поражены грозою без малейшей молнии и без грома! что делать с опытною теориею? она вся вверх дном! "Ничего! — сказали наблюдатели, — мы приобщим эти факты к другим, противоречащим — вот и все, а для утешения теоретиков приищем какое-нибудь название для этих досадных фактов, назовем их хоть возвратным ударом (choc de retour)!" — Та же теория на основании цифр и статистических выводов объявила, что грозы чаще бывают в жарких странах, нежели в холодных, и очень тщательно объяснила этот закон посредством электрической жидкости; но, к несчастью, к статистическим таблицам последовало небольшое дополнение, а именно, что в Лиме, Перу и Каире почти не бывает гроз, — тогда как в Ямайке от ноября до апреля грозы бывают ежедневно. {* См. Кемтца "Метеорологию".} Вероятно, последняя страна имеет привилегию на электрическую жидкость, в которой отказано первым. — В истории, и особенно в так называемой философической истории, точно та же история. — Ничего бы не могло быть любопытнее собрания исторических выводов о причинах происшествий и оценки исторических лиц; один говорит: такая-то страна уцелела, потому что, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, решилась удержать свою народность; другой: такая-то страна погибла, потому что, несмотря на те же самые обстоятельства, хотела удержаться. Такой-то полководец, несмотря на все увещания, поторопился и оттого потерял сражение; а такой-то, в тех же обстоятельствах, несмотря на все увещания, не захотел медлить и выиграл сражение. Варвары напали на римлян, но должны были уступить их воинской дисциплине; варвары напали на римлян — и распалась Римская империя, несмотря на ее воинскую дисциплину. — Иоанн Гусс погиб²¹², потому что, полагаясь на охранительное письмо, отдался в руки непримиримым врагам своим; Лютер восторжествовал²¹³, потому что, несмотря на пример Гусса, пошел прямо в

²¹¹ Книга Вольтера вышла в 1756 г. Как в этой, так и в других своих исторических работах Вольтер отказался от свойственного его предшественникам простого хронологического перечисления исторических фактов и описания деяний исторических героев и главное внимание стал уделять философии истории. История для него является как бы ареной борьбы между добром и злом, разумом и невежеством.

²¹² Отлученный архиепископом Пражским от церкви, борец за национальную независимость Чехии Ян Гус (1371–1415) был вызван папой в Констанцу на церковный собор. Германский император прислал Гусу охранную грамоту, в которой гарантировал его безопасность. Однако несмотря на грамоту Гуса в Констанце бросили в тюрьму, объявили еретиком и по приговору собора 6 июля 1415 г. сожгли на костре.

²¹³ Глава Реформации в Германии Мартин Лютер (1483–1546) решительно выступил против папы, который

середину непримиримых врагов своих. Вот уроки этого так называемого училища народов — истории. Спроси ее о чем хочешь: на все она даст ответ, вместе утвердительный и отрицательный; нет нелепости, которой бы нельзя подкрепить указаниями на нелицемерные скрижали истории, и чем они нелицемернее, тем удобнее гнутся под всякие выводы. Отчего это странное, безобразное явление? все от одной причины: оттого, что историки, как метеорологи, думали возможным останавливаться на второстепенных причинах; думали, что ряд фактов может их привести к какой-либо общей формуле! — И что ж мы замечаем в настоящую минуту: историки, видя постоянно, что от одних и тех же причин проистекают совершенно противоположные следствия, — решились снова проситься в летописцы. Я нахожу это весьма логическим! сливайте, сливайте, господа, разные лекарства в одну и ту же стклянку — может быть, что-нибудь и выйдет!

Виктор. Нападая на противоположные выводы из одинаких происшествий, ты забыл, что необходимо принимать в расчет разные обстоятельства, как, например, географическое положение, климат...

Фауст. Англия немножко побольше Исландии и почти в одинаких физических обстоятельствах — отчего такая разница в судьбе этих двух островов?.. климат? отчего англичане, переселившиеся в Северную Америку, не сделались индейцами, а индейцы англичанами? отчего евреи, цыгане не приняли нравов всех тех климатов, где они находились и находятся?

Виктор. Причина простая: народный характер, дух времени... Фауст. Ты произнес два важные слова, только одного я не понимаю, на другое потребую объяснения. Что такое, например, дух времени? я это слово встречаю очень часто, но определения его еще не видал нигде...

Виктор. Определить это слово трудно, но смысл его довольно понятен; под духом времени разумеют отличительный характер всех действий человечества в данную эпоху, общее направление умов к тому или другому предмету, к тому или другому образу мнений, общее убеждение, — наконец, нечто соответствующее возрасту отдельного человека, нечто необходимое, неизбежное...

Фауст. Кажется, ты определил довольно верно; но вот вопрос: откуда берется это общее направление, это общее убеждение? зависит ли оно от одной какой-либо мощной причины, или от нескольких разных начал? Если дух времени происходит от одного начала, то он должен производить одно общее убеждение, исключаящее все другие убеждения; если дух времени проистекает от различных начал, тогда убеждение, им производимое, не может быть общим, ибо оно разделится на несколько разных убеждений, из которых каждое будет иметь притязание на первенство, и тогда: прощай необходимость. Возьмем частный пример: какой, например, по-твоему, характер настоящего века?..

Виктор. Промышленный, положительный, это ясно как дважды два — четыре.

Фауст. Хорошо; вот необходимое призвание нашего века, не так ли? мы во всем ищем положительной, осязаемой пользы, не так ли?

Виктор. Без сомнения.

Фауст. Если так, то объясни мне, сделай милость, каким образом музыка существует в нашем веке? в нашей положительной эпохе она совершенная невозможность, нелепость! всякое другое искусство имеет хотя отдаленную пользу; поэзия нашла себе уголок в так называемых дидактической и анакреонтической поэзии; посредством стихов можно научить, например, хоть как нитки мотать; Делиль написал руководство для садовников²¹⁴; не помню

обвинил его (подобно тому, как это было и с Гусом) в ереси. Император вызвал Лютера на съезд князей, представителей рыцарей и городов. Лютер явился на съезд, но отказался отречься от своих взглядов. Попытка императора арестовать его не удалась: 300 рыцарей встали на его защиту, а один из князей спрятал его в своем замке.

²¹⁴ Имеется в виду поэма французского поэта и переводчика Жана Делиля (1738–1813) "Сады". Поэма была хорошо известна в России, в 1814 г. она была переведена на русский язык.

кто — поэму о переплетном деле; живопись напоминает вещественные предметы и годится для изображения машин, домов, местностей и других полезных предметов; архитектура — и говорить нечего. Но музыка? музыка решительно не может доставить никакой пользы! как же она уцелела в нашем веке, где на каждом шаге вопрос: а к чему это полезно? другими словами: а к какой денежной операции это пригодно? — Если бы люди имели несчастье быть вполне логическими, они бы должны были выбросить музыку за окошко, как старую рухлядь. Человек, который, слушая музыку, сказал: *Sonate! que me veux-tu?* { * Соната! чего ты от меня хочешь? (франц.) } — был человек весьма логический, ибо действительно посредством музыки нельзя себе выпросить даже стакана воды. Как втерлось это бесполезное искусство в наше воспитание? отчего почтенному фабриканту хочется, чтоб дочь его брэнчала на фортепьянах? зачем он на музыкальные уроки и на инструменты тратит деньги, которые бы могли быть употреблены на более полезные предметы?

Виктор. Утешься, причина такого мотовства очевидна: тщеславие и больше ничего!

Фауст. Согласен! музыка действительно втерлась в новейшее общество в одном из его маскарадных платьев, под покровительством тщеславия, но почему наше тщеславие подружилось именно с музыкой? почему, например, не с кухней? что было бы гораздо легче и гораздо полезнее? Тут случилось нечто довольно странное и любопытное. Почтенному фабриканту, заставлявшему свою дочь играть блистательные вариации на *di tanti palpiti*²¹⁵, { Ради стольких волнений (итал.) } никак не приходило в голову, что несколько пустых филантропов, занимающихся исправительною системою, наткнулись на факт, вполне непонятный: они заметили, что лишь те из преступников склонны к исправлению, в которых оказывается расположение к музыке. { * Appert, "De bagnes et prisons", 3 vol., in 8°, и многие другие книги по сей части. } Что за странный термометр!

Виктор. Уж воля твоя — я никак не могу понять, какое может быть отношение между руладами и нравственными поступками человека.

Фауст. Да, подлинно странно! а между тем это факт, *un fait acquis a la science*, { научно достоверный факт (франц.) } как говорят французы. Тут невольно подумаешь о чьем-то вмешательстве в мире действий человеческих; музыка, повторяю, втерлась в этот мир вопреки духу времени! Ты видишь, я признаю существование этого духа, но даю ему другой смысл, который, может быть, не понравится утилитаристам. По-моему, дух времени — в вечной борьбе с внутренним чувством человека; этот дух был принужден принять в свои недра противную ему музыку, покоряясь какому-то темному чувству человека, которое бессознательно угадало высокий смысл этого искусства...

Вячеслав. Я очень рад этому открытию; вперед, когда в концерте какая-нибудь певица или *signer Castratto* затынет: "*di tanti palpiti*". — я закричу: "молчание, господа, — это курс нравственности!".

Фауст. Твоя насмешка кстати, но ты ошибся целью — и попал не в музыку, а в дух времени. Этому духу очень бы хотелось переиначить на свой лад ненавистное ему искусство; для этого он двинул музыку на ту разгульную дорогу, где она теперь шатается со стороны на сторону. Гимнам, выражающим внутреннего человека, — материальный дух времени придал характер контраданса²¹⁶, унизил его выражением небывалых страстей, выражением духовной лжи, облепил бедное искусство блеском, руладами, трелями, всякою мишурою, чтоб люди не узнали его, не открыли его глубокого смысла! Вся так называемая бравурная музыка, вся новая концертная музыка — следствие этого направления; еще шаг, и божественное искусство обратилось бы просто в фиглярство, — темный дух времени уж

²¹⁵ Слова из арии Танкреда из одноименной оперы Россини (1813); либретто Г. Росси по поэме Тассо "Освобожденный Иерусалим" и трагедии Вольтера "Танкред".

²¹⁶ Контраданс — танец, род кадрили.

близок был к торжеству, но ошибся: музыка так сильна своею силою, что фиглярство в ней недолговечно! Случилась странность: все, что музыканты писали в угождение духу времени, для настоящей минуты, для эффекта, ветшает, надоедает и забывается. Кто захочет теперь слушать нежности Плейеля и рулады времен Чимарозо?²¹⁷ Россиниевский блеск уже погас! от Россини осталось лишь несколько мелодий, проникнутых искренним чувством; все, что было им писано по заказу, для той или другой ноты певца, для той или другой публики, исчезает из людской памяти; певцы умерли, формы устарели. Беллини, который па сотни сажен ниже Россини²¹⁸, еще живет, потому что еще не успел надоесть и потому что в его оперы закрались две-три искренние мелодии. Фиглярство концертное надоело до чрезвычайности: все внимание концертистов обращено на то, чтоб удивить публику чем-либо новым: скрипка просится в фортепьяны, фортепьянам до смерти хочется петь, флейта добивается до *pizzicato*, {пиццикато, музыкальный термин.} — люди собираются, слушают, удивляются и — по темному, бессознательному чувству зевают; завтра все забыто: и зевота и музыка; не пройдет четверти столетия — и вопрос: "что вы думаете об операх Пачини²¹⁹, Беллини?" будет так же странен, как теперь вопрос: "что вы думаете об операх Галуппи²²⁰, Караффа?"²²¹ — хотя последний даже наш современник. А между тем живет старый Бах! живет дивный Моцарт! Напрасно дух времени шепчет людям в уши: "не слушайте этой музыки! эта музыка не веселая и не нежная! в ней нет ни контраданса, ни галопа; скажу вам слово еще страшнее: эта музыка ученая!". Благоговение к великим художникам не прекращается; по-прежнему их музыка приводит в восторг, по их музыке учатся, их творения разрабатываются учеными комментаторами, как "Илиада" Гомера, как "Комедия" Данте. {* См. сотни томов о Себастьяне Бахе и о Моцарте, и в особенности о последнем сочинение нашего соотечественника, Улыбышева²²², превосходящее все до пего писанные книги о сем предмете и глубиною мыслей, и знанием дела, и ученостию, и горячею любовью к искусству: "Vie de Mozart", 3 vol., in-8ь. Наши журналы едва упомянули об этой замечательной книге. [К сожалению, впоследствии тем же самым сочинителем книга о

²¹⁷ Чимарозо Доменико (1749–1801) — итальянский оперный композитор, автор комических опер.

²¹⁸ Беллини, который на сотни сажен ниже Россини... — Отношение Одоевского к итальянскому композитору Винченцо Беллини (1801–1835) было неизменно отрицательным. В 1864 г. в статье "18-е представление "Юдифи" оперы А. Н. Серова" Одоевский писал: "Было время, когда наша публика беллинилась, это патологическое состояние прошло..." (Одоевский В. Ф. Музыкально-литературное наследие. М., 1956, с. 286). Как видно из текста, к Джоакино Россини (1792–1868) Одоевский тоже относился сдержанно. Ср. противопоставление итальянской музыки как земной, "плотской" и немецкой как идеальной и духовной в статье коллеги Одоевского по журналу — В. П. Боткина "Итальянская и германская музыка" (Отечественные записки, 1839, № 12).

²¹⁹ Пачини Джованни (1796–1867) — итальянский оперный композитор. На его операх заметны следы влияния Россини и Беллини.

²²⁰ Галуппи Бальдассаре (1706–1785) — итальянский композитор, автор многочисленных опер, преимущественно комических, так называемых опер-буфф. В 1765–1768 гг. работал придворным композитором и капельмейстером в Петербурге, где поставил оперы на историко-мифологические сюжеты: "Король-пастух", "Покинутая Дидона", "Ифигения в Тавриде".

²²¹ Карафа де Колобрано (1787–1872) — итальянский композитор, проведший большую часть своей жизни во Франции. Из множества его произведений наибольшей известностью пользовались его оперы "Solitaire" (1822) и "Massaniello" (1828).

²²² Улыбышев Александр Дмитриевич (1794–1858) — один из первых русских музыкальных критиков и историков музыки. Ему принадлежит книга о Моцарте, написанная на французском языке "Nouvelle biographie de Mozart suivie d'un aperçu sur l'histoire générale de la musique et de l'analyse des principaux ouvrages de Mozart" (Moscou, 1843). Книга обратила на себя внимание не только в музыкальных кружках России, но и в Европе.

Бетховене²²³ — ниже всякой критики.]} Не анахронизм ли это в нашем веке? Вникнув в одно это странное явление (а их тысячи), мы вправе спросить: "так называемый дух времени не есть ли соединение противоречий?".

Вячеслав. Ты привел в пример один наш век...

Фауст. Ты заметишь эти противоречия в каждом веке: романтизм в веке древнего классицизма, {* Шевырев в своей "Теории поэзии" (Москва, 1836, стр. 108, 109) сделал весьма остроумное, новое и глубокое замечание, которое показывает древний мир совсем с другой точки зрения, нежели с которой мы привыкли на него смотреть. Он нашел, "что примеры, которые выбирает Лонгин²²⁴ в своем сочинении из писателей языческих, все отличаются особенною возвышенностию мысли, и не столько во вкусе древнем, сколько в нашем романтическом... сих-то мыслей, более близких нашему духу, нашему христианскому стремлению, ищет Лонгин в писателях языческих и открывает в них сторону совершенно новую и нам родную". В самой книге Шевырева это мнение подкреплено неопровержимыми указаниями.} реформацию в веке папизма... примеры без конца. — Что значат эти противоречащие явления? можно ли согласить их с тем понятием, которое обыкновенно составляют о духе времени? есть ли он действительно необходимая форма деятельности человеческой? нет ли другого, более сильного деятеля во всех исторических явлениях?

Виктор. Я уже упомянул о народном характере...

Фауст. Это выражение я несколько понимаю, — но не знаю, в обыкновенном ли смысле.

Вячеслав. Определение этого слова очень просто: характер народа есть собрание его отличий от других народов...

Фауст. Очень ясно! Иван не Кирила, а Кирила не Иван; остается решить безделицу: что такое Иван и что такое Кирила?

Вячеслав. Этого никогда нельзя решить...

Фауст. Не знаю...

Виктор. Попробуйся...

Вячеслав. *A la preuve, monsieur le detracteur! a la preuve!* {Докажите, г-н хулитель! Докажите! (франц.).}

Фауст. Вы меня ставите, господа, в презатруднительное положение... вы не знаете, как трудно вывести на свет мысль, которую считаешь новою! какими окольными путями надобно идти, со скольких сторон обходить, сколько протверживать задов, с каким прискорбием разрушать все, что может препятствовать ее существованию... В настоящем состоянии умов для объяснения всякой мысли надобно начинать с азбуки, ибо люди гоняются за одними выводами, тогда как все дело — в основании; а между тем, часто эта мысль состоит из четырех слов, — что еще хуже, иногда эта мысль совсем не новая, она уже сидит в голове современников, — а приходится бить молотом по черепах, чтобы выпустить заклепанную затворницу; что еще хуже, у иных треснут черепа, а они этого и не заметят!

Виктор. О! о! господин смиренный философ! какая самонадеянность...

Фауст. Нет! человек, который пестуется с мыслию, похож на попечительную матушку, у которой дочери на возрасте; их пора выдать замуж, а для того надобно их вывозить в свет, для того принарядить, подчас их похвалить, подчас побранить их сверстниц — одно худо: часто, несмотря на все материнские попечения...

Вячеслав. Невесты не находят женихов! — смотри, чтобы и твоей милой дочери век не

²²³ Имеется в виду книга А. Д. Улыбышева "Beethoven, ses critiques et ses glossateurs" (Leipzig, 1856). Считая музыку Моцарта вершиной музыкального творчества, Улыбышев признавал достижения лишь молодого, "моцартианского" Бетховена и не принимал почти все произведения композитора, созданные в более поздние времена.

²²⁴ Лонгин (213–273) — греческий ритор и философ, которому приписывалось сочинение "О возвышенном", ставшее очень популярным в Европе.

остаться в девках.

Виктор. К делу! к делу! без отговорок! нельзя безнаказанно обвинять целую эпоху в сумасшествии, не показав, что такое не сумасшествие?

Фауст. Без шуток, господа, я в большом затруднении, ибо также принадлежу к нашему веку — и потому одно сумасшествие, может быть, должен буду заменить другим. Мы все похожи на людей, которые пришли в огромную библиотеку: кто читает одну книгу, кто другую, кто смотрит только на переплет... заговорили, каждый говорит о своей книге, — как понять друг друга? с чего начать, чтобы понять друг друга? Если бы мы все читали одну и ту же книгу, тогда бы разговор был возможен, — всякий бы понял, с чего надобно начинать и о чем говорить. Дать вам прежде прочесть мою книгу невозможно! — в ней сорок томов, напечатанных мелким, мучительным шрифтом! читать ее — терзание невыносимое, невыразимое; листы в ней перемешаны, вырваны мукою отчаяния, — и что всего досаднее, книга далеко не кончена, многое еще в ней осталось неполным, загадочным... нет! я не могу вам дать прочесть мою книгу, — вы ее отбросите с нетерпением; начну с одной из ваших книг. — Вы знаете, господа, что, по мнению многих людей, миру человеческому недостает многих наук; напр, не знаю, кто-то сказал, что на Западе недостает одной весьма важной науки: "как топить печи!" — что совершенно справедливо. Вы знаете также, что в нашем веке аналитическая метода в большом ходу; я не понимаю, как никто до сих пор не догадался приложить к истории того же способа исследований, какой, например, употребляют химики при разложении органических тел; сначала доходят они до ближайших начал тела, каковы, например, кислоты, соли и проч., наконец до самых отдаленных его стихий, каковы, например, четыре основных газа; первые различны в каждом органическом теле, вторые — равно принадлежат всем органическим телам. Для этого рода исторических исследований можно было бы образовать прекрасную науку, с каким-нибудь звучным названием, например аналитической этнографии. Эта наука была бы в отношении к истории тем же, что химическое разложение и химическое соединение в отношении к простому механическому раздроблению и механическому смешению тел; а вы знаете, какое различие между ними: вы раздробили камень; каждая частица камня остается камнем и ничего нового вам не открывает; наоборот, вы можете собрать все эти частицы вместе, и будет лишь собрание частиц камня — не более; напротив, вы разложили тело химически и находите, что оно состоит из элементов, которых бы вовсе нельзя было предполагать по наружному виду тела; вы соединяете эти элементы химически и получаете снова разложенное тело, по наружному виду не похожее на свои элементы. Кто может догадаться, смотря на жидкую воду, что она состоит из двух воздухов или газов! кто, смотря на воздухообразные кислород и водород, догадается без пособия химии, что их — соединение образует воду? — Недаром собственно химия в таком ходу в нашем веке! дух времени — правда — вздымает вокруг нее технологический сор и заставляет ее жить в этой удушливой атмосфере; но, может быть, несмотря на то, физическая химия все-таки мало-помалу приближается к своей сокровенной цели: навести ученых на химию высшего размера. — Она, подобно разным отраслям деятельности человеческой, хотя и находится под гнетом темного духа времени, но уже по существу своему должна заниматься внутренними, сокрытыми элементами природы и потому невольно вырывается из-под узды материалистов и испытует глубину. — Почему знать! может быть, историки посредством аналитической этнографии дойдут до некоторых из тех же результатов, до которых дошли химики в физическом мире; откроют взаимное сродство некоторых элементов, взаимное противодействие других, способ уничтожать или мирить сие противодействие; откроют ненароком тот чудный химический закон, по которому элементы тел соединяются в определенных пропорциях и в прогрессии простых чисел, как один и один, один и два и так далее; может быть, наткнутся на то, что химики с отчаяния называли каталитическою силою, т. е. превращение одного тела в другое посредством присутствия третьего, без явного химического соединения; может быть, также убедятся они, что в историческом производстве должно употреблять необходимо реактивы чистые, без всякой примеси, под страхом наказания фальшивыми результатами; даже

приблизятся, может быть, и к основным элементам. Конечною, идеальную целию аналитической этнографии было бы восстановить историю, т. е., открыв анализисом основные элементы народа, по сим элементам систематически построить его историю; тогда, может быть, история получила бы некоторую достоверность, некоторое значение, имела бы право на название науки, тогда как до сих пор она только весьма скучный роман, исполненный прежалких и неожиданных катастроф, остающихся без всякой развязки, и где автор беспрестанно забывает о своем герое, известном под названием человека. Может быть, и в химии и в этнографии удобнее было бы поступить наоборот, т. е. начать прямо с основных элементов и бодро проследить все их разветвление...

Виктор. Мечта! откуда взять прямо эти основные элементы; кто уверит тебя, что они — основные, а не другие?..

Фауст. В этом должно увериться — опытом...

Виктор. Победа, победа, господа! наш идеалист сам нечувствительно дошел до того, против чего восставал, дошел до необходимости опыта, эмпиризма... в том и дело, друг: какими окольными путями ни обходи знание, все дойдешь до его единственного исходного пункта, т. е. до чувственного опыта...

Фауст. Я никогда не отвергал необходимости опыта вообще и важности чувственных опытов. Хорошо, если человек может увериться в истине всеми теми органами, которые ему для сего даны провидением, — даже рукою. Весь вопрос в том: все ли эти органы мы употребляем? давно уже говорят, что одно телесное чувство служит поверкою для другого: зрение поверяется осязанием, слух поверяется зрением: говорят также в школах, что впечатления внешних чувств поверяются душою, — но это выражение остается обыкновенно необъяснимым и для слушателей, и для профессора. Как происходит эта вторая проверка? действительно ли происходит эта проверка? — принимаем ли при ней все те предосторожности, которые считаем необходимыми для правильного действия внешних чувств? Чтоб рассмотреть предмет, мы стараемся прежде всего удалить все те предметы, которые могут находиться между им и глазом; чтоб расслушать звук, мы стараемся не слышать всех посторонних звуков; мы бережно закупориваем аромат, чтоб он не смешался с другими запахами. И несмотря на многочисленные наши опыты сего рода, мы никогда не можем поручиться, что не ощутили один предмет вместо другого. Нечто подобное должно происходить и в психическом ощущении; чистое психическое воззрение так же трудно, как чистый чувственный опыт. В том и другом случае мы слишком развлечены многообразными ощущениями, и нам почти невозможно уединить наше внимание; мы должны принимать большие предосторожности для того, чтобы думать своею мыслию, чтобы удалить все посторонние, чужие, приобретенные, наследственные мысли, которые являются между нами и предметом. — Я нашел лишь одно описание любопытного опыта в сем роде: "Хотите ли испытать, как эта машина вертится? — говорит один весьма замечательный писатель. — Удалитесь куда-нибудь в темный угол, чтоб вам, если можно, ничего не видеть и не слышать; старайтесь прогнать от себя все мысли, — или, лучше сказать, прогонять; потому что легко и разом этого сделать нельзя без особенной силы воли: вы увидите, какие разнообразные и непредвиденные группы мыслей начнут представляться вам; пред вами будут являться неожиданно, негаданно какие-то призраки волшебного фонаря. Тогда вы узнаете и то, как трудно отвлекаться от идей; только не надобно спешить опытом и не кончить его в 5 или 10 минут". {* См. "Исповедь, или собрание рассуждений доктора Ястребцева"²²⁵. СПб., 1841, стр. 232 и 233.} Таких опытов над трезвением мысли еще весьма мало; немногие из них описаны, и то в таких книгах, где их обыкновенно не ищут; а весьма любопытны эти опыты! Всего неудобнее для приложений в сем случае то, что

²²⁵ Ястребцев Иван Иванович (1776–1839) — философ и естествоиспытатель. Окончил Московскую духовную академию и университет, защитил диссертацию по медицине. Сотрудничал в различных литературных изданиях, где выступал против скептицизма в исторической науке и философии (см. статью: Взгляд на направление истории. — Московский наблюдатель, 1835, апрель, кн. 2, с. 691–705).

сего рода опыты и выводы из них может делать каждый лишь про себя; есть что-то ребяческое в обыкновенных требованиях: показать, дать ощутить такой опыт, как в требованиях: дать ощупать магнетическую силу человека; ибо здесь снаряд в самом испытателе, — его степень знания зависит от его привычки обращаться с своим снарядом, — а вообще можно сослаться в подтверждение своих слов лишь на такие опыты, которые производил и сам слушатель; это очевидно. Следственно, пока кто сам не произвел такого психологического опыта, который бы уверил его в возможности видеть мимо чувств, свободным, полным прозрением духа, тот не должен ни отрицать сей возможности, ибо это было бы несправедливо, ни требовать, чтобы ему передали эту возможность, ибо такая передача — вне самого существа и условий опыта. Должно однако же заметить, что мы натываемся довольно часто на некоторые намеки из таких опытов, намеки, которые бы должны были сделать нас более осторожными при отрицании выводов сей психологической экспериментации; так, по некоторым намекам, мы уверяемся в существовании некоторого чутья в организмах, хотя ощупать его не можем; мы замечаем, например, что вредная организму пища часто производит в нем отвращение, никакими наблюдениями не объяснимое; что значит эта темная склонность вкуса, которая встречается у беременных женщин, часто странная и всегда верная? что значит это невольное содрогание, которое ощущает человек, проходя по полю самой законной битвы, при виде казни самого закоренелого преступника? Великое дело понять свой инстинкт и чувствовать свой разум! в этом, может быть, вся задача человечества. Пока эта задача не для всех разрешена, пойдем отыскивать те указки, которые какая-то добрая нянюшка дала в руки нам, рассеянным, ветреным детям, чтобы мы реже принимали одно слово за другое. Одна из таких указок называется у людей творчеством, вдохновением, если угодно, поэзией. При помощи этой указки род человеческий, хотя и не силен в азбуке, но выучил много весьма важных слов, например — что человек и человеческое общество есть живой организм. Удивительно, как люди не пошли далее при пособии этого слова, которое недаром вылетело из светлого мира поэзии и ярко блеснуло в темном мире науки; оно, кажется, может объяснить по крайней мере несколько отдельных вопросов, как быстрое прохождение планеты мимо солнца может служить для определения его диаметра.

Под организмом, кажется, понимают обыкновенно несколько начал, или стихий, действующих с определениюю целию; удовольствуемся хоть этим определением, как мы довольствуемся определениями слова металл, хотя для него и ни одного нет верного. Некоторые обстоятельства, сопровождающие существование организма, нам довольно известны; например, мы знаем, что очень часто начала, образующие один организм, были бы смертию для другого; часто растение, питающееся одними началами, умирает от присоединения к нему других, а растение, умирающее в некоторых обстоятельствах, вдруг оживает от новых средств питания; наконец, знаем также, что растение часто изменяется, возвышается в своей организации от прививки к нему стихий другого растения или оттого, что одно посажено возле или после другого; знаем, что болезнь семян может перейти в самые растения, от которых произойдут семена еще более зараженные; что, наоборот, искусным уходом можно постепенно истребить эту заразу и возвысить организацию растения; знаем, что если растение не находит средств для возобновления его начальных элементов, то чахнет и мало-помалу погибает, и что, следственно, для организма необходимо полное развитие его элементов, иначе — полнота жизни; знаем также, что пищу организма можно отравить минеральным или растительным ядом. Рассматривая высшие организмы, каков, например, организм человека, мы уверяемся, что он, подвергаясь необходимому закону эпох, например возрасту, сохраняет однако же волю промотать, исказить свои жизненные силы или укрепить и возвысить их; видим, наконец, что во всех сих организмах есть какой-то таинственный будильник, который напоминает им о необходимости питать свои элементы; оттого растение тянется цветком к солнцу, корнями жадно ищет земляной влаги; животное посредством голода узнает о необходимости усвоить себе некоторое количество азота, — довольно сложная и важная операция, о которой животное часто не

имеет полного сознания, а одно темное ощущение. Как королларий²²⁶ ко всем этим наблюдениям, мы замечаем, что если бы растение или животное дождалось, пока Дюма, Буссенго²²⁷ или Либих²²⁸ доказали ему, каким образом добывается азот, карбон, и почему им и тот и другой необходимы, — то и растение и животное умерли бы с голода, все-таки не достигнув до чистого, осязаемого опыта. Вот, господа, вся новость, которую я хотел вам сообщить. Как видите, эта новость совсем не нова и не странна; вы ее можете найти в любой химии, натуральной истории, физиологии... потому что в мире, как в доброй самопрядильной фабрике, одно колесо цепляется за другое; вольно же доктору Юру стоять перед машиною и не видеть смысла этого сцепления!

Я вам рекомендую, господа, во-первых, запастись добрыми, хорошо вытертыми, ахроматическими очками, при употреблении которых предметы не помрачатся земными, радужными, фантастическими красками, и во-вторых читать две книги: одна из них называется Природой — она напечатана довольно четким шрифтом и на языке довольно понятном; другая — Человек — рукописная тетрадь, написана на языке мало известном и тем более трудном, что еще не составлено для него ни словаря, ни грамматики. Эти книги в связи между собою, и одна объясняет другую: однако же когда вы в состоянии читать вторую книгу, тогда обойдетесь и без первой, но первая поможет вам прочесть вторую. Для развлечения можете читать другие книжки, будто бы написанные о первых двух книгах; но только остерегитесь: читайте не строки, а между строками, там много найдете любопытного при пособии очков, о которых я настаиваю. Там вы найдете, что действительно человек есть организм, составленный из элементов, требующих места и времени для своего развития; если соединяются два человека дружбою ли, любовью ли, то образуется новый организм, в котором элементы отдельных организмов сограничиваются (модифируются), как сограничиваются кислоты соединением с щелочами; если к организму супружества присоединяется третий организм, тогда снова происходит новое воздействие между составными элементами, и так далее, до целого общества, которое в свою очередь есть новый организм, составленный из других организмов; вы найдете, что в каждом организме, какой бы он ни был, есть общие элементы, всем организмам в различной степени принадлежащие, и частные элементы, образовавшиеся из первых и принадлежащие тому или другому организму и составляющие характеристическое отличие каждого.

Мои химические операции довели меня до четырех основных элементов, общих всем человеческим организмам; может быть, их больше или меньше; это зависит от искусства химика; но я пока довольствуюсь ими, как атомистическая химия довольствуется шестью десятками так называемых простых тел. По-моему, эти четыре элемента называются очень просто: потребностью истины, любви, благоговения и силы, или власти. Эти элементы — общечеловеческие; от их различных соединений, от первенства одного над другим, от застоя того или другого происходят все различные ближайшие элементы. Должна быть определенная пропорция между сими элементами, но она может быть известна лишь некоторым алхимикам; впрочем, для практики довольно и приблизительных вычислений. Не удивляйтесь, что иногда эти элементы производят действия, по-видимому, весьма противоположные, — это оптический обман! Один знаменитый химик, много занимавшийся

²²⁶ Королларий — здесь в значении "итог" (от лат. corollarium — веночек, венчик)

²²⁷ Буссенго Жан Батист (1802–1887) — французский химик, приобрел известность исследованиями по агрохимии, одним из основателей которой его считают.

²²⁸ Либих Юстус (1803–1870) — немецкий химик, основавший школу в химии. Устроил первую в Германии химическую учебную лабораторию, куда стекались ученики из разных стран. Одним из первых применял систематически и научно достижения химии в сельском хозяйстве, физиологии и патологии.

органическими разложениями, по имени Боссюэ²²⁹, сказал: "Если мы будем пристально всматриваться в то, что происходит внутри нас, то найдем, что все наши страсти зависят от любви, которая их все обнимает и возбуждает. Самая ненависть к одному предмету происходит лишь от любви к другому; так, например, я чувствую отвращение к одному предмету потому только, что он препятствует обладать предметом, к которому чувствую любовь". {* Bossuet, "Connaissance de Dieu et de soi-meme", ch. 1.}

Иногда один элемент развивается на счет других и, вышедши из определенной пропорции, не умиряется другими; так, например, дышать одним оживляющим кислородом очень приятно, но он умерщвляет так же, как и удушающий азот; в воздухе же они соединены в такой пропорции, что вредное свойство каждого сограничено другим. В человеческом организме, например, чувство силы — может обратиться в полную беззаботность и беспечность или в удовлетворение одним вещественным вожеланиям; потребность полной истины может привести к поверхностному энциклопедицизму или ко всеотвергающему скептицизму; чувство дружества — довести до расточительности и проч., тому подобное. Во всех таких случаях организм страдает, как растение без воды или слишком политое. Человеку дана привилегия творить особый мир, где он может соединять основные элементы в какой хочет пропорции, даже в их настоящем естественном равновесии; этот мир называется искусством, поэзией; важный мир, ибо в нем человек может найти символы того, что совершается, или должно бы совершаться внутри и вокруг его; но зодчие этого мира часто вносят и в него ту несоразмерность между стихиями, которую они сами страдают, не замечая того; другие же счастливы строят сей мир так же бессознательно, как и первые, и неожиданно в сем мире отражается та гармония, которая звучит в душе самих зодчих; древность выразила этот замечательный акт человеческой деятельности именем Амфиона²³⁰.

Как бы то ни было, когда не существует равновесия и гармонии между элементами, — организм страдает; и таков педантизм в этом законе, что ничто не спасает от сего страдания: ни развитие воли, ни дар творчества, ни сверхъестественное знание, — будь он странною, обладающею всеми средствами силы, называйся он Бетховеном, Бахом, — организм страдает, ибо не выполнил полноты жизни. Роскошный кактус, захваченный морозом, достигает иногда до степени душистого цветка, — но потом мгновенно погибает.

Тут происходит часто другое замечательное явление: организм, смыкаясь в своих элементах, знает их одних и потому никак не может понять возможности другого элементного соединения, часто стихии одного народного организма так отдалены от стихий другого, что один никак не может понять жизни другого, ибо каждый видит лишь в своих элементах условие жизни. Так западные писатели пишут историю человечества, но понимают под этим словом лишь то, что вокруг них, забывая иногда о безделице: например, о девятой части земного шара и о сотне миллионов людей; когда же доходят до славянского мира, то готовы доказать, что он не существует, ибо он не подходит под ту форму, которая образовалась из западных элементов. Если бы рыбы умели писать, то они наверно бы

²²⁹ Боссюэ Жак Бенинь (1627–1704), автор книг на исторические, политические и философские темы. Его произведения, консервативные по своим идеям, отличались бесспорными литературными достоинствами. Сент-Бев писал о нем в статье, посвященной Паскалю: "В великолепной своей манере Боссюэ любит сближать, объединять самые великие имена, сплетая в некотором роде ту золотую цепь, с помощью которой разум человеческий достигает самых высоких вершин" (Сент-Бев Ш. Литературные портреты. Критические очерки. М., 1970, с. 371). "Знаменитым химиком" Фауст называет Боссюэ в том же метафорическом смысле, в каком считает "химиком" и себя, открыв "четыре основных элемента": "потребность истины, любви, благоговения и силы или власти".

²³⁰ Амфион — древнегреческий мифический герой, сын Зевса и Антионы; вместе со своим братом-близнецом Зефосом, царствуя в Фивах, воздвигал стены вокруг города. В то время как Зефос, богатырь и силач, подносил на руках огромные камни, Амфион, искусный музыкант, заставлял их звуками своей кифары двигаться и складываться в стены.

доказали, и очень ясно, что птицы никак не должны существовать, ибо не могут плавать в воде. Случается и наоборот.

Был на сем свете великий естествоиспытатель, по имени Петр Великий; ему достался на долю организм чудный, достойный его духа. Глубоко вникнул Великий в строение этого чудного мира; он нашел в нем размеры огромные, силы исполинские, крепкие, закаленные зубчатые колеса, прочные упоры, быстрые шестерни — но этой огромной системе сил недоставало маятника; оттого мощные элементы этого мира доходили до действий, противоположных существу их; чувство силы — тянулось к совершенной беспечности, поглотившей племена азийские; многосторонность духа, выражавшаяся дивною восприимчивостью и сродная чувству истины, не находила себе пищи и вяла в бездействии; еще несколько веков этих мгновений в жизни народа — и мощный мир изнурил бы себя собственной своею мощью. Великий знаток природы и человека не отчаялся; он видел в своем народе действие иных стихий, почти потерявшихся между другими народами: чувство любви и единства, укрепленное вековой борьбою с враждебными силами; видел чувство благоговения и веры, освятившее вековые страдания; оставалось лишь обуздать чрезмерное, возбудить заснувшее. И великий мудрец привил к своему народу те второстепенные западные стихии, которых ему недоставало: он умирил чувство разгульного мужества — строением; народный эгоизм, замкнутый в сфере своих поверий, — расширил зрелищем западной жизни; восприимчивости — дал питательную науку. Прививка была сильна; протекли времена, чуждые стихии усвоились, умирили первобытных — и новая, горячая кровь полилась в широких жилах исполина; все чувства его пришли в деятельность; напряжились дебелие мышцы; он вспомнил все неясные мечты своего младенчества, все, до того непонятные ему, внушения высшей силы; он откинул одни, дал тело другим, — вздохнул вольно дыханием жизни, поднял над Западом свою мощную главу, опустил на него свои светлые, непорочные очи и задумался глубокою думою.

Запад, погруженный в мир своих стихий, тщательно разрабатывал его, забывая о существовании других миров. Чудна была его работа и породила дела дивные; Запад произвел все, что могли произвести его стихии, — но не более; в беспокойной, ускоренной деятельности он дал развитие одной и задушил другие. Потерялось равновесие, и внутренняя болезнь Запада отразилась в смутах толпы и в темном, беспредметном недовольстве высших его деятелей. Чувство самосохранения дошло до щепетливого эгоизма и враждебной предусмотрительности против ближнего; потребность истины — исказилась в грубых требованиях осязания и мелочных подробностях; занятый вещественными условиями вещественной жизни, Запад изобретает себе законы, не отыскивая в себе их корня; в мир науки и искусства перенеслись не стихии души, но стихии тела; потерялось чувство любви, чувство единства, даже чувство силы, ибо исчезла надежда на будущее; в материальном опьянении Запад прядает на кладбище мыслей своих великих мыслителей — и топчет в грязь тех из них, которые сильным и святым словом хотели бы заковать его безумие.

Чтобы достигнуть полного гармонического развития основных, общечеловеческих стихий, — Западу, несмотря на всю величину его, не достало другого Петра, который бы привил ему свежие, могучие соки славянского Востока!

Между тем, что не совершилось рукой человека, то совершается течением времен. — Недаром человек, увлеченный, по-видимому, мгновенным прибытком, усовершенствует способы сообщения; недаром люди теснятся друг к другу, как низшие животные, чуя опасность. Чует Запад приближение славянского духа, пугается его, как наши предки пугались Запада. Неохотно замкнутый организм принимает в себя чуждые ему стихии, хотя они бы должны были поддерживать бытие его, — а между тем он тянется к ним невольно и бессознательно, как растение к солнцу.

Не бойтесь, братья по человечеству! Нет разрушительных стихий в славянском Востоке — узнайте его, и вы в том уверитесь; вы найдете у нас частию ваши же силы, сохраненные и умноженные, вы найдете и наши собственные силы, вам неизвестные, и которые не оскудеют от раздела с вами. Вы найдете у нас зрелище новое и для вас доселе неразгаданное: вы

найдете историческую жизнь, родившуюся не в междоусобной борьбе между властью и народом, но свободно, естественно развившуюся чувством любви и единства, вы найдете законы, изобретенные не среди волнения страстей и не для удовлетворения минутной потребности, не занесенные чужеземцами, но медленно, веками поднявшиеся из недр родимой земли; вы найдете верование в возможность счастья не одного большого числа, но в счастье всех и каждого; вы найдете даже в меньших братьях наших то чувство общественного единения, которого тщетно ищете, взрывая прах веков и вопрошая символы будущего; вы поймете, отчего ваш папизм клонится к протестантизму, а протестантизм к папизму, т. е. каждый к своему отрицанию, и вы поймете, отчего лучшие ваши умы, углубляясь в сокровищницу души человеческой, нежданно для самих себя выносят из оной те верования, которые издавна сияют на славянских скрижалях, им неведомых; {* Баадер²³¹, Кениг²³², Баланш²³³, Шеллинг²³⁴.} вы изумитесь, что существует народ, который начал свою литературную жизнь, чем другие кончают, — сатирой, т. е. строгим судом над самим собою, отвергающим всякое лицепрятие к народному эгоизму; вы изумитесь, узнав, что есть народ, которого поэты, посредством поэтического магизма, угадали историю прежде истории — и нашли в душе своей те краски, которые на Западе черпаются из медленной, давней разработки веков исторических; {* Стихия всеобщности или, лучше сказать, всеобнимаемости произвела в нашем ученом развитии черту довольно замечательную: везде поэтическому взгляду в истории предшествовали ученые изыскания; у нас, напротив, поэтическое проицание предупредило реальную разработку; "История" Карамзина навела на изучение исторических памятников, до сих пор еще не конченное; Пушкин (в "Борисе Годунове") разгадал характер русского летописца, — хотя наши летописи не прошли сквозь вековую историческую критику, а самые летописцы еще какой-то миф в историческом отношении; Хомяков (в "Димитрии Самозванце") глубоко проникнул в характер еще

231 Баадер Франц Ксаверий (1765–1841) — врач, профессор философии и богословия Мюнхенского университета. Как философ выступил в 1809 г. В своей философии развивает идеи Я. Беме и проводит мысль о зависимости знания от веры. Учение Баадера вызвало интерес у русских романтиков-любомудров. С. П. Шевырев, посвятивший ему специальную статью (Христианская философия. Беседы Баадера. — Москвитянин, 1841, ч. III, № 6), пишет о нем: "Франц фон Баадер принадлежит к числу замечательнейших мыслителей Германии современной и занимает первое место между теми, которые задали себе решение важнейшего вопроса: как примирить философию с религией?" (с. 378). Интересно, что Шевырев тоже считает учение Баадера близким тем верованиям, "которые издавна сияют на славянских скрижалях".

232 Кениг Генрих Иосиф (1790–1869) — немецкий писатель и критик, живо интересовавшийся Россией и близко знакомый с любомудром Н. А. Мельгуновым. Плодом этого знакомства явилась книга Кенига, посвященная русским писателям и русской литературе, — "Литературные картины России" (*Literarische Bilder aus Rufiland*. StuttgartTiibingen, 1837). Ближайшее участие Н. А. Мельгунова в создании книги (Кениг не знал русского языка и широко пользовался советами и даже "подсказками" Мельгунова) позволяет увидеть в ней в равной мере памятник немецкой и русской литератур (см. статью: Ботникова А. Б. Книга Г. Кенига "Литературные картины России". — В кн.: Сборник материалов 2-й научной сессии вузов центрально-черноземной зоны. Литературоведение. Воронеж, 1967, с. 115–136).

233 Баланш Пьер Симон (1776–1847) — французский поэт и философ, автор историко-философского труда "Essai de palngenesie sociale" (Опыт об общественном возрождении). Рецензия на это сочинение была напечатана в журнале любомудров "Московский вестник" (1828, ч. 7, № IV). Собрание сочинений Балланша вышло в Париже в 1831 г. В конце 30-х годов Одоевский берет сочинения Балланша у А. Г. Теплякова, чтобы ближе познакомиться с этим философом.

234 Упоминание имени Шеллинга в данном контексте обусловлено убежденностью Одоевского в том, что Шеллинг был близок к исканиям русских философов и испытывал особую симпатию к России. В связи с этим интересен разговор Шеллинга с Одоевским, о содержании которого сообщает последний в своей записной книжке. Шеллинг сказал: "Чудное дело ваша Россия... Нельзя определить, на что она назначена и куда идет она? но она к чему-то важному назначена" (см.: Сакулин, ч. 1, с. 386–387; об известном единомыслии Одоевского с Шеллингом в 40-е годы см.: Манн Ю. Русская философская эстетика. М., 1969, с. 110–113).

труднейший: ²³⁵ в характер древней русской женщины — матери; Лажечников (в "Басурмане") воспроизвел характер и того труднейший: древней русской девушки²³⁶; между тем, значение женщины в русском обществе до Петра Великого остается совершенною загадкой в ученом смысле. Теперь следите за этими характерами в исторических памятниках, только что появляющихся в свет, и вас поразит верность этих призраков, вызванных магическою деятельностью поэтов. — Нельзя не подивиться, как люди, ударившиеся в ультраславянизм, до сих пор не обратили внимания на это замечательное явление.} вы изумитесь, узнав, что существует народ, понимающий музыкальную гармонию естественно, без материального изучения; вы изумитесь, узнав, что не все мелодические дороги истоптаны и что художник, порожденный славянским духом, один из членов триумвирата, {* Мендельзон-Бартольди, Берлиоз, Глинка.} сохраняющего святыни развращенного, униженного, опозоренного на Западе искусства, нашел путь свежий, непочатый; наконец, вы уверитесь, что существует народ, которого естественное влечение — та всеобъемлющая многосторонность духа, которую вы тщетно стараетесь возбудить искусственными средствами; вы уверитесь, что существует народ, которого самые льды и снега, вас столько устрашающие, заставляют невольно углубляться внутрь, а извне побеждать враждебную природу; вы преклоните колено перед неизвестным вам человеком который был и поэтом, и химиком, и грамматиком, и металлургом, прежде Франклина низвел гром на землю — и писал историю, наблюдал течение звезд — и рисовал мозаики стеклом, им отлитым, — и в каждой отрасли подвинул далеко науку; вы преклоните колено пред Ломоносовым, этим самородным представителем многосторонней славянской мысли, когда узнаете, что он, наравне с Лейбницем, с Гете, с Карусом, открыл в глубине своего духа ту таинственную методу, которая изучает не разорванные члены природы, но все ее части в совокупности, и гармонически втягивает в себя все разнообразные знания. Тогда вы поверите своей темной надежде о полноте жизни, поверите приближению той эпохи, когда будет одна наука и один учитель, и с восторгом произнесете слова, не замеченные вами в одной старой книге: "человек есть стройная молитва земли!"²³⁷.

Фауст замолчал. "Все хорошо, — сказал Виктор, — но что ж нам между тем остается делать?"

— Ждать гостей и встретить их с хлебом и солью.

Вячеслав. А потом надеть учительский колпак и рассадить гостей по скамьям...

Фауст. Нет, господа, для этого вам еще надобно выйти из состояния брожения, которое осталось от прививки; подождать той минуты, когда гармонически улягутся все стихии, вас образующие, когда вы, подобно Ломоносову, будете черпать изо всех чаш, забыв, которая своя, которая чужая; эта минута недалека. — А между тем не худо приготовить к принятию дорогих гостей — наших старых учителей; прибрать горницу, наполнить ее всем нужным для жизни, чтобы ни в чем не было недостатка, и самим принарядиться и тщательно

²³⁵ Имеется в виду характер царицы Марфы, матери убитого царевича Дмитрия, выведенный в драме А. С. Хомякова "Дмитрий Самозванец" (1832). В дневнике Одоевского имеется запись (10 февраля 1867 г.), в которой так говорится о Марфе Хомякова: "Кашперов, которому хочется написать оперу "Дмитрий Самозванец"; я советовал ему обратить внимание на характер Марфы в "Дмитрии Самозванце" Хомякова, не удачно схваченном во всех других трагедиях этого имени" (см.: Литературное наследство. Т. 22–24. М., 1935, с. 228).

²³⁶ Речь идет о героине романа И. И. Лажечникова "Басурман" Анастасии, которую любит герой романа, немец Антон Эренштейн. Влюбленная в Басурмана Анастасия думает, что ее сглазили и околдовали, и идет к любимому просить, дабы тот сжалился над нею, отворожил ее от себя. В. Г. Белинский, не принадлежавший к числу поклонников романа, назвал эту черту героини "прекрасной" и "народной" (см.: В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. Т. III. М., 1953, с. 21).

²³⁷ Неточная цитата из книги Л.-К. де Сен-Мартена "Человек желания" (Saint-Martin L. C. marquis. L'homme de desir. Lyon, 1790, p. 21).

позаботиться о своих меньших братьях, например хотя передать им в руки науку, чтоб они не зевали по сторонам; не худо подчас и бичом сатиры, по примеру предков, стегнуть мышей, которые забираются в дом, не спросясь хозяина; вообще своего не чуждаться, чужого не бояться, а пуще всего: хорошенько протереть собственные наши очки и помнить, что вся штука не в одной оправе, а также, что и лучшее стекло негодно, когда его затянет плесенью. Вячеслав. Все, что я могу сказать, — *c'est qu'il y a quelque chose a faire...* {это — что нужно что-то делать (франц.).}

Виктор. Я подожду парового аэростата, чтобы посмотреть тогда, что будет с Западом...

Ростислав. А у меня так не выходит из головы мысль сочинителей рукописи: "Девятнадцатый век принадлежит России!".

ДОПОЛНЕНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Самое затруднительное для писателя дело: говорить о самом себе. Тут напрасны все оговорки и все возможные риторические предосторожности; его непременно обвинят или в самолюбии, или, что еще хуже, в ложном смирении; нет определенной черты между тем и другим, или, по крайней мере, трудно отыскать ее. Остается последовать примеру Сервантеса, который начал одну из своих книг следующими словами: "Я знаю, любезный читатель, что тебе нет никакой нужды читать мое предисловие, но мне очень нужно, чтобы ты прочел его"²³⁸. — Такое откровенное объяснение, кажется, мирит все противоречия.

Мои сочинения в первый раз были собраны и изданы в 1844 году. Как известно, в течение двух-трех лет их уже не было в книжной торговле, и скоро они сделались библиографическою редкостью. Меня часто спрашивали: отчего я не приступаю к новому изданию? отчего я не пишу, или, по крайней мере, ничего не печатаю? и проч. т. п. Спрашивать у сочинителя о таких домашних обстоятельствах почти то же, что спрашивать у мусульманина о здоровье его жены. Но хорошо, когда дело ограничивается одними вопросами; худо, когда появляются ответы, — помимо настоящего ответчика; хорошо и то, когда эти ответы только нелепы; худо, когда подчас эти ответы не сообразны ни с вашим взглядом на вещи, ни ... с вашими правилами.

Покусившийся хоть раз, как говорилось в старину, предать себя тиснению, — с той самой минуты становится публичной собственностью, которую всякий может трактовать, как ему угодно. Но этот трактат не только дает право публичному человеку, но даже налагает на него обязанность когда-нибудь публично же и объясниться.

Дело очень простое: в 1845 году я намерен был предпринять новое издание моих сочинений, исправить их, пополнить и проч. т. п., как бывает в подобных случаях. Но в начале следующего года (1846) на меня пало одно дело²³⁹; друзья мои знают — какое (говорить о нем для публики было бы еще рано); они также хорошо знают, какого рода

²³⁸ Данная фраза не обнаружена у Сервантеса. Возможно, имеется в виду пролог Сервантеса к "Назидательным новеллам" (1613): "Мне очень хотелось бы, любезнейший читатель, обойтись по возможности без всякого пролога, потому что предисловие, написанное мною для "Дон Кихота", прошло не настолько гладко, чтобы оставить во мне желание повторять недавний опыт". Одоевский мог прочесть этот текст во французском переводе Луи Виардо: *Servantes Saavedra M. de. Nouvelles exemplaires. Paris, 1838, 2 t. en 1 vol.* (указано А. Звигильским). Возможно также, что Одоевский спутал Сервантеса с Руссо, у которого есть подобная фраза в начале "Исповеди".

²³⁹ Одоевский был одним из организаторов "Общества для посещения бедных", которое возникло в 1846 г. и закрылось в 1855 г.

занятий и какой упорной борьбы оно требовало. Этому делу, в течение девяти лет, я принес в жертву все, что я мог принести: труд и любовь; эти девять лет поглотили мою литературную деятельность всю без остатка. Признаюсь, я об этом не жалею; но, естественно, не могу быть равнодушен, если другие о том жалеют.

Затем, не легко, — всякий это знает, — после долгого отсутствия, воротясь на прежнее пепелище, связать настоящее с давнопрошедшим, концы с концами. В эту минуту некоторое раздумье неизбежно.

Между тем, пока я был на стороне, добрые люди воспользовались тем, что моя книга сделалась библиографическою редкостью, и втихомолку принялись таскать из нее, что кому пришлось по его художеству; иные — на основании литературного обычая, т. е. заимствовались с большою тонкостью и с разными прикрытиями, иные с меньшими церемониями просто вставляли в мои сочинения другие имена действующих лиц, изменяли время и место действия и выдавали за свое; нашлись и такие, которые без дальних околичностей брали, напр, мою повесть всю целиком, называли ее, напр, биографией и подписывали под нею свое имя. Таких курьезных произведений довольно бродит по свету. — Я долго не протестовал против подобных заимствований, частью потому, что я просто не знал о многих из них, а частью потому, что мне казался довольно забавным этот особый род нового издания моих сочинений. Лишь в 1859-м году я счел нужным предостеречь некоторых господ о возможном следствии их бесцеремонных проделок. {* В ... "СПб. ведомостей"²⁴⁰. При сем случае я не могу не выразить моей благодарности гг. издателям..., которые в ... "Ведомостей" обличили один из таких подлогов²⁴¹, без чего может быть я его бы и не заметил. — В таких случаях все добросовестные литераторы должны помогать друг другу — здесь дело общей литературной безопасности. Какое бы дитя ни было, оно мое; нет ничего утешительного видеть, что его уродуют. Такими поступками, независимо от их житейского значения, оскорбляется художественное чувство, лучшее достояние всякого писателя.}

Есть, наконец, люди, которые к ремеслу невинного заимствования присоединяют и другое: приписывать известному лицу, называя его по имени, нелепости собственного изделия, даже обставляя их рачительно, во избежание всякого сомнения, вводными знаками. Таковую проделку позволило себе одно издание...²⁴², о котором не позволю себе теперь говорить, ибо оно прекратилось; да и сам издатель, человек, имевший довольно странное понятие о житейских условиях, но человек не без дарований, уже не существует. *De mortuis seu bene, seu nihil.* {О мертвых или хорошо, или ничего (лат.).}

Итак, участь моей книги была следующая: из нее таскали, взятое уродовали, и на нее клепали; а для большинства поверить эти проделки было не на чем.

Сопряжение всех этих причин, имеющих важное значение для человека, свято сознающего права и обязанности литератора, заставило меня приступить к новому изданию

²⁴⁰ Здесь, по-видимому, Одоевский допустил неточность. В СПб. ведомостях за 1859 г. никаких "предостережений" обнаружить не удалось.

²⁴¹ Имеется в виду опубликованный в № 6 газеты от 9 января 1859 г. фельетон "Литературное объяснение по нелитературному делу". В фельетоне, между прочим, говорится о напечатанном в журнале "Северный цветок" (1858, № 8, с. 229–238; № 9, с. 239–252) рассказе Петра Григорьева "Участь рыбака и его семьи", который есть "не что иное, как переделка или, лучше, извращение всем известного рассказа князя В. Ф. Одоевского "Саламандра, или южный берег Финляндии в начале XVIII столетия"".

²⁴² Речь идет о рецензии славянофила К. С. Аксакова на сборник "Народное чтение", где автор высмеивал князя Одоевского, — якобы тот "чуть не говорил народу: "душенька народ, миленький народенька!" (газета "Парус", 1859, № 1, 3 января, с. 16). Эти строки вызвали бурный гнев В. Ф. Одоевского, он резко писал о них другу молодости А. С. Хомякову и хотел отвечать печатно, но вскоре "Парус" был запрещен, К. С. Аксаков в 1860 г. умер, поэтому деликатность не позволяла Одоевскому полемизировать. См.: Егоров Б. Ф., Медовой М. И. Переписка кн. В. Ф. Одоевского с А. С. Хомяковым. — Уч. зап. Тартуского ун-та, 1970, вып. 251, с. 335–349.

моих сочинений.

Я полагал в них многое исправить, многое переделать, но вскоре убедился, что такое дело — невозможно. Семнадцать лет — есть почти половина деятельной жизни. В такой период времени многое передумалось, многое забылось, многое наплыло вновь — нет возможности попасть в тот лад, с которого начал; камертон изменился; и внутренняя жизнь и внешняя среда другие; всякая переделка будет не живым органическим произведением, но механическою приставкою. И сверх того: наши ли — наши мысли даже в минуту их зарождения? Не суть ли они в нас живая химическая переработка начал внешних и равносложных: духа эпохи вообще и среды, в которой мы живем, впечатлений детства, беседы с современниками, исторических событий, — словом, всего, что нас окружает?... Трудно отделиться от семьи, от народа — еще труднее; от человечества — вовсе невозможно; каждый человек волею или неволею — его представитель, особливо человек пишущий; большой или малый талант — все равно; между ним и человечеством устанавливается электрический ток, — слабый или сильный, смотря по представителю, — но непрерывный, неумолимый. С этой точки зрения человеческое слово, при его проявлении в данном народе и в известный момент, есть исторический факт, более или менее важный, но уже не принадлежащий так называемому сочинителю; если в нем это слово тогда неудачно выговорилось, если он не сознал определительно своего представительства, то виноват он сам и должен нести за то ответственность; после договаривать уже поздно: стрелка двинулась на часах мира, два раза рождения не бывает.

Эта книга является в том самом виде, как она была издана в 1844 году; я позволил себе исправить лишь некоторые, слишком явные промахи (не все!), пополнить вольные и невольные пропуски, ввести некоторые статьи, при первом издании забытые, некоторые новые, и, наконец, присоединить особо примечания, которые, сколько мне кажется, могут иметь некоторое историческое значение. Dixi. {Сказано (лат.).}

* * *

P. S. Публика такое существо, с которым никогда нельзя вдоволь наговориться. Особенно эта невольная болтливость является после долгой жизни, в продолжение которой накопилось на голову дюжины с две всякой напраслины. Оправдать себя от напраслины есть право всякого, — но для публичного человека, литератора, такое оправдание есть даже обязанность. Меня вообще обвиняют в каком-то энциклопедизме, хотя я никогда еще не мог хорошенько выразуметь: что это за зверь? Это слово можно понимать в разных смыслах: если человек хватается то за то, то за другое, так, зря, на авось, когда его деятельность разорвана и чрез нее не прошло живой, органической связи — должно ли называть его энциклопедистом? — Наоборот, если одно дело вырастает из другого органическим путем, как из корня вырастает лист, из листа цветок, из цветка плод, — будет ли такая история также энциклопедизмом? — В первом, что бы ни говорили, я не грешен; я хватаюсь за весьма немногое, — но, правда, придерживаюсь за все, — что попадется под руку. Этому искусству научила меня жизнь; рассказ об этом процессе, может быть, не останется без пользы для нового поколения. — Моя юность протекла в ту эпоху, когда метафизика была такою же общею атмосферою, как ныне политические науки. Мы верили в возможность такой абсолютной теории, посредством которой возможно было бы строить (мы говорили — конструировать) все явления природы, точно так, как теперь верят возможности такой социальной формы, которая бы вполне удовлетворяла всем потребностям человека; может быть, и действительно, и такая теория, и такая форма и будут когда-нибудь найдены, но *ab posse ad esse consequentia non valet*. {из возможного еще не следует действительное (лат.).} — Как бы то ни было, но тогда вся природа, вся жизнь человека казалась нам довольно ясною, и мы немножко свысока посматривали на физиков, на химиков, на утилитаристов, которые рылись в грубой материи. Из естественных наук лишь одна нам казалась достойною

внимания любомудра — анатомия, как наука человека, и в особенности анатомия мозга. Мы принялись за анатомию практически, под руководством знаменитого Лодера²⁴³, у которого многие из нас были любимыми учениками. Не один кадавер²⁴⁴ мы искрошали, но анатомия естественно натолкнула нас на физиологию, науку тогда только что начинавшуюся, и которой первый плодовитый зародыш появился, должно признаться, у Шеллинга, впоследствии у Окена²⁴⁵ и Каруса²⁴⁶. Но в физиологии естественно встретились нам на каждом шагу вопросы, не объяснимые без физики и химии; да и многие места в Шеллинге (особенно в его *Weltseele* {мировой душе²⁴⁷ (нем.)}) были темны без естественных знаний; вот каким образом гордые метафизики, даже для того, чтобы остаться верными своему званию, были приведены к необходимости завестись колбами, реципиентами²⁴⁸ и тому подобными снадобьями, нужными для — грубой материи.

В собственном смысле именно Шеллинг, может быть, неожиданно для него самого, был истинным творцом положительного направления в нашем веке, по крайней мере в Германии и в России. В этих землях лишь по милости Шеллинга и Гете мы сделались посписходительней к французской и английской науке, о которой прежде, как о грубом эмпиризме, мы и слышать не хотели.

Как видите, эти разнообразные занятия не были безотчетным энциклопедизмом, но стройно примыкали к нашим прежним работам. Я оценил вполне важность этой разносторонности знаний, когда, по обстоятельствам жизни, мне пришлось заниматься детьми. Дети — были лучшими моими учителями, и за то до сих пор сохранил к ним глубокую привязанность и благодарность. — Дети показали мне всю скудость моей науки. Стоило поговорить с ними несколько дней сряду — вызвать их вопросы, чтобы увериться, как часто мы вовсе не знаем того, чему, как нам кажется, мы выучились превосходно. Это наблюдение поразило меня и заставило глубже вникнуть в разные отрасли наук, которыми, казалось, я обладал вполне. Это наблюдение убедило меня в новости тогда неожиданной, а именно, как искусственно, как произвольно, как ложно деление человеческих знаний на так называемые науки. В обширном каталоге наук, собственно, нет ни одной, которая бы давала нам определительное понятие о цельности предмета; возьмите человека, животное, растение, малейшую пылинку; науки разорвали их на части: кому досталось их химическое значение, кому идеальное, кому математическое и пр., и эти искусственно разорванные члены названы специальностями; говорят, что у нас были когда-то, в незапамятные времена, профессора первого тома, второго; для того, чтобы составить цельное понятие о каждом из сих предметов, необходимо собрать их все разорванные части, доставшиеся на долю разным наукам; для свежего, не испорченного никакою схоластикою детского ума нет отдельно ни физики, ни химии, ни астрономии, ни грамматики, ни истории и пр. и пр. Ребенок не будет вас слушать, если вы заговорите самым систематическим путем отдельно об анатомии

²⁴³ Лодер Христиан Иванович (1753–1832) — ученый, читавший ежедневные лекции по анатомии в Московском анатомическом театре, выстроенном по его плану.

²⁴⁴ Кадавер — труп (лат. *cadaver*).

²⁴⁵ Окен Лоренц (1799–1851) — немецкий естествоиспытатель и философ, ученик и последователь Шеллинга. Оказал влияние на русскую философию начала XIX в. (Велланского, М. Павлова, любомудров).

²⁴⁶ Карус — см. примеч. 5 на с. 286.

²⁴⁷ Мировая душа — одно из центральных понятий натурфилософии Шеллинга, означающее духовное, творящее начало, бессознательную живую целостность, из которой произошла вся органическая и неорганическая природа.

²⁴⁸ Реципиент — приемник, сосуд для сбора продуктов дистилляции.

лошади, о механизме ее мускулов, о химическом превращении сена в кровь и тело, о лошади как движущей силе, о лошади как эстетическом предмете, — дитя — отъявленный энциклопедист; подавайте ему лошадь всю, как она есть, не дробя предмета искусственно, но представляя его в живой цельности, — в том вся задача педагогики, донине нерешенная. Чтобы удовлетворить этому строгому, неумолимому требованию, мало отрывочных, так сказать, литературных, или неправильно называемых общих знаний, а надобно, как говорят французы, *mettre la main a la pate*, {опустить руку в тесто (франц.).} и только тогда можно говорить с детьми языком для них понятным. Вот вся разгадка моего мнимого энциклопедизма, — который, может быть, невольно отразился в моих сочинениях; но здесь не моя вина, здесь вина века, в который мы живем, и который если не нашел, то, по крайней мере, ищет воссоединения всех раздробленных частей знания. Если с таким самоотвержением нисходить в подробности, творить особые науки под названием: энтомология, ихтиология, то лишь для того, чтобы найти точку соединения между венами и артериями человеческого разума. Пока еще не образовалась наука общечеловеческая, необходимо, чтобы каждый человек, отбросив схоластические пеленки, образовал для себя, для круга своей деятельности, соразмерно пространству своего разума, свою особую науку, науку безыменную, которую нельзя подвести ни под какую условную рубрику. Об этой науке — признаюсь — я позаботился; кто мне эту заботу поставит в укор, тому я не дам другого ответа, кроме: *"mea culpa!"*. {моя вина! (лат.).}

ПРИМЕЧАНИЕ К "РУССКИМ НОЧАМ"

Nabent sua fata libelli! {Книги имеют свою судьбу (лат.).} — пишущему и вообще действующему человеку не мудрено провиниться разными образами: между прочим, нпр, выдать свою мысль за чужую, или, как на грех, чужую за свою. Но часто — как с Софьей Павловной:

— Бывает хуже — с рук сойдет²⁴⁹,

а вдруг, бог весть по каким сближениям, вас начинают обвинять или оправдывать именно в том, в чем вы ни душой, ни телом не виноваты. — Многие находили, иные в похвалу, другие в осуждение, что в "Русских ночах" я старался подражать Гофману. Это обвинение меня не слишком тревожит; еще не было на свете сочинителя от мала до велика, в котором бы волею или неволею не отозвались чужая мысль, чужое слово, чужой прием и проч. т. п.; это неизбежно уже по гармонической связи, естественно существующей между людьми всех эпох и всех народов; никакая мысль не родится без участия в этом зарождении другой предшествующей мысли, своей или чужой; иначе сочинитель должен бы отказаться от способности принимать впечатление прочитанного или виденного, т. е. отказаться от права чувствовать и, след, жить. Разумеется, я не обижаюсь нисколько, когда сравнивают меня с Гофманом, — а, напротив, принимаю это сравнение за учтивость, ибо Гофман всегда останется в своем роде человеком гениальным, как Сервантес, как Стерн; и в моих словах нет преувеличения, если слово гениальность однозначительно с изобретательностью; Гофман же изобрел особого рода чудесное; знаю, что в наш век анализа и сомнения довольно опасно говорить о чудесном, но между тем этот элемент существует и поныне в искусстве; нпр, Вагнер — тоже человек без всякого сомнения гениальный {* К числу доказательств гениальности Вагнера я причисляю падение его "Тангейзера" в Париже, где процветают "Плоермель" Мейербера²⁵⁰ и даже так называемые оперы Верди²⁵¹, которые в музыке

²⁴⁹ слова Софьи из "Горя от ума" (действие 1, явл. 5).

²⁵⁰ "Плоермель" Мейербера — имеется в виду комическая опера Мейербера "Pardon de Ploermel" (1859), к которой Одоевский относился резко отрицательно (см. статью "Русская или итальянская опера" (1867) в кн.: Одоевский В. Ф. Музыкально-литературное наследие. М., 1956, с. 309–310).

занимают то же место, что в живописи китайские картины, шитые шелком и мишурую.} — убежден, что опера почти невозможна без этого странного элемента, и музыканту нельзя не согласиться с таким убеждением; Гофман нашел единственную нить, посредством которой этот элемент может быть в наше время проведен в словесное искусство; его чудесное всегда имеет две стороны: одну чисто фантастическую, другую действительную; так что гордый читатель XIX-го века нисколько не приглашается верить безусловно в чудесное происшествие, ему рассказываемое; в обстановке рассказа выставляется все то, чем это самое происшествие может быть объяснено весьма просто, — таким образом, и волки сыты и овцы целы; {В подлиннике ошибочно: "и волки целы и овцы сыты", — Ред.} естественная склонность человека к чудесному удовлетворена, а вместе с тем не оскорбляется и пытливый дух анализа; помирить эти два противоположные элемента было делом истинного таланта.

А между тем я не подражал Гофману. Знаю, что самая форма "Русских ночей" напоминает форму Гофманова сочинения "Serapien's Bruder". {"Серапионовы братья" (нем.).} Также разговор между друзьями, также в разговор введены отдельные рассказы. Но дело в том, что в эпоху, когда мне задумались "Русские ночи", т. е. в двадцатых годах, "Serapien's Bruder" мне вовсе не были известны; кажется, тогда эта книга и не существовала в наших книжных лавках; единственное сочинение Гофмана, тогда мною прочитанное, было "Майорат", с которым у меня нигде, кажется, нет ни малейшего сходства.

Не только мой исходный пункт был другой, но и диалогическая форма пришла ко мне иным путем; частью по логическому выводу, частью по природному настроению духа, мне всегда казалось, что в новейших драматических сочинениях для театра или для чтения недостает того элемента, которого представителем у древних был — хор, и в котором большею частью выражались понятия самих зрителей. Действительно, странно высидеть перед сценою несколько часов, видеть людей говорящих, действующих — и не иметь права вымолвить своего слова, видеть, как на сцене обманывают, клеветают, грабят, убивают — и смотреть на все это безмолвно, склавши руки. Замкнутая объективность новейшего театра требует с нашей стороны особого жестокосердия; чувство, которое не позволяет нам оставаться равнодушными при виде таких происшествий в действительности, это прекрасное чувство явно оскорблено, и я совершенно понимаю Дон-Кихота, когда он с обнаженным мечом бросается на мавров кукольного театра, и того чудака наших театров, который, сидя в креслах, не мог утерпеть, чтобы не вмешаться в разговор актеров. Такими зрителями должен бы дорожить драматический писатель; они, без сомнения, одни вполне сочувствуют пиесе. Хор — в древнем театре давал хоть некоторый простор этому естественному влечению человека принимать личное участие в том, что пред ним происходит. — Конечно, перенести целиком древнюю форму хора в нашу новую драму есть дело невозможное, что доказывается и бывшими в этом роде попытками; но должен быть способ ввести в нашу немилосердную драму хоть какого-нибудь адвоката со стороны зрителей, или, лучше сказать, адвоката господствующих в тот момент времени понятий, словом то, что древние наши учителя в деле искусства считали необходимою принадлежностью драмы. — Стоит найти. А найти необходимо, в наш век более нежели когда-нибудь; selfgovernment {самоуправление, самообладание (англ.).} ныне проникает во все движения мысли и чувства; а selfgovernment никак не ладится с этою браминскою неподвижностью, которая требуется от зрителя новейшею драмою; путь узок, как волос, как путь мусульманский, ведущий в жилище гурий; с одной стороны грозит лиризм и резонерство; с другой — холодная объективность. Может быть, когда-либо желаемая цель достигнется сопряжением двух разных драм,

251 Отношение Одоевского к музыке Верди было устойчиво отрицательным. В статье "Лагруа в роли Донны Анны" он писал: "... оперы Верди и подобных ему сочинителей для меня то же, что музыка вообще для людей с поврежденным слухом, т. е. шум довольно неприятный" (Одоевский В. Ф. Музыкально-литературное наследие, с. 243. — См. также высказывания Одоевского о Верди в других статьях: с. 226, 518 и др.).

представленных в одно и то же время, между коими проведется, так сказать, нравственная связь, где одна будет служить дополнением другой, — словом, говоря философскими терминами, где идея представится не только с объективной, но и с субъективной стороны, следственно выразится вполне, следственно вполне удовлетворит нашему эстетическому чувству. Эта задача еще не решена; решить ее тем или другим путем, решить удачно — дело таланта; но задача существует.

Возвращаясь к моему собственному защищению; касаясь психологического факта, оно может быть будет не без интереса для читателя. — В эпоху, о которой я говорю, я учился по-гречески и читал Платона, руководствуясь в трудных местах русским или, точнее сказать, славянорусским переводом Пахомова²⁵², который в нашей словесности то же, что Амиотов перевод Плутарха²⁵³ во французской. Платон произвел на меня глубокое впечатление, до сих пор сохранившееся, как всякое сплывшее впечатление юности. В Платоне я находил не один философский интерес; в его разговорах судьба той или другой идеи возбуждала во мне почти то же участие, что судьба того или другого человека в драме или в поэме; даже, в эту эпоху, судьба гомеровых героев гораздо менее интересовала меня; вообще ни Ахиллес, ни Одиссей тогда не привлекали моего особого сочувствия.

Продолжительное чтение Платона привело меня к мысли, что если задача жизни еще не решена человечеством, то потому только, что люди не вполне понимают друг друга, что язык наш не передает вполне наших идей, так что слушающий никогда не слышит всего того, что ему говорят, а или больше, или меньше, или влево, или вправо. Отсюда вытекало убеждение в необходимости и даже в возможности (!) привести все философские мнения к одному знаменателю. Юношеской самонадеянности представлялось доступным исследовать каждую философскую систему порознь (в виде философского словаря), выразить ее строгими, однажды навсегда принятыми, как в математике, формулами — и потом все эти системы свести в огромную драму, где бы действующими лицами были все философы мира от элеатов²⁵⁴ до Шеллинга, — или, лучше сказать, их учения, а предметом, или вернее основным анекдотом, была бы ни более ни менее как задача человеческой жизни.

Но в этом деле случилось то, что рассказывает Пушкин о помещике села Горохова²⁵⁵, который задумал написать поэму "Рурик", потом нашел нужным ограничиться одою, и кончил — надписью к портрету Рурика.

Мечта первой юности рушилась; труд был не по силам; на один философский словарь, как я понимал его, не достало бы человеческой жизни, а эта работа должна была быть лишь первой ступенькой для дальнейшей главной работы ... что говорить далее, — дробь осталась с разными знаменателями, как, может быть, и навсегда останутся, — по крайней мере не мне сделать это вычисление.

Но сопряжение всех этих предварительных работ и почти беспрестанная о них мысль невольно отразилась во всем, что я писал, и в особенности в "Русских ночах", но в другой обстановке. Вместо Фалеса²⁵⁶, Платона и проч. на сцену явились современные тогда типы:

²⁵² Имеется в виду первый перевод Платона на русский язык: Творения велемудрого Платона, переложенные с греческого языка на российский И. Сидоровским и М. Пахомовым. I–IV. СПб., 1780/1785. — Перевод этот был неполным.

²⁵³ Амио Жак (1513–1593) — французский писатель и ученый, епископ Оксерра, перевел на французский язык все сочинения Плутарха; считается одним из создателей литературного французского языка XVI в.

²⁵⁴ Элеаты — см. примеч. 36 на с. 298.

²⁵⁵ Имеется в виду Белкин из пушкинской "Истории села Горюхина", которая по цензурным условиям печаталась в XIX в. под названием "Летопись села Горохина"; Одоевский неточен и в этом заглавии.

²⁵⁶ Фалес (ок. 625–547 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, основатель милетской школы. Все явления

кондиллькист²⁵⁷, шеллингианец и, наконец, мистик (Фауст), все трое — в струе русского духа; последний (Фауст) подсмеивается над тем и другим направлением, но и сам не высказывает своего решения, может быть, потому, что оно для него так же не существует, как для других, — но который удовлетворяется символизмом; впрочем, к Фаусту я обращаюсь впоследствии. Чтобы свести эти три направления к определенным точкам, избраны разные лица, которые целою своею жизнью выражали то, что у философов выражалось сжатыми формулами, — так что не словами только, но целою жизнью один отвечал на жизнь другого.

Предмет этой новой, — если угодно, — драмы остался тот же: задача жизни, разумеется, не разрешенная.

Я боюсь наскучить читателю более подробным описанием этих домашних обстоятельств моего сочинения; впрочем, я до сих пор старался ограничиться лишь тем, что собственно относится к психологическому процессу, во мне самом совершившемся, а всякий психологический процесс как факт может, повторяю, иметь свое значение во всяком случае.

Прибавлю еще, что в "Русских ночах" читатель найдет довольно верную картину той умственной деятельности, которой предавалась московская молодежь 20-х и 30-х годов, о чем почти не сохранилось других сведений. Между тем эта эпоха имела свое значение; кипели тысячи вопросов, сомнений, догадок которые снова, но с большею определенностью возбудились в настоящее время; вопросы чисто философские, экономические, житейские, народные, ныне нас занимающие, занимали людей и тогда, и много, много выговоренного ныне, и прямо, и вкривь, и вкось, даже недавний славянофилизм, — все это уже шевелилось в ту эпоху, как развивающийся зародыш. Новому поколению не худо знать, как понимались эти вопросы поколением, ему предшествовавшим, как и с чем оно боролось и чем страдало; как вырабатывались и хорошие, и плохие материалы, доставшиеся на труд новым деятелям? История человеческой работы принадлежит человечеству.

ПРИМЕЧАНИЯ

Большинство рассказов, входящих как относительно самостоятельные произведения в "Русские ночи", В. Ф. Одоевский помещал в различных журналах и альманахах 30-х годов без указания на их причастность к "Русским ночам" (см. ниже примечания к главам и рассказам). Впервые печатно название будущей клипа появилось в 1836 г. (см. примечание к "Ночи первой"). Следовательно, окончательный текст книги создавался от середины 30-х годов до 1843 г.

9 сентября 1843 г. Одоевский заключил условие с книгопродавцом А. И. Ивановым об издании собрания сочинений в количестве 1200 экземпляров {Рукописный отдел Гос. публичной библиотеки им. М. Б. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (в дальнейшем: ГПБ), ф. 539, оп. 2, № 58.} и, очевидно, тотчас же передал в цензуру рукопись подготовленного трехтомника или по крайней мере рукопись первого тома, содержащего именно "Русские ночи": в архиве Одоевского сохранилась цензурная рукопись начала книги (автограф автора) с пометой цензора А. В. Никитенко на титульном листе "№ 278. 18 сентября 1843" и с его же резолюцией на обороте титула: "Печатать позволяется... Сентября 20 дня 1843 года. Цензор А. Никитенко"; вначале стояло "16", затем число зачеркнуто и надписано "20". {Там же, № 12.} По-видимому, Никитенко читал рукопись именно в эти дни, в конце второй декады сентября 1843 г., и после 20 сентября Иванов мог уже печатать книгу.

Рукопись "Русских ночей" была типографски размечена (по шрифтам) самим автором;

природы он объяснял, исходя из единого материального первоначала, которым он считал воду ("влажную природу").

²⁵⁷ Кондиллькист — последователь Кондильяка (см. примеч. 2 на с. 295). У Одоевского "кондиллькист" всюду обозначает современного материалиста.

титульный лист несколько отличался от окончательного печатного варианта: например, первоначально была взята другая цитата — эпитафия из романа Гете "Годы странствий Вильгельма Мейстера"; не сразу автор сформулировал посвящение (вначале — "Моим друзьям", затем зачеркнул и написал: "Живым друзьям и памяти друзей умерших"; в печатном тексте инверсированы два первых слова).

Возможно, из-за авторских переделок печатание книги задержалось, так как на всех трех томах "Сочинений князя В. Ф. Одоевского" (Издание книгопродавца Иванова. СПб., в типографии Э. Праца, 1844) стоит цензорское разрешение А. В. Никитенко от 20 января 1844 г. Но и после этого произошла задержка, и в продажу "Сочинения" поступили лишь в августе (в сентябрьском номере "Отечественных записок", подписанном цензором 30 августа, В. Г. Белинский извещал читателей о недавнем выходе в свет трех томов "Сочинений князя В. Ф. Одоевского").

Первый том ("часть первая") включал "Русские ночи" (в дальнейшем сокращенно: изд. 1844).

Во многих экземплярах первого тома имеется печатная вклейка: "Сим трем томам надлежало выйдти еще в начале сего 1844-го года. Говорить ли о том, что причиною этого замедления был отнюдь не издатель, Андрей Иванович Иванов, известный своею деятельностью и распорядительностью, — а сам автор? — Хотя ни тот, ни другой не объявляли никакой подписки на это издание и следственно не обязывались ни перед кем о выходе его к определенному сроку, но тем не менее, желая оправдать в глазах читателей моего совестливого и добросовестного издателя, я долгом почитаю здесь сказать для тех, кого это может интересовать, что причиною замедления были: поправки, перемены и дополнения в книге, а всего более моя неожиданная болезнь и затем продолжительное нездоровье. Князь В. Одоевский".

Каждому тому был предпослан эпитафия: "Multum magnorum virorum iudicium credo, aliquid et meo vindico. Senecae Ep. XLV. 3" (Мнению многих великих мужей верю, сколько-нибудь и свое защищаю. "Послания" Сенеки. XLV. 3, лат.).

Вскоре по выходе в свет трехтомника автор намеревался заново переработать издать свои произведения, но общественные и научные труды почти на два десятилетия отвлекли его от художественного творчества.

В начале 60-х годов (очевидно, в 1860–1862 гг.) {"Предисловие" (см. "Дополнения") автор писал в 1860–1861 гг., а 1 ноября 1862 г. Одоевский заключил с издателем Ф. Т. Стелловским условие о переиздания сочинений, следовательно, приблизительно этим интервалом можно датировать начало переработки "Русских ночей" (ср.: Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель. Т. 1, ч. 2. М., 1915, с. 214. — В дальнейшем сокращенно: Сакулин).} Одоевский снова предполагал переиздать "Русские ночи", поэтому приступил к исправлениям и дополнениям, его архиве сохранился экземпляр издания 1844 г., расшитый и переплетенный чистыми листами бумаги возле каждого печатного, т. е. возле каждой страницы рядом находилась чистая; автор вписывал на этих листах добавления к тексту, также исправлял и сам печатный текст. Наиболее существенным переменам подверглась "Ночь четвертая" (29 поправок в тексте, 11 вставок и одно новое примечание), но в общем Одоевский правил текст до конца, вплоть до Эпилога.

В некоторых местах Одоевский заменял устаревшие слова новыми ("это", "эти" вместо "сие", "сии", "часы" вместо "брегет"), в некоторых сокращал романтические "ужасы", например в "Бале" вычеркнул тираду: "и стон страдальца, не признанного своим веком; и вопль человека, в грязь стоптавшего сокровищницу души своей; и болезненный голос изможденного долгою жизнью человека; и радость мщенья; и трепетание злобы; и упоение истребителя; и томление жажды; и скрежет зубов; и "хрусть костей" (изд. 1844, с. 82, строка 1 сн. — с. 83, строка 7 св.), — в нашем издании эти слова следовали за фразой "и таинственная печаль лицемера" (с. 46. строка 18 св.). Вообще добавления и вычеркивания в "Бале" отражают конкретные тяжелые впечатления автора от современных войн: Восточная

война в России (1853–1856), австро-итальянская война 1859 г. Эпиграф к "Балу" был другой: *Le sanglot consiste, ainsi que le rire, en une expiration entrecoupee, ayant lieu de la meme maniere...* Description anatomique de l'organisme humain" (Рыдание состоит, так же, как и смех, в прерывистом выдыхании, совершаемом таким же образом... Анатомическое описание человеческого организма, франц.).

Кое-где встречаются косвенные отклики на бурный процесс отмены крепостного права: вставлены слова "возмутительному рабству негров и беспощадному самоуправству южных американских плантаторов" (см. с. 152); вместо "в так называемых представительных правлениях беспрестанно толкуют о желании народа" (изд. 1844, с. 319, строки 12–14 св.) оказалось "хоть в представительных государствах, — мы говорим о других, — только и речи, что о воле народа, о всеобщем желании" с. 151, строки 9–7 св.); в изд. 1844 не было колоритного примечания: "Фауст в своем увлечении забывает, что наш язык принял же в себя выражения: законная взятка, честный доходец, — забывает и всю терминологию крепостного права" с. 153). А иногда, наоборот, общественно-политические намеки смягчены, завуалированы; вместо прямого указания на ордена — "честолюбивые украшения на груди вашей только прибавят к вашей тяжести и повлекут..." (изд. 1844, с. 94, строка 1 св. — с. 95, строка 2 св.) — теперь следовало: "то, что так отрадно отличало вас от толпы, только прибавит к вашей тяжести и повлечет..." (см. с. 51); "сила молитвы" исправлена на "сила любви" (изд. 1844, с. 95, строка 6 св. и наст. изд., 51, строка 17 св.).

Обострившееся негативное отношение Одоевского к католицизму и протестантизму выразилось в следующих исправлениях: вместо "по обряду лютеровой церкви, должен был предстать пред алтарем Божиим" (изд. 1844, с. 226, строки 1412 св.) стало "должен был явиться на так называемую в лютеранской церкви конфирмацию" (с. 110, строки 18–17 св.); вместо "христианина" (изд. 1844, с. 226, строки 11–10 св.) — "протестанта" (с. 110, строка 16); в изд. 1844 отсутствовала тирада: "Древний грек или римлянин верил или не верил оракулу, Палладе, Зевсу, теперь мы знаем, что оракул лжет, — а все-таки ему верим. Девять на десять так называемых римских католиков не верят ни в непогрешительность папы, ни в добросовестность иезуитов, и десять на десять готовы хоть на ножи за то и другое" (с. 151).

Новое издание не было осуществлено при жизни Одоевского. Впервые "Русские ночи" с учетом исправлений автора были напечатаны в 1913 г. под редакцией С. А. Цветкова (М., изд-во "Путь"). Издание это довольно точно и скрупулезно воспроизводило текст 1844 г. и поправки Одоевского, но в отдельных местах оказались неверно прочтенными некоторые слова и окончания слов (почерк Одоевского и вообще труден, да еще он иногда исправлял текст карандашом, который теперь уже полустерт). Наиболее существенные ошибки у Цветкова: "ультрамонтанской" вместо нужного "ультрадемократической" (см. с. 67, примечание), "подписчик" вместо "помещик" (с. 105, примечание) и неправильное воспроизведение знаков 9 я 6 (с. 138, примечание).

В настоящем издании за основу берется также печатный текст "Русских ночей" 1844 г. из архива В. Ф. Одоевского, со всеми авторскими исправлениями начала 60-х годов. {Издание "Русских ночей" в 1913 г. вызвало полемику, которая не прекращается до наших дней, превратившись в одну из самых популярных текстологических проблем. Принцип, принятый С. А. Цветковым, был решительно оспорен в рецензии П. Н. Сакулина (Голос минувшего, 1913, № 6): рецензент видел в книге памятник русского идеализма тридцатых-сороковых годов и явно преувеличивал эволюцию мировоззрения Одоевского, который якобы к шестидесятым годам уже не был "идеалистом" и "мистиком"; Сакулин требовал точного воспроизведения текста 1844 г. Г. О. Винокур в книге "Критика поэтического текста" (М., 1927) соглашался, что идеологические поправки шестидесятих годов недопустимы, но считал, что можно воспроизводить все стилистические переделки автора (там же, с. 48–49), т. е. отказывался от единого принципа издания. Н. Ф. Бельчиков в статье "Советская текстология и ее задачи" (Вестник Академии наук СССР, 1954, № 9) возвращается к мнению П. Н. Сакулина. Л. Д. Опульская в статье "Эволюция мировоззрения автора и проблема выбора текста" (в кн.: Вопросы текстологии. М., 1957), воспроизведя все

указанные точки зрения, присоединяется к принципу С. А. Цветкова, т. е. к осуществлению последней творческой воли автора (там же, с. 97–103). Нельзя не согласиться с решением С. А. Цветкова и Л. Д. Опульской, это отвечает основному эдичионному правилу, которое принимается всеми выдающимися текстологами: следует руководствоваться последней волей автора. А для изучения эволюции взглядов Одоевского исследователю, конечно, придется обращаться и к изданию 1844 г., хотя и по нашему изданию он сможет получить достаточно полное представление об изменениях текста (но лучше и легче пользоваться достаточно доступным изданием 1844 г., чем единственным авторским экземпляром из Публичной библиотеки, — а именно к этому уникаму должен был бы обращаться ученый, если бы мы воспроизвели в нашем издании текст 1844 г.).} Добавления Одоевского выделены квадратными скобками. Наиболее существенные исправления приведены выше. Не замеченное Одоевским различие в написании имени героя (в начале — Вячеслав, в конце книги Вячеслав) оставлено нами без исправлений.

Все подстрочные переводы иностранных текстов, сопровождаемые курсивным обозначением языка оригинала, — лат., франц. и т. п. — принадлежат редакции.

Написанные для нового издания предисловия (они впервые были напечатаны в издании 1913 г.) публикуются нами в "Дополнениях". Кроме того, в "Дополнениях" публикуются печатные и рукописные произведения Одоевского, идеологически и художественно связанные с "Русскими ночами". Эта часть подготовлена к печати М. И. Медовым, им же написаны примечания к данным произведениям. Текст "Русских ночей" (и предисловий к книге) подготовлен Б. Ф. Егоровым, им же составлено настоящее текстологическое введение. Остальной текст "Примечаний" принадлежит Е. А. Маймину (при участии Б. Ф. Егорова).

Переводы латинских текстов принадлежат Ю. П. Суздальскому и С. С. Аверинцеву. При переводах с французского составители пользовались консультациями Л. Г. Алавердовой, с итальянского — А. Г. Архипова и Ю. И. Мальцева.

Ночь первая

Впервые напечатано: Московский наблюдатель, 1836, ч. VI, март, кн. 1, с. 5–15 подписью "Безгласный"). — Было обещано продолжение, но его не последовало. В цельном виде другие "ночи" до публикации полного текста романа в 1844 г. не печатались.

Ночь вторая

Как и все последующие "ночи", в полном объеме появилась лишь в изд. 1844

Ночь третья

Впервые напечатано: альманах "Северные цветы" на 1832 год, СПб., 1831, с. 47–45, — с посвящением А. С. Хомякову и с эпиграфом: "Get artiste, n'ayant pu trouver a exercer les rares talents dont il etait doue, a pris plaisir a dessiner les idifices imaginaires, a mettre fabrique sur fabrique et a presenter des masses d'architecture a l'erection desquelles les travaux de plusieurs siecles et les revenue des plusieurs empires n'auraient pu suffire". Roscoe "Vie de Leon X" ("Этот артист, не найдя применения редким талантам, которыми он был одарен, увлекался тем, что рисовал воображаемые здания, громоздил строения на строения и изображал архитектурные массы, для возведения которых были бы недостаточны труды многих веков и доходы нескольких царств". Роско. "Жизнь Льва X", — франц.).

В том же номере альманаха, что и рассказ Одоевского, был напечатан "Моцарт и Сальери" Пушкина. На этом и на некоторых других основаниях Гр. Бернандт высказывает догадку, что новелла Одоевского появилась в печати "по инициативе или даже с прямого благословения Пушкина" (Бернандт Гр. В. Ф. Одоевский и Бетховен. М., 1971, с. 33).

Хотя герой рассказа Одоевского — лицо полуфантастическое и символическое, его имя и некоторые приметы имеют историческую основу. Пиранези Джамбатиста (1720–1778) — итальянский архитектор, создавший серию гравюр на архитектурные сюжеты, поражающих буйной фантазией.

Посвящение рассказа А. С. Хомякову, хотя и снятое в тексте "Русских ночей", а также внешняя характеристика рассказчика, напоминающая Хомякова, и его имя (как и Хомякова — Алексей Степанович) позволяют говорить и о внутренней соотнесенности рассказчика с Хомяковым. Хомякову и его идеям, особенно дославянофильского периода, близок прежде всего сам пафос рассказа Одоевского: утверждение первостепенной важности поэтического инстинкта и поэтической стихии во всяком знании.

Ночь четвертая

Бригадир

Впервые напечатано: альманах "Новоселье", СПб., 1833, ч. I, с. 501–517, — с посвящением: "И. С. Мальцеву". В тексте "Русских ночей" посвящение опущено. Первоначальное, рукописное название рассказа — "Русский Пиранези".

Мотивы рассказа "Бригадир" повторяются и в других произведениях Одоевского. Близок, например, "Бригадиру" и по идее, и по сюжету рассказ "Живой мертвец" (Сочинения В. Ф. Одоевского, 1844, ч. 3), герой которого, чиновник Василий Кузьмич, видит во сне, что умирает и мертвым подслушивает голоса живых. Таким образом герою, прожившему жизнь во лжи, открывается правда жизни.

Бал

Впервые напечатано (вместе с рассказом "Бригадир"): альманах "Новоселье", СПб., 1833, ч. I, с. 443–448. — Подготавливая рассказ для второго, неосуществленного издания (1862) "Русских ночей", Одоевский подверг его основательной переработке.

Е. Хин отмечает близость рассказа к стихотворению "Бал" А. Одоевского. Стихотворение опубликовано в том же номере альманаха "Северные цветы" (СПб., 1830), в котором печатался "Последний квартет Бетховена" В. Одоевского (См.: Одоевский В. Ф. Повести и рассказы. М., 1959, с. 463).

Мститель

Отрывок входил в состав неоконченной повести Одоевского "Янтина" (1836), где он называется "Апологетика поэзии". Повесть Одоевский предполагал печатать 1839 г. в "Отечественных записках", но так и не напечатал.

Насмешка мертвеца

Впервые напечатано: альманах "Денница на 1834 г.", М., 1834, с. 218–240. — Там он озаглавлен "Насмешка мертвого (отрывок)". В первоначальном варианте рассказа имя красавицы не Лиза, как в тексте "Русских ночей", а Мария.

Рассказ высоко оценил Белинский, назвавший его образцом "грозного и открытого" юмора (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. I, М., 1953, е. 299–300).

Последнее самоубийство

Рассказ до выхода в свет "Русских ночей" нигде не печатался.

Цецилия

В бумагах Одоевского есть неоконченное произведение под тем же названием. Хотя текст его отличается от текста рассказа, вошедшего в состав "Русских ночей", внутренняя связь между ними несомненна.

Рассказ назван по имени святой католической церкви, жившей в первой половине III века. Цецилия считалась покровительницей духовной музыки и в качестве таковой пользовалась популярностью не только у музыкантов, но и у писателей и художников. Цецилия неоднократно изображалась Рафаэлем, Карло Дольчи и др.

Ночь пятая

Город без имени

Впервые напечатано: Современник, 1839, кн. 1, с. 97–120.

Картина, изображенная в рассказе, показывает теорию Бентама в ее крайних выводах и последствиях. Это делает картину фантастической по форме, но не по содержанию. Фантастика Одоевского — это, говоря словами Фауста, "символическое прозрение" в то, что непременно должно было быть, если бы люди "вполне приводили в исполнение" некоторые свои мысли.

Белинский в рецензии "Русские журналы" (1839) называл "Город без имени" "прекрасной, полной мысли и жизни фантазией князя Одоевского" (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. III. М., 1953, с. 124).

Критика теории Бентама представлялась Одоевскому делом столь важным, что она повторялась неоднократно в различных его произведениях: в рассказе "Черная перчатка" (1838), "Душа женщины" (1841) и т. д.

Обнаружено сходство между фантастическим пророчеством Одоевского и сном Раскольникова в эпилоге романа "Преступление и наказание" (см.: Назиров Р. Г. Владимир Одоевский и Достоевский. — Русская литература, 1974, № 3, с. 203–206).

Ночь шестая

1 Карселева лампа, или карсель — старинная лампа, снабженная особым механизмом для подъема масла.

Последний квартет Бетховена

Впервые напечатано: альманах "Северные цветы" на 1831 год, СПб., 1830, с. 101–119. — В текст "Русских ночей" рассказ вошел с небольшими стилистическими изменениями. По предположению О. Е. Левашовой, рассказ, прежде чем он был напечатан в альманахе Дельвига, "читался и обсуждался на вечерах у Дельвига" (Левашова О. Е. Музыка в кружке А. А. Дельвига. — В кн.: Вопросы музыкознания. Т. II, М., 1956, с. 336).

Мысль о новелле, посвященной Бетховену, зародилась у Одоевского, видимо, сразу же после получения известия о смерти композитора. В письме к М. П. Погодину от 29 апреля 1827 г., т. е. спустя месяц и три дня после смерти Бетховена, Одоевский писал об "одной музыкальной статье", которую собирался прислать Погодину и в которой речь пойдет о

"музыкальном характере" Бетховена (Рук. отдел ГБЛ, архив М. П. Погодина). Судя по всему, "музыкальная статья", о которой писал Одоевский, и была не чем иным, как задуманным рассказом.

Рассказ основан на вымысле не менее, чем на исторических преданиях и фактах: в нем рядом с реальным Бетховеном действует не существовавшая Луиза и т. д. По своему жанру рассказ является родом романтической новеллы, которая тяготеет к смешению фантастического и действительного, к загадочному и неопределенному. Из рассказа мы не узнаем даже, о каком именно из последних квартетов Бетховена идет речь. Поэтика романтической новеллы Одоевского не требует обязательной конкретности и верности в деталях.

Высокую оценку "Квартета Бетховена" дали Пушкин и Гоголь (см. выше, с. 260). Сочувственные рецензии поместили ведущие журналы. В "Телескопе" Н. И. Надеждина говорилось: "Квартет Бетховена прекрасен: он написан живо, свободно и обличает в сочинителе душу, для которой понятны высокие таинства гения" (1831, № 2, с. 229). Положительно отозвался на выход в свет рассказа Одоевского и "Московский телеграф" Н. Полевого, по всем другим вопросам занимавший иные позиции, нежели "Телескоп". В "Московском телеграфе" рассказ Одоевского признавался "лучшей статьей в прозе "Северных цветов"" (1831, № 2, с. 249).

Ночь седьмая

Импровизатор

Впервые напечатано: альманах "Альциона на 1833-й год...", СПб., 1833, с. 5186. — Альманах издавался бароном Б. Ф. Розеном при участии Пушкина и поэтов его окружения. Публикация рассказа Одоевского сопровождается следующим примечанием: "Из книги под названием "Дом сумасшедших", которая в непродолжительном времени будет выдана".

Ночь восьмая

Себастьян Бах

Впервые напечатано: "Московский наблюдатель", 1835, ч. II, май, кн. 1, с. 55–112, с примечанием "Из неизданной книги "Дом сумасшедших"", с датой "Ревель. 1834", за подписью "Безгласный", с посвящениями графу М. Ю. Виельгорскому и князю Г. П. Волконскому, с эпиграфами, подстрочно переведенными автором: "Il avoit un doigte particulier; centre l'usage des musiciens de son temps, il se servoit beaucoup de pouce. Methode pour apprendre facilement a jouer du piano (У него в игре была особенная расстановка пальцев; вопреки обыкновению музыкантов того времени, он многое играл большим пальцем. Самолегчайшая фортепийная школа). Il reste a dire ce qu'on croit savoir et qu'on ignore, quels hommes s'etoient qu'Annibal et Cesar? Michelet (Мы думаем, что знаем, но нам еще неизвестно, что за люди были Аннибал и Цесарь? Мишле)".

Отправляя рукопись рассказа в Москву, Одоевский писал: "Посылаю вам, любезная моя редакция М. Наблюдателя, Себастьяна Баха, написанного *con amore*..." (см.: Сакулин, ч. I, с. 210).

Себастьян Бах был любимейшим композитором Одоевского с ранней юности и до конца дней. Он был его "учебной книгой" и постоянной радостью и наслаждением. Под датой 12 декабря 1864 г. он записывает в своем дневнике о впечатлении от сюиты Баха:

"Точно ходишь в галерее, наполненной Гольбейном и А. Дюрером" (Литературное наследство. Т. 22–24. М., 1935, с. 188). И в том же году он перекладывает Бахов хорал для органа.

Ночь девятая

Эпилог

Дополнения

Предисловие

Написано В. Одоевским для подготовляемого им второго издания сочинений, которое он так и не успел осуществить. Так как в тексте упоминается ушедший из жизни К. С. Аксаков (см. примеч. 5), то "Предисловие" может быть датировано не ранее 1860 г. Автограф хранится в ГПБ (оп. 1, № 79, л. 146–160). Впервые опубликовано С. А. Цветковым с ошибками и пропусками в издании "Русских ночей" 1913 г. (с. 1–12).

В архиве Одоевского хранится писарская копия первой половины "Предисловия" (до постскриптума) с правкой и добавлениями автора (там же, л. 161–168); очевидно, этот текст должен был стать расширенным вариантом "Предисловия". Из исправлений Одоевского наибольший интерес представляет превращение предложения "Такую проделку позволило... уже не существует" в обширное подстрочное примечание по поводу статьи К. С. Аксакова: "Такую проделку на основании какого-то славяно-татарского кодекса и под защитой безгласности моих сочинений позволило себе между прочим одно периодическое издание 1859 г., отличавшееся столь же ломаными мыслями, сколь и ломаным русским языком, а вместе с тем и задорными притязаниями на истинность и добросовестность, как на свою привилегированную собственность. Мы не знаем, к какому разряду истины и добросовестности относится прямой печатный поклеп на живого человека, — может быть, по славяно-татарщине оно так и следует, но для простого человека это задача. Правда, эта проделка проскочила в порыве самохвальной народности китайского чекана и посреди полдюжины школьных галлицизмов, но все-таки нельзя считать такие поступки простительными. Это курьезное издание, к глубокому моему сожалению, прекратилось; от такого прекращения произошло два весьма выгодных для него следствия: оно получило интерес, которого нисколько не заслуживало, и заградило уста тем, кто намеревался тогда же обличить изобретенную им ложь и к стати вообще вывести наконец эту набеленную и нарумяненную покровительницу нашей народности на свежую воду, — разоблачить вообще эту странную барыню, ее кокетство неудачами, ее звонкое пустоделье, ее ученость, подбитую ветерком, поддельность ее таланта и весьма примечательную безграмотность. Теперь дело другое, — по весьма понятному для всякого чувству, мы даже не назовем этого издания; но имея в виду, что оно по поводу прекращения разошлось в огромном количестве экземпляров, мы по праву законной защиты считаем правом и обязанностью огласить в общем виде его ребяческое забвение и литературной добросовестности и просто житейских приличий, в особенности на пользу и вразумление самому тому легкомысленному ребенку, который, кажется, и до сих пор не ведает, что сотворил, который не понимает даже, что откровенное сознание в вольной или невольной ошибке есть долг для всякого добросовестного литератора; ему и в голову не входит, что клепать на других есть нечто большее, [нежели ошибка]; далась ему игрушка, которой он и значения не постигает, в самозабвении носится он с нею повсюду, твердя зады, уверяет, что он открыл Америку, что нет ничего на свете живее и прекраснее его подкрашенной куклы; порой напевает себе

похвальную песню с припевом: "душенька урод, милый мой уроденько!" Все это и забавно и жалко, но когда задорное дитя во имя своей куклы считает даже поклеп делом дозволенным против того, кто видит в его кукле только куклу, когда оно свою выдумку выкрикивает на все лады и бросает деревянную куклой в голову встречному и поперечному, — тогда в этом, хотя и детском поступке нет ничего милого. Если, по общему искреннему желанию всех людей веселого нрава, курьезное издание когда-либо возобновится, — то, может быть, мы сделаем ему честь подтвердить наше оглашение прямыми указаниями, чтобы вперед не повадно было".

И в автографе, и в копии дата выхода сочинений Одоевского указана "1842"; исправляем ее всюду на "1844".

Примечание к Русским ночам

Так же как и "Предисловие", "Примечание к Русским ночам" было написано Одоевским в начале 60-х годов для предполагаемого второго издания сочинений. Рукопись хранится в ГПБ (оп. 1, № 79, л. 1-12). Впервые напечатано С. А. Цветковым с рядом ошибок и пропусков в издании "Русских ночей" 1913 г. (с. 13–22).

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://royallib.ru)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)